

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УЗБЕКСКОЙ
ТАШКЕНТ — 1959**



МИРЗАКАЛАН
ИСМАИЛИ

ФЕРГАНА
ДО
РАССВЕТА

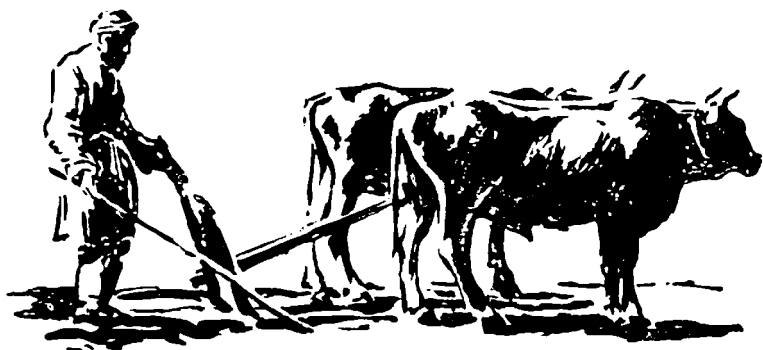


Авторизованный перевод с узбекского
Г. РИХТЕРА и М. САЛИЕВА

Часть первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ





Глава первая

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Миновал октябрь тысяча восемьсот девяносто девятого года. В кишлаке Карабулак раздумянулись листья урючин. Днем солнце пригревало, словно в июне. Дехканин, глядя на небо, радовался солнцу; глядя на землю, радовался обильному урожаю. На полях собирали хлопков, косили клевер, вспахивали землю под зябрь...

Прохладным осенним утром на окраине кишлака остановились два всадника. Один из них, молодой джигит в треухе, отороченном черным бархатом, сложил свою плеть вдвое, сунул ее за пояс и потянулся к свисавшим из-за забора ветвям айвы. Он осторожно притянул к себе одну из веточек, стер с плода пыль.

— Отец, посмотрите! Уже совсем созрели!— сказал он, обернувшись к спутнику.

— Груши тоже созрели, сынок!— согласился пожилой спутник.

В глубине сада на солнце рдели крупные красные плоды.

— Вот говорят: «рай, рай», а разве этот рай лучше нашего Карабулака?— осторожно отпустив ветку айвы, спросил молодой джигит

Старик, ничего не ответив, дернул поводья. Юноша удивленно посмотрел ему вслед, хлестнул коня плеткой.

Но Буланый внезапно заржал и встал на дыбы. Отец обернулся.

— Держись крепче!

Джигит прильнул к гриве. Буланый, не сумев свалить всадника, грохнулся на передние ноги. Но молодой человек сидел в седле крепко и только рассмеялся. Старик помог сыну усмирить лошадь.

— Вай, вай! Сохранил господь!— Отец оттянул ворот своего черного чапана и несколько раз чмокнул губами, будто поплеывая на грудь. Потом, немного успокоившись, произнес:— Умные твари эти лошади.

— Значит, я не нравлюсь Буланому?

Старик опять ничего не ответил.

Отец и сын ехали молча. Каждый был занят своими мыслями. Молодой джигит любовался расстилавшимся перед ним хлопковым полем, ослепительно белевшим под ярким осенним солнцем, слушал голоса перепелок. Осень щедро сыпала в подол дехканина свои дары, и юноша радовался им. Ему захотелось пустить лошадь вскачь. Он поднял было плеть, но тотчас же опустил. Старик отгадал желание сына.

— Скачи, если хочется, душе станет легче.

— Зачем мучить животное? Коня беречь нужно. Пусть отдохнет.

— Лошадь дехканина не привыкла без дела стоять.

На меже всадники остановились. Юноша удивился, увидев раскрывшиеся коробочки хлопка. Он хорошо знал участок отца, но сейчас не узнавал его. Ведь отец, помнится, говорил, что хлопок собран.

— Разве урожай еще не трогали?

— Уже один раз собрали. Через три-четыре дня начнем второй сбор.

Сын взглянул на соседнее поле. Там трудились женщины и дети.

— Вон на хирмане Мадамин-ходжа. Давай, сынок, навестим его.

Хирман — площадка, куда ссыпают хлопок, — находился у Мадамина-ходжи в конце поля. Отец и сын направили туда лошадей. Подъехав к тутовым деревьям, спешились. Мадамин-ходжа пил чай под большим талом. Увидев гостей, он вскочил.

— Ассалям алейкум! Не знать вам усталости! Вы уже почти все убрали! — похвалил старик.

— Ваалейкум ассалям! Кончаем работу, — ответил Мадамин-ходжа, здороваясь со стариком. Затем протянул руку юноше. — Оказывается, и кари¹ пожаловал к нам. Если бы я знал заранее, приготовил бы плов.

Молодой человек потупился.

— Присаживайтесь, Вали-ака, а вы, Гулямджан, поближе к отцу, вот так! — суетился Мадамин-ходжа.

Вали-ака проговорил:

— Аминь! Да будет ваш урожай обильным!

— Аминь! — ответил Мадамин-ходжа. — И как же хорошо, Вали-ака, что вы привели с собой Гулямджана. Здесь все соскучились по его песням. Нелегко будет теперь ему от нас отделаться!

— Для вас он песен не пожалеет, дайте ему только отдышаться.

Мадамин-ходжа постлал дастархан², разломил несколько лепешек. Затем принес большую дыню и едва прикоснулся к ней острием ножа, как она треснула.

— С вашей бахчи? — спросил Вали-ака.

— С нашей. Вспоена благодатной водой Карабулака, как же ей не налиться медом?

— Это верно, — согласился Вали-ака. — Такой земли, как в Карабулаке, на свете не сыщешь. Сын мой сказал: «Рай». Верно сказал. Кинь в нее камень — изумруд родится.

Гулямджан не участвовал в разговоре. Он прислушивался к пению соловья в тополево́й роще за хирманом, то и дело поглядывая туда, словно надеясь отыскать певца. Внезапно он заметил женщину, которая несла в фартуке хлопок. Она шла к хирману. Голова ее была покрыта старым чапаном. Подойдя к большой куче хлопка, женщина высыпала содержимое фартука. Чапан соскользнул с ее головы. Гулямджан увидел девушку. На вид ей можно было дать лет пятнадцать-шестнадцать. Словно почувствовав взгляд Гулямджана, она украдкой посмотрела на юношу и приветливо улыбнулась. Сердце Гу-

¹ *Кари* — буквально «умеющий читать коран», обращение к грамотному человеку.

² *Дастархан* — скатерть, уставленная яствами.



лямджана беспокойно заби-
лось. Он смотрел не отры-
ваясь на девушку, пока она
не ушла.

— Вот так-то, дорогой,
всю весну, все лето работает
дехканин, а осенью оглянет-
ся — и ничего нет. Весь хло-
пок завод скупает по дешев-
ке,— невесело говорил Вали-
ака.

Мадамин-ходжа кивнул.

— Так-то-так, аксакал,
но что может поделать дех-
канин? Ведь сами же на это
идем.

— Да, Балта купас¹ в
жадности самому Миркоми-
лу² не уступит. Что хлопок, что фрукты — все скупает.
Самые лучшие земли прибирает к рукам.

— Он собирается на конном базаре завод строить,
знаете?

Гулямджан не слышал беседы стариков. Он по-преж-
нему смотрел вслед девушке... Вали-ака, прервав беседу,
обратился к сыну:

— Может быть, споешь?

— Да, да, кари,— оживился Мадамин-ходжа.

Гулямджан приложил руку к сердцу, поклонился и
запел классическую узбекскую песню «Сад жизни». Песня
звенела и разносилась далеко вокруг. Гулямджан пел,
думая о девушке, которую только что увидел. Как был бы
счастлив он, если бы она слышала его!.. Но девушка была
далеко. Вали-ака с удивлением смотрел на возбужденного
Гулямджана. Он не узнавал сына. А Мадамин-ходжа сидел,
опустив голову, блаженно улыбаясь и раскачиваясь в такт песне.

Умолкнув, Гулямджан отпил из пиалы несколько
глотков зеленого чая.

¹ *Купас* — искаженное «купец».

² *Миркомил* — известный в дореволюционном Туркестане купец
первой гильдии, миллионер.

— Ах кари, да будет счастливой ваша жизнь,— вздохнул Мадамин-ходжа.

Гулямджан улыбнулся и снова запел, но глаза его искали девушку на хлопковом поле.

Глава вторая

ВОТ ОН, «РАЙ»!

Когда на следующее утро, уже дома, Вали-ака проснулся, Гулямджана в постели не было. Старик прошел в сад, умылся ледяной водой из арыка, зашел в ичкари — женскую половину дома — и спросил жену, возившуюся у очага:

— Мать, сын твой ушел на утренний намаз?

Здороваясь с мужем, жена — смуглая, с седыми висками — поклонилась:

— Не знаю. В своей комнате его нет.

Вали-ака направился во внешний двор, но жена его остановила.

— Подождите, отец. Присядьте-ка на минуточку,— она указала на супу — широкое глиняное возвышение.

Вали-ака сел.

— Люди женят своих детей в шестнадцать-семнадцать лет,— заговорила женщина.— Нашему сыну уже, слава богу, двадцать один. Сколько же еще можно ждать? Не пора ли найти ему друга? Думаете ли вы об этом?.. Вы как-нибудь намекнули бы ему.

— Странно мне слушать тебя, мать,— ответил Вали-ака.— Да разве мне не хочется иметь внуков? И разве не застрянет у нас кусок в горле, если старость свою будем одиноко коротать в этом большом дворе?

— Тогда не надо сидеть сложа руки,— посоветовала жена.— Вы знаете вашего сына. Он только и сидит над своими книгами. Если бы, вместо того чтобы отдавать его в медресе, вы его женили, он бы совсем другим стал, да и внучата бы уже росли.

— Это, конечно, верно. Но что плохого, если он окончит медресе?

— Зачем ему медресе? Он что, имамом¹ в мечети будет?

— Нет, не этого я хочу. Пусть он будет ученым.

— Что же, из него получится взяточник-кази², как большеголовый Гияс?— не унималась женщина.

Вали-ака, видя, что жена разгневалась не на шутку, помолчал, пока она остыла.

— Напрасно ты кричишь. Подумай спокойно. Вот посмотри на эти цветы,— произнес он, указывая на розы, росшие около супы.— Мы их посадили весной. А зачем? Чтобы они расцвели, чтоб радовали глаз. Ну а если они не успеют расцвести и кто-нибудь прикажет тебе сорвать их? Послушаешься ты?

— Зачем же слушаться? Я их сажала, я их и сорву, когда придет время.

Вали-ака засмеялся.

— Вот то-то. Зачем же хочешь ты оторвать сына от учения? И с чего ты взяла, что он должен стать имамом или кази? Ведь обучались в медресе наши уважаемые земляки Маманияз ахун, и мулла Мадкарим, и Садык аглям, но не были такими бессовестными, как большеголовый Гияс.

— Так что, по-вашему, делать? Ждать еще два года?

Вали-ака, встав с супы, ушел во внешний двор. Жена сняла с очага вскипевший кумган, заварила в одном чайнике зеленый чай, в другом — черный и придвинула чайники к тлеющим углям.

— Нет его нигде, и Буланого нет,— сообщил, вернувшись, Вали-ака.

...А в это время Гулямджан стоял на том месте, где вчера пел песни.

«Что со мной?— думал он, оглядывая пустынное поле Мадамина-ходжи.— Когда я читал у поэтов «Влюбился с первого взгляда», я думал, что в жизни такого не бывает!.. А вот со мной так случилось. Но кто она? Чья дочь?..»

Он тронул поводья. Буланый медленным шагом дви-

¹ *Имам* — ведущий богослужение в мечети.

² *Казы* — судья, судивший по законам шарииата.

нулся по дороге. Погруженный в думы, Гулямджан ничего не видел перед собой.

Лошадь остановилась, прихватила мягкими губами придорожную траву и снова побрела.

— Ассалям алейкум!

Человек средних лет, похожий на поденщика, с мешком за плечами, проходил мимо. Гулямджан машинально ответил на приветствие, и незнакомец зашагал дальше. «Откуда он меня знает?» — подумал Гулямджан. Он подобрал поводья, огляделся. Кишлак был недалеко. Вон и Большой арык с высокой насыпью вдоль берега.

Близился полдень. Солнце уже довольно сильно припекало. Гулямджан спохватился: «Уехал, никого не предупредив. Дома, наверно, беспокоятся. Но как вернуться, не увидев ее? Как узнать ее имя? Спросить у отца? Но ведь он не видел ее».

Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Гулямджан стал смотреть на поля. Там, как и вчера, трудились дехкане. Рядом, в арыке, с журчаньем текла прозрачная вода. На дне виднелись мелкие разноцветные камни. Гулямджан долго любовался ими. Лошадь потянулась губами к воде... Внезапно Гулямджан увидел неподалеку на поле картину, которая потрясла его.

— Что это такое?! — вырвалось у Гулямджана.

На запекшейся, окаменелой земле возились четыре человека. Верхом на ишаке восседал малыш лет семи-восьми, погонявший животное, позади налегал на соху мальчишка постарше. Он помогал своим родителям, которые выбивались из сил. Они вместе с ишаком впряглись в соху. С обветренного темного лица полуголого мужчины лил градом пот. Он то и дело приказывал младшему сыну:

— Погоняй, погоняй!

Вместе с ним женщина толкала шест, прикрепленный к сохе. Ее ноги путались в подоле грязной рубахи. Казалось, она вот-вот упадет. Как и муж, она обращалась к мальчишке, но голосом совсем слабым.

— Погоняй, дитя мое! Погоняй, мой милый!

Она дышала тяжело, словно лошадь, тащившая грузную арбу в гору. Внезапно она упала.

— Стой!

Дехканин подбежал к жене, приподнял ее голову.

— Скорей воды, сыпок!— закричал он старшему мальчику, растерянно смотревшему на мать.

От холодных брызг женщина очнулась и припала сухими губами к пиале. Напившись, она слабым движением оттолкнула чашку и неожиданно заслонила лицо рукавом.

К ним, соскочив с лошади, подходил Гулямджан. Дехканин проворно встал.

— Э, добро пожаловать, мулла Гулямджан,— почти-тельно сложил он руки на животе.

— Возьмите лошадь, Матковул-ака!

— Зачем?— удивился тот.

— Не мучьте жену, детей да и себя. Впрягите лошадь и пашите.

Матковул опешил.

— Спасибо вам, Гулямджан!— сказала женщина.— Как здоровье Хадичи-биби?

— Слава богу, мать здорова,— ответил Гулямджан.— Я выехал в поле прогуляться и вот увидел вас.. может, некстати... уж вы меня извините, Салтан-биби.

— Что вы, милый! За что? За вашу доброту? Ну, присаживайтесь!

— Нет, нет, не беспокойтесь. Давайте вот что сделаем, Матковул-ака. Ишака и лошадь впряжем в соху. Салтан-биби и дети пусть идут домой, мы сами вспашем поле.

На глазах Салтан-биби заблестели слезы.

— О боже! Да будет счастливой ваша жизнь! Пусть вам бог даст хорошую невесту. Да будут у вас внуки и правнуки!

Сердце Гулямджана дрогнуло. Глазам его представилась девушка, о которой он думал все утро. Юноша на мгновение закрыл глаза, но, поборов волнение, спокойно обратился к Матковулу.

— Эти земли принадлежат мечети?

— Да. Два года лежали заброшенные, поросли сорняками. Долго я обивал порог попечителя, упрасивал покойного имама, пока, наконец, мне ее дали.

— Совсем? Всю?

— Обрабатывать всю. Работа вся наша, а вот урожай — только четвертая часть,— с горечью сказала Салтан-биби.

— Одну часть отдаает попечителю мечети?— не понял Гулямджан.

Матковул усмехнулся.

— Не дай бог быть издольщиком,— сказал он.— Ну а если нам предписана такая доля, так уж не миновать ее, Гулямджан. Сам раздобывай семена, в муках вспахивай землю, и слава богу, если достанется четверть урожая. А ишака-то как я просил одолжить! За него теперь приходится отдавать десять пудов пшеницы. Так тяжело наша доля бедняка, лучше не спрашивай.

Гулямджан стоял, кроша в руке ком глины. Он вспомнил то, что сказал вчера отцу: «Наш Карабулак — это рай!» «Но если Карабулак рай, то кто же тогда в этом раю Матковул-ака?»— спросил себя Гулямджан. Теперь он понял, почему отец промолчал. «Видно, я еще не научился отличать черное от белого!»

Глава третья

СПРЯТАННАЯ КНИГА

В последнее время Гулямджан избегал шумных соборий, затеваемых муллавачками¹. Он предпочитал уединение. Возможно, что причиной этому была зимняя стужа и снег, который беспрерывно сыпал вот уже много дней подряд, возможно — нездоровье. А может быть, еще что-нибудь! Во всяком случае, Гулямджан никому не объяснял своего состояния. Он перестал читать коран. Взяв урок у мударриса², он уединился в полутемную худжру, похожую на келью, и когда к нему захаживали друзья, не поднимал головы от книг.

Трудно было понять, почему так внезапно переменялся этот воспитанник медресе. Может быть, в его сердце глубоко запала та встреча с незнакомой девушкой и теперь он думает о ней? Или перед его глазами все время стоит страшная картина пахоты на поле Матковула? А может быть, на него так тяжело подействовали увещания родителей перед отъездом из кишлака?

¹ *Муллавачка* — воспитанник медресе.

² *Мударрис* — преподаватель медресе.

— Сынок, милый,— сказала тогда мать,— из одиннадцати наших детей десять умерли, один ты у нас остался. Не удалось нам вырастить их...

Мать кончиком рукава вытерла слезы.

— Не плачьте, мама, на то была воля божья,— сказал Гулямджан, хотя знал, что никакие слова не могут утешить мать.

Отец, до сих пор молчавший, обратился к сыну:

— Сынок, нам хочется на старости лет, пока глаза наши не закрылись, найти тебе друга жизни и видеть, что ты счастлив.

Гулямджану сразу представился хирман и незнакомка с белыми руками. Но он не знал, кто она. А если бы и узнал, то разве посмел бы сказать сейчас отцу: «Вот, жените меня на ней!» Никогда!

Прожив на свете двадцать один год, он еще не испытал томления любви. Только теперь ему открылись чувства, которые заставили сердце трепетать, восторгаться. Гулямджан горел желанием еще хоть раз увидеть незнакомку...

Но что ответить отцу? «Поступайте, как знаете»? Нет! Ведь это означает навеки лишиться той...

— Подождите, пока закончу учение... — ответил он.

...Не потому ли угнетен Гулямджан, что помнит, как мать плакала украдкой, а отец выглядел растерянным и жалким? Или, может быть, дело здесь совсем в другом, в одной случайной встрече у дороги с незнакомым человеком?..

...— Салам, мулла Гулямджан,— сказал человек, вставая с места, когда Гулямджан достиг холма на окраине кишлака.

— Ваалейкум ассалам.

— Не узнали меня?— улыбнулся человек.

Гулямджан не узнавал.

— Я видел вас в поле на коне. Вы не то мечтали, не то дремали.

Гулямджан припомнил. Разговорились.

— Я тоже карабулакский,— сказал незнакомец.— В кишлаке у меня племянник, пришел навестить его.

— В городе живете?

— Да, вот уже восемь лет, как переехал.— Увидев удивленное лицо Гулямджана, человек пояснил:— В киш-

лаке нам тесно стало. Было у нас полдесятины земли да двор с курятником. Все это покойный отец отдал Балта купасу, а душу — богу. Я был тогда в вашем возрасте. После смерти отца взял мать, братишек и перебрался в город.

— Ну и как? Довольны?

— И город и кишлак — один черт, но в городе всегда какая-нибудь работа да сыщется. И кроме того, там кое на что открываются глаза.

Гулямджан хорошо знал, что люди прозревают от знаний, книг, но чтобы человек поумнел только оттого, что он живет в городе?.. Или, может быть, незнакомец там учится? Судя по одежде, этого нельзя было сказать: яловые сапоги, шаровары, засаленный ватный чапан.

Гулямджан с любопытством взглянул на собеседника.

— Могу я узнать ваше имя?

— Кудрат.

— Кем вы работаете в городе, Кудрат-ака?

Кудрат, угадывая мысли своего спутника, расхохотался и пошутил:

— В медресе учусь, муллавачча я.

Теперь засмеялся и юноша.

— Что-то не похоже.

— В депо работаю.

— Как вы сказали?

— В депо, в мастерских, где ремонтируют паровозы.

Гулямджан удивленно поднял брови. Он видел паровозы, но не знал, что имеются специальные мастерские для них. Однако сейчас его больше удивило не то, что существует депо, а то, что там работают узбеки.

— Я думал, что в таких местах работают только русские. Оказывается, там и мусульмане есть.

— А как же! И в депо и на хлопковых заводах работает немало мусульман. Но все мы — чернорабочие, мастеровые. Не учились мы, не понимаем языка машины. Вот если бы такие ученые люди, как вы, умели бы разбираться в машинах...

Гулямджан почувствовал некоторую робость перед этим простым, неученым человеком, который с каждой минутой вырастал в его глазах.

— В депо много хороших джигитов, — снова заговорил Кудрат. — Русские меня кое-чему учат, но если ие

имеешь знаний, не нюхал школы, то не сразу все схватишь. Очень жалею, что не удалось поучиться. Послушайте, мулла Гулям, вот вы учитесь в медресе, так? Чему вас учат?

— Медресе — школа религиозная. Но там изучают математику, геометрию, химию, логику. Изучаем все это, но...

— Никто не посвящает себя этим наукам, так?

— Не всегда. Вот, например, в Самарканде Мирза Улугбек построил обсерваторию, в Хорезме Абдурайхан Бируни заложил основы алгебры, в священной Бухаре жил великий медик Абу Али ибн-Сина. Они не довольствовались знаниями, полученными в медресе. Они упорно работали над собой и после...

— Значит, если и вы упорно будете работать над собой, то не обязательно станете имамом или настоятелем мечети? Да?

...После вечернего намаза Гулямджан вошел в свою худжру. Худжра, стены которой были выложены жженым кирпичом, походила на пещеру, вырытую в горе. Здесь пахло плесенью, так как сюда никогда не заглядывало солнце. Через открытую дверь в худжру хлынул холод. Юноша ощупью нашел спички и зажег коптилку. Она осветила стены тусклым желтым светом. Гулямджан подошел к оконцу, поставил коптилку на опрокинутую глиняную тарелку, потом сунул руки под одеяло. Но они не согрелись. Пришлось развести огонь в очаге. Сухие щепки быстро загорелись. Взяв кумган, Гулямджан подошел к ведру, стоящему у входа. Из ведра торчала ручка медного ковша, но вытащить его было невозможно: ковш вмерз в лед. Гулямджан поставил ведро у очага и уселся рядом. Ветер, бесновавшийся во дворе, стучался в двери.

Внезапно сквозь шум ветра донесся глухой смех, затем ругань. Потом за дверью кто-то закричал: «Мулла Асад, позовите своего земляка, пусть споет нам». Другой голос громко возразил: «Э, да оставьте вы его! Он сейчас червей выращивает в носоглотке, чтобы раздать их цыплятам, которых высидел в своей худжре!» Снова раздался смех. «Так вот почему он избегает нас: он стал наседкой!» — завопил кто-то.

Как ни оскорбительны были эти остроты, Гулямджан сдержал себя, хотя его и подмывало выскочить наружу. Но что же особенное сейчас произошло? Разве подобные шутки не обычны, если не в каждой худжре, то в большинстве из них? И разве всего только полгода назад Гулямджан не участвовал в таких вот затеях? Разве задумывался он тогда над тем, что может обидеть, оскорбить? «Каким я был животным, и как я об этом не догадывался!» — подумал Гулямджан.

В этот миг кто-то, приблизившись к самой двери, хлопал руками и закричал по-петушиному. Это было уже слишком. Гулямджан вскочил, ногой распахнул дверь. Озорники бросились в соседнюю худжру. Гулямджан погнался за ними. Рванул дверь. Но ее уже заперли. Гулямджан постоял перед дверью и медленно побрел к себе. Его била нервная дрожь. Долго, не отрываясь, смотрел он на тлеющие в очаге угольки, а затем, успокоившись, налил в кумган воды и поставил его на огонь. После этого он достал из ниши и разложил на сандале¹ возле коптилки чернильницу, камышовую ручку, бумагу, вытащил из-под войлочной подстилки завернутую в тряпку тощую книжицу и, заглядывая в нее, принялся писать слева направо...

Гулямджан так увлекся своим делом, что не слышал ни хохота за стеной, ни завывания ветра, ни поскрипывания снега под чьими-то шагами. И только когда дверь раскрылась, Гулямджан очнулся и быстро задул коптилку.

— Кто это?

— Я, я, — поспешил ответить вошедший. — Эх и грубо же я, мулла Гулямджан. Так грохнул дверью, что потушил ваш огонек. Извините меня.

— Ашур Мирзо! Друг! Вы?

— Я, дорогой мой, я.

Гулямджан стремительно поднялся и обнял вошедшего, едва различимого при тусклом свете тлеющих угольков в очаге. Это был товарищ Гулямджана, который предпочел уроки мударриса работе у купца и бросил медресе.

¹ *Сандал* — накрытый одеялом низкий столик над тлеющими углями.

— А я уже по вас соскучился, думаю: куда вы пропали?

— Куда же я денусь! А как вы? Все еще мудрости набираетесь?— пошутил Мирзо.

— По вашему примеру.

Оба захохотали.

— Что ж это я? Совсем ополоумел! Сейчас зажгу свечки,— засуетился обрадованный Гулямджан.

Когда в худжре стало светло, на сандале не было ни чернильницы, ни бумаги, ни книги. Усадив гостя, Гулямджан разостлал дастархан с весьма скромным угощением: урюком и двумя черствыми лепешками.

— До чего я рад, что вы пришли!— не успокаивался он.

— Но, если бы я к вам не зашел, вы бы обо мне и не вспомнили?

— Навестил бы, да сами знаете — зубрежка, зубрежка!.. Ну хватит! Лучше расскажите-ка про вашу Тутикиз.

Ашур Мирзо, услышав имя дочери, воскликнул:

— О, ей уже третий год пошел. Послушали бы вы, как она лепечет! Кто-то ей сказал: «Есть такая птица, которая разговаривает, как человек. Зовут эту птицу, как и тебя,— «Тути». Вот после этого она все время и пристает ко мне: «Папа, папа, а что это за птица тути?» Приходится мне изображать попугая, которого я никогда не видел.

Ашур Мирзо показал, как он изображает смешную птицу тути. Гулямджан весело рассмеялся, а друг продолжал рассказывать:

— И вот так каждый день, не успею я прийти из лавки — сейчас же изобрази птицу. Ну и приходится. А она заливается...

— Хорошая девочка,— проговорил Гулямджан.

Вскипел чай. Беседа друзей приняла другой характер.

— Как же вы здесь поживаете, Гулямджан? Неужели отсюда не тронетесь, пока вас не назначат имамом в какую-нибудь мечеть?

— Имамом? Никогда этого не хотел, а теперь тем более!

По лицу Ашура Мирзо пробежала сочувственная улыбка.

— Понимаю! Вы намерены поступить на службу к какому-нибудь баю приказчиком... Ну что ж. Дело непло-

хое. Заработок хороший.

Гулямджан не ответил. Ашур Мирзо что-то вспомнил, хлопнул себя по лбу и оживленно заговорил.

— Как хорошо, что я к вам пришел! Мой хозяин Балта купас собирается в Мекку. Должно быть, он возьмет меня с собой. Если хотите, я могу порекомендовать вас на свое место.

— Спасибо. Но мне это не подходит.

Ашур Мирзо удивился:

— Вот тебе раз! Что же вы намерены делать? Имам не хотите, приказчиком тоже...

— Я хочу открыть школу.

Ашур Мирзо пристально посмотрел на Гулямджана и не шутит ли тот, потом захохотал.

— Школу?! Ну знаете... Хвала вам! Значит, вы будете по четвергам получать от мальчиков подношения, собирать с них за веник, за циновки? Так вы же станете богачом!

— Ничего я не стану брать. У меня будет другая школа.

Ашур Мирзо перестал смеяться.

— Окончивший мою школу не будет ни имамом в мечети, ни кази волости.

— Что же он будет делать? Подпирать небо?

Язвительный вопрос не обидел Гулямджана. Он спокойно ответил:

— Кто знает, может быть, и изобретут нечто подобное. Ведь есть же люди, что гонят по железу огненную арбу, прядут хлопок не на веретене, а на машине. Если одни умеют ладить с машиной, то почему же не смогут другие? Смогут. Надо только с детства обучать этому.



— Ну что ж, обучайте! Придумайте подпорку для неба, рукав для одеяла, крышку для пруда, футляр для половника — ведь это как раз то, что нам не хватает,— насмешливо произнес Ашур Мирзо.

— Я только открыл вам свои мечты,— мягко улыбнулся Гулямджан.— Успокойтесь! Ведь для этого у меня нет нужных знаний. А как бы я хотел учиться и учить!

— Откуда у вас эти фантазии, что на вас нашло?

— Не фантазии. В прошлом году один мой земляк спросил меня: учат ли в медресе обращаться с машинами. Так я чуть сквозь землю не провалился.

Ашур Мирзо засмеялся.

— Ах, мошенник, ну и вопросик же задал!

— Верно он говорил, Ашур Мирзо!

— А если верно, так почему же вы не ответили ему: «Не обучают. Возьмись сам».

— Вот!

Гулямджан вытащил книжицу. Ашур Мирзо прочитал знакомое заглавие «Книга притч», раскрыл ее и от удивления вытаращил глаза.

— Так здесь по-русски!

— Да,— тихо ответил Гулямджан.

— Что это за книга?

— Букварь.

— Что это значит?

— Русский букварь.

— Вы уже читаете?

— Немного.

— Как же вы научились?

— С помощью того человека. В депо он работает, среди русских.

Ашур Мирзо бросил букварь, холодно посмотрел на друга. Гулямджан поднял книгу и снова спрятал ее.

Глава четвертая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весна коснулась своим дыханием и медресе. На ветвях карагача, растущего посреди тесного дворика, зачирикали воробьи. Они суетились, вили гнезда. Откуда-то

то и дело прилетали ласточки. Они кружились по двору, затем стремительно влетали в мечеть, повисали под потолком — лепили гнезда.

Земляные крыши медресе покрылись изумрудной травой и огненно-красными тюльпанами. Учащиеся медресе вели себя подобно жеребятam, выпущенным на зеленый луг. Солнце, засверкавшее после долгого ненастья, выгнало из худжры даже почтенного старца мударриса Камалиддина. Сегодня он решил провести урок во дворе. Он выбрал место под раскидистым карагачом. В огромной чалме, расположившись на толстой подстилке, он втолковывал сидящим перед ним молодым людям что-то, видимо, очень важное. Произнеся длинное арабское изречение, мударрис Камалиддин принимался комментировать и объяснять его столь ясно, что не проходило и получаса, как слушатели убеждались в правдивости, к примеру, такого изречения: «мужчина, чистый в помыслах, достоин женщины, ему подобной».

В самый разгар своих рассуждений мударрис неожиданно смолк, обшарил ряды учащихся глазами, на редкость живыми для его семидесяти лет, и строго спросил: — Где Гулям?

От природы добродушный, мударрис крайне раздражался, когда ему казалось, что ученики нерадивы, не знают заданных уроков, или, что хуже всего, когда не обнаруживал их на занятиях. И хотя престарелый светоч науки не часто выходил из себя, в год всего несколько раз, муллаваччи хорошо помнили, что умерить пыл разошедшегося старца можно было только молчанием. Вот поэтому сейчас никто не рискнул ответить на вопрос мударриса.

— Я вас спрашиваю: где Гулям?— повторил мударрис Камалиддин, заметно повысив голос.

Смуглый юноша, сидевший справа от мударриса, хотел что-то сказать, но его опередил товарищ, великовозрастный, тщедушный муллавачча, с болезненно-желтым лицом.

— Таксыр¹,— начал он, продолжая сидеть, почтительно сложив руки на животе,— мулла Гулям по примеру Ашура Мирзо хочет покинуть медресе. Его посту-

¹ Таксыр — господин,

пок возмущает всех нас. Дол же несколько месяцев, как он уклоняется от бесед с нами и совместного приготовления уроков. Он тратит драгоценные часы на пустые дела. Вчера вечером он ушел вместе с Ашуром Мирзо и до сих пор не вернулся.

Мударрис Камалиддин нахмурился и принялся поглаживать свою длинную белую бороду.

— Это неверно,— произнес смуглый мулавачча, поднявшись с места.— Мулла Гулям уже несколько дней болен. Он и сейчас лежит в своей худжре.

Мударрис перевел взгляд на желтолицего.

— Что вы можете возразить, мулла Асад?— спросил он.

Асад кари побледнел. Его тонкие губы задрожали.

— Мой таксыр, он находит слова вашего покорного слуги лживыми, неужели я буду...

— Мулла Асад!— перебил его смуглый.— Если бы не уважение к учителю, я назвал бы ваши слова злостным измышлением.

Асад кари вздрогнул, невольно подался вперед, хотел что-то сказать, но мударрис поднял руку.

— Хватит,— сказал он, а затем обратился к самому молодому муллавачче, который сидел позади всех:— Сходите в худжру муллы Гуляма. Если он там, позовите его.

Через несколько минут младший муллавачча привел Гулямджана. Подойдя к мударрису, он поклонился. Всегда свежее, лицо Гулямджана было сейчас бледно, глаза воспалены. Убедившись, что Гулямджан болен, мударрис сердито посмотрел на Асада кари, а затем обратился к пришедшему.

— Если вы не очень больны, садитесь, послушайте урок.

Гулямджан, поклонившись, опустился на край супы. Нахмурившись, мударрис долго сидел молча. Молчали и его воспитанники.

— Так на чем мы остановились?— произнес, наконец, учитель и тут же вспомнил:— Да, «мужчина, чистый в помыслах, достоин женщины, ему подобной».— Затем он произнес еще одно изречение из шарията, одному ему понятное. Произнес его он опять так многозначительно, будто в этом изречении заключался бог весть какой глу-

бокий смысл. Когда же мударрис растолковал его, то оказалось, что оно означало: «Блудный мужчина должен вступать в брак только с блудной женщиной».

Мударрис Камалиддин довольно долго комментировал эту фразу. Он живописал бесконечные ужасы ада даже для тех развратников, которые считаются мусульманами. Когда он, кончив объяснения, поднялся было с места, Гулямджан задал вопрос:

— Из шариата известно, что на мужчину, совершившего блуд, должен быть обрушен забор, а женщины, поддавшаяся блуду, должна быть забита насмерть камнями: иными словами ни для первого, ни для второго нет жизни на земле. Ну а если это так, то разве можно говорить об их бракосочетании?

За всю свою многолетнюю деятельность мударрис ни разу не попадал в столь затруднительное положение. Поэтому он несколько растерялся.

— Нет, нет! Так думать — значит подвергнуть сомнению шариат, следовательно, стать кяфуром¹. Здесь все ясно. Если блудный мужчина, равно как и блудная женщина, с одной стороны... — тут мударрис, то ли обнаружив ни одной из спасительных «сторон», то ли упустив тонкую нить своих умопостроений, запнулся, замолчал. Затем, хмуро взглянув на Гулямджана, сказал: — Уж не хотите ли вы подвергнуть сомнению незыблемость шариата?

Гулямджан не был удовлетворен ответом, но спорить не стал. Он, метнув взгляд на Асада кари, задал другой вопрос:

— По шариату развратники предаются смерти. Там же говорится: «Клевета хуже разврата». Так почему же клеветники даже щелчка не получают?

Так как мударрис не издавал ни звука, то Гулямджан продолжал:

— Может быть, Асад кари ответит мне?

Кто-то хихикнул. Асад кари продолжал оставаться невозмутимым, словно все здесь происходящее несколько его не касалось. Наступило неловкое молчание. Камалиддин, закрыв глаза, перебирал янтарные четки, губы его что-то беззвучно шептали. Кто знает, как долго про-

¹ *Кяфур* — неверный (религ.)

должалось бы молчание, если бы в это время, путаясь в полах своего чапана, во дворе медресе не появился старый улем¹.

Камалиддин махдум² вздрогнул, открыл глаза и, увидев улема, поднялся с места.

— Э-э, добро пожаловать, таксыр, добро пожаловать!

— Ассалям алейкум, мулла Камалиддин!

— Ваалейкум ассалям, да пребудет с вами милость божья! Пожалуйте на супу, кази Гиясиддин.

После того как оба старца взобрались на супу и, воздев руки, вознесли богу благодарственную молитву, Камалиддин обратился к гостю.

— Счастья и благополучия вам!

— Благодарю, и вам также.

— Каким добрым ветром занесло вас, таксыр?

— Много забот свалилось на наши головы,— ответил кази, поглаживая свою окладистую белую бороду.

Камалиддин отпустил присмиривших питомцев, затем велел Асаду кари накрыть дастархан. Асад кари слил на ладони старцев воду и побежал за чаем. Камалиддин, разломив лепешки, принялся разрезать гранат.

— Эй, эй, таксыр, не режьте, целее будет, а то ведь съедем его...

Камалиддин ответил шуткой:

— Да будет зарезан бык даже для единственного гостя.

Пока старики, хрипло смеясь, подтрунивали друг над другом, Асад кари принес чай. Усевшись на таком расстоянии от дастархана, которое свидетельствовало о скромности и, вместе с тем, давало возможность дотянуться к нему рукой, он принялся разливать чай.

— Э, зеленый чай, не ослабит ли он наш организм?— произнес кази, получив половину пиалы янтарного чая.— Впрочем, здесь есть кое-что подкрепляющее.— С этими словами кази взял с тарелки несколько самых крупных кусков наввота³ и опустил их в пиалу. А пока наввот растворялся, кази, не теряя времени, уписывал

¹ Улем — ученый-богослов.

² Махдум — почтительно «ученый».

³ Наввот — род сахара.

гранат, чем причинял страдание известному своей ску-
постью Камалиддину.

Мударрис насупился, но вслух сказал:

— У меня обучаются двое из Карабулака, но о них никто не заботится, никто ими не интересуется.

— Нам кажется, не совсем так, досточтимый махдум,— произнес кази, вытряхивая в ладонь зернышки граната.— Ведь мы сюда прибыли именно потому, что интересуемся.

Мударрис холодно улыбнулся:

— Похвально! Но если бы из доходов мечети...— только было начал он, как кази сразу поперхнулся «Чтоб тебя могила прибрала! Мало тебе твоих доходов в городе, так ты, подлец, еще норовишь запустить свою лапу в наш карман!»— подумал он и, не дав своему собеседнику закончить фразы, заговорил:

— Мы приехали сюда затем, высокочтимый махдум, чтобы добиться милостивого разрешения забрать с собой вашего воспитанника, сына Вали-ака. Нам стало известно, что из него получился мулла многоученый и достойный.

Асад кари побледнел. Камалиддин, нахмутив брови, задумался. Кази, опорожнив пиалу, взял с подноса горсть неочищенного кишмиша, отправил его в рот, пожевал.

— Дело в том, что имам нашего кишлака отдал богу душу...

— Амины! Да будет милостив к нему аллах,— воздев руки, произнес Камалиддин.

— Амины!— повторил кази.— Теперь ваш покорный слуга вынужден совмещать обязанности и кази и имама. Если бы вы отдали нам Гуляма кари, мы назначили бы его имамом мечети.

Камалиддин засмеялся, вслед за ним захихикал Асад кари. Кази Гиясиддин насторожился.

— Так что же вы нам ответите?— сдержанно спросил он.

— Нет, этот юноша не подходит для должности имама. Он подвергает сомнению шариат...

— Подвергает сомнению?— удивился кази.

— Да, и не далее, чем сегодня, и притом здесь.

— Здесь еще ничего, а вот какие вещи говорит он в



своей худжре! — многозначительно произнес Асад кари.

— Так, так, так! А что именно он говорит?

— Еще прошлой зимой он вместе с Ашуром Мирзо заперся в своей худжре и разными словами поносил медресе: дескать, пусть провалится медресе, лучше бы мне стать приказчиком какого-нибудь бая, пусть даже еврея. Вот что он говорил.

— Неужели?! — воскликнул мударрис Камалиддин.

— Да, я все это слышал собственными ушами. И еще недавно он вошел в худжру вашего покорного слуги и го-

ворит: «Я хочу посоветоваться с вами». Я ему: «Пожалуйста, дорогой, я к вашим услугам». И что же вы думаете, он говорит: «Хочу поступить в русскую школу!»

— В русскую школу?!

— Да.

— Но почему вы не сказали нам об этом раньше? — гневно произнес Камалиддин.

Асад кари потупил глаза.

— Ну?!

— Да он все упрасивал меня: «Мы ведь с вами земляки; умоляю, никому не говорите о моих замыслах». Вот я и молчал из жалости к нему.

— Ах, какой нечестивец! — залепетал кази, покачивая головой, отягощенной огромной чалмой.

Камалиддин был рассержен и смущен так, как если бы слова кази относились к нему.

— Приведи сюда этого скверномыслящего! — обратился он к Асаду кари.

Оба сарика сидели насупленные. Камалиддин был удручен тем, что на протяжении шести лет ему не удалось раскусить Гулямджана. Казии сердился на себя за то, что прочил на место имама этого вольнодумца.

— Так ты, неблагодарный, согласен уйти из медресе и стать приказчиком у бая-еврея?— накинулся Камалидин на Гулямджана, как только тот появился.

Юношу поразили неожиданный вопрос и злобный тон старца. Он пытался отгадать: кто оговорил его. Гулямджан стоял растерянный и недоумевающий. Но вот он быстро обернулся, взглянул на потупившегося Асада кари и сразу все понял.

— Нет, таксыр, я не хочу стать приказчиком ни у бая-еврея, ни у бая-мусульманина, ни у русского бая. И, следовательно, никогда никому ничего подобного говорить не мог. Если же кто-нибудь утверждает противное, то это клевета.

— Клевета?!— спросил кази, прищурив глаза.

— Да, клевета.

— А то, что ты хочешь поступить в русскую школу, тоже клевета?— спросил махдум.

— Да, это тоже клевета!

Старики захихикали. Мударрис посмотрел на Асада кари.

— Мулла Асад, что вы на это скажете?

Асад кари слегка побледнел, но не смутился.

— Отпирается. Говорил он.

Гулямджан живо обернулся к муллавачче.

— Кому же я говорил, мулла Асад?— спросил он с нескрываемым презрением.

Асад кари мгновение колебался, затем, не взглянув на Гулямджана, обратился к старикам:

— Он говорил мне. Сейчас он болен, должно быть, забыл.

— Ложь!— крикнул Гулямджан, затем, словно отвешивая пощечину, отрезал:— Вероотступник!

— Эй, злодей, не смей так говорить о правоверном мусульманине!— угрожающе крикнул кази.— Называя мусульманина неверующим, ты сам становишься вероотступником. Теперь все ясно. Он одержим богопротивными мыслями...

— Таксыр,— сдержанно произнес Гулямджан,— никогда я не говорил этому клеветнику, что намерен поступить в русскую школу. Никогда я...

— Говорил! Лжет он! Говорил! Я сам слышал,— зачастил осмелевший Асад кари.

Кази укоризненно покачал головой и продолжал уже привычным тоном проповедника:

— Лгать — значит в грехах с головой погрязнуть! Ибо когда апостол спросил вечно живущего пророка: «О посланник бога, допустимо ли, чтобы среди поклоняющихся тебе были воры?», то последовал ответ: «Допустимо». Тогда пророка спросили: «Возможны ли развратники?» Святой ответил: «Возможны». Наконец, пророка спросили: «Возможны ли среди поклоняющихся тебе лгуны?» На это великий пророк ответил...— Здесь кази сделал паузу, закатил глаза к небу, поднял свои руки с зажатými в них четками и, тряхнув ими, торжественно изрек:— «Нет! Не будет лгун моим последователем»,— сказал посланник бога и отвернулся. Оспаривать правдивые слова мусульманина — все равно, что лгать, а следовательно, погрязнуть в грехе, стать скверномыслящим, неблагородным, неверным. Такому не место в медресе.

Вконец раздраженный тем, что старый лицемер распоряжается здесь, как у себя дома, мударрис Камалиддин воскликнул, обращаясь к Гулямджану:

— Вон в худжру!

Но Гулямджан не тронулся с места. Он не опустил головы, как это было принято в подобных случаях. Наоборот, он стоял непокорный и дерзкий.

— Почтенные учителя, я доволен происшедшим. Раз вы не гнушаетесь называть правду ложью, а ложь правдой, то я больше не сомневаюсь в том, что ваши проповеди — одно лицемерие. Надеюсь в будущем хотя бы слабо светить своему народу, который прозябает в косности и невежестве, я вот уже шесть лет живу затворником в этом медресе. Но, увы, я ошибся. Доверившись таким уважаемым людям, как кази и Асад кари, я, подобно арыку, отделившегося от реки, отошел от народа. Вот об этом и сожалею.

— Замолчи! — воскликнул разъяренный Камалиддин.

Гулямджан язвительно улыбнулся:

— Благодарю! Я больше не буду с вами разговаривать. Но, таксыр, ни это, ни ваши другие приказания для меня отныне не обязательны. Я не вернусь больше в худжру. За науки и воспитание спасибо!

Гулямджан поклонился. Затем, резко повернувшись, зашагал прочь.

Глава пятая

У РОДНИКА

Всю весну и лето Гулямджан чувствовал себя, как выздоравливающий после тяжелого недуга. За это время он съездил в гости в Андижан к Аштуру Мирзо, поговорил с ним по душам, поиграл с его трехлетней дочкой Тути, с горечью подумав при этом, что он тоже мог бы теперь иметь свое дитя, мог бы осчастливить родителей, мечтающих о внучонке...

Когда рано утром Ашур Мирзо отправился в лавку Балта купаса, где он служил приказчиком, Гулямджан спросил у его шурина, уста¹ Бахрама, как делаются школьные парты. Тот охотно набросал чертеж.

Вернувшись в кишлак, Гулямджан срубил в тополевой роще четыре дерева, распилил их на доски и оставил сушить.

Затем Гулямджан отправился в Ош к Мирзе Фазлиддину-ходже, преподавателю русско-туземной школы. Рьяный поборник науки и просвещения, Мирза Фазлиддин стоял за обучение мусульманских детей в новометодных школах. Еще в медресе Гулямджан много слышал о нем и проникся уважением к этому человеку, прозванному за вольнодумство «красноголовым». Гулямджан хотел узнать, как поставлено преподавание в новой школе, каким предметам уделяется больше внимания. Мирзо Фазлиддин принял Гулямджана радушно. Он подробно рассказал о том, как воспитывает своих питомцев. Гулямджан присутствовал на уроках письма, чтения, арифметики и географии. В продолжительной беседе Мирзо Фазлиддин горячо советовал гостю последовать его примеру и обещал свою помощь. Юноша уехал домой окрыленный.

Гулямджан готовился к открытию школы. Он намеревался сделать это осенью. Но, когда наступила осень и дехкане приступили к сбору хлопка, неожиданно заболел отец. Открытие школы пришлось отложить, так как все хлопоты по сбору урожая легли на плечи будущего учителя. В середине октября отец выздоровел. Но и тогда

¹ Уста — мастер.

Гулямджан не смог оставить работу. Отец был еще слаб: и без помощи сына справиться с уборкой урожая не мог.

...Отправляясь с отцом на поле, Гулямджан волновался. Он надеялся снова увидеть на соседнем участке встреченную им когда-то девушку. Еще издали он стал пристально вглядываться, но поле было пустынно. «Неужели там уже собран весь хлопок?»— подумал он с сожалением. Но, когда, приблизившись, Гулямджан увидел, что соседнее поле еще не убрано, сердце его затрепетало от какого-то неясного предчувствия.

Вали-ака показал сыну, где нужно расчистить землю для хирмана, повел сборщиков к грядкам, примыкавшим к полю Мадамина-ходжи. Здесь он их благословил:

— Да принесет бог изобилие! Приступайте.— Удовлетворенно осмотрел пышно раскрывшиеся коробочки хлопка и приступил к сбору.

Гулямджан, подогнув полы халата за поясной платок, начал разравнивать место для хирмана. В киргизском войлочном треухе, в белом халате и яловых сапогах, он лишь отдаленно напоминал бледного, чахлого муллавачку из медресе. Теперь по его загорелому лицу, по тому, как энергично и ловко он орудовал кетменем, его можно было принять за дехканина, вся жизнь которого прошла в труде.

Гулямджан любил физический труд. Увлечшись, он начал петь. Сперва тихонько, про себя, а потом, забывшись, запел громче. Его мягкий, как утренний ветерок, голос полетел над полем. Больше всех обрадовался этому пению отец Гулямджана. Вали-ака то и дело останавливался, поворачивая голову туда, откуда доносился голос сына, и его бледное от перенесенной болезни лицо озарялось улыбкой.

— Как будто хирман маловат, сынок, в этом году хлопок, слава богу, уродился,— произнес Вали-ака, подойдя к сыну.

Гулямджан огляделся. Урожай и в самом деле был хорош. Кусты хлопка поднялись по грудь человеку, листья их едва виднелась в пушистом белом, словно снежном, поле. Радость засверкала в глазах Гулямджана.

— Да, сынок, делай хирман чуть побольше,— произнес Вали-ака.

Взяв кетмень, Гулямджан принялся за работу. На ду-

ше снова стало беспокойно. «Выйдет или не выйдет завтра семья Мадамина-ходжи на сбор хлопка, придет ли с ней та девушка?»

Следующее утро причесло Гулямджану разочарование. Соседнее поле, как и накануне, было безлюдным. Весь день Гулямджан трудился с каким-то ожесточением, печальный и молчаливый. Работы оставалось на три дня. Если он не увидит девушку в течение этих дней, то, наверное, уже никогда больше не встретит.

Наступил последний день сбора. Выехав из кишлака, Гулямджан увидел старый, знакомый тал. Внезапно его сердце бешено заколотилось, лицо вспыхнуло. Он стегнул коня и поскакал.

Подъехав к участку Мадамина-ходжи, Гулямджан взглянул на группу женщин.

— Эй, закройте свои лица!— услышал он сварливый женский голос и тотчас же отъехал прочь. И только сойдя с коня у своего хирмана, решил снова взглянуть на работниц. Но теперь их, скрытых кустами хлопка, нельзя было отличить одну от другой. Никто, даже невзначай не взглянул в его сторону. Значит, сердце его обмануло! Значит, нынче ее не пригласили на сбор!

Гулямджан усмехнулся. Какой же он простодушный, легкомысленный, наивный! Что, в сущности, произошло? Случайно соскользнул чапан и открыл лицо незнакомки. Она взглянула и улыбнулась. Вот и все. Неужели этот взгляд, эта улыбка будут мучить его всю жизнь? Вздор! Но почему так больно при мысли, что он никогда больше не увидит ее?

Гулямджан принялся за работу. На соседней грядке собирала хлопок его двоюродная сестра, маленькая Дилора. Вдруг, заметив кого-то, она пронзительно закричала:

— Хаётхон, подруженька, здравствуйте!

Гулямджан вздрогнул от неожиданности, поднял голову и обомлел. На расстоянии каких-нибудь пяти шагов у кустов хлопка стояла девушка, по которой он так тосковал!

— Дай вам бог изобилия, Дилорхон!— донесся голос, который показался юноше пленительным.— Не уставать вам...

Гулямджан едва удержался, чтобы не воскликнуть: «Не уставать и вам», ибо приветствие девушки, без сомне-

ния, относилось и к нему, но сильное волнение лишило Гулямджана дара речи. Дилора вместе с Хаётхон скрылись в кустах хлопчатника.

Когда Дилора вернулась, лицо Гулямджана было бледно.

— Дилора, Дилора...— сказал он и, не в силах унять волнение, смолк.

Девочка лукаво улыбнулась и спросила:

— Что с вами, братец?

— Эта девушка твоя подруга?

— Да.

— Стало быть, ты ее знаешь?

Дилора засмеялась. Ее рассмешил нелепый вопрос Гулямджана.

— Ох, до чего же вы ловко притворяетесь! Как будто вы не знаете Хаётхон!

— Убей меня бог, я...

— Да ведь это лучшая певунья Карабулака! Слышали бы вы, как она играет на дутаре! А какие газели слагает!

— Так это о ней так много говорят? Это та самая девушка-музыкантша, которая...

— Да, да. Та самая. Только бабушка у нее злющая. Никуда не отпускает. Да и с Хаётхон в последнее время что-то случилось, странная какая-то стала. На свадьбы теперь не ходит. Только у нас изредка бывает. Даю ей дутар — не берет. А если и заиграет, то кажется, что ее дутар плачет...

Дилора замолчала, посмотрела на Гулямджана. Тот стоял, растерянно теребя комок хлопка. Почувствовав на себе взгляд сестры, он почему-то сунул хлопок за пазуху и спросил:

— Говоришь, газели пишет? Стало быть, она писать умеет?

— Откуда? Нет, просто слагает. Ведь в нашем кишлаке нет ни одной грамотной женщины!

— Понятно! — невпопад ответил Гулямджан. Затем, словно невзначай, спросил:— Ты говоришь, что у нее бабушка злая. А кто ее бабушка?

— Старуха Мастан!

— Мать Мадамина-ходжи?

— Конечно. Ведь Хаётхон — дочь Мадамина-ходжи.

Услышав, что Хаётхон происходит от рода ходжей¹, Гулямджан почувствовал себя так, словно его окатили ледяной водой. Наконец он глухо сказал:

— Дилор, за кого просватана твоя подруга?

Откровенный вопрос смутил девочку. Она застеснялась, потупила глаза и тихо ответила:

— Она еще дома, видно, не находится пока жених-ходжа.

Гулямджан знал, что согласно шариату ходжи не выдают своих дочерей за карачей², знал, что этот обычай, словно ржавая цепь, сковывает ходжей. Вот почему весть о том, что Хаётхон из рода ходжей, ужаснула юношу. Гулямджан почувствовал себя, как путник, который, шагая по прямой, залитой светом дороге, неожиданно очутился в мрачном лесу. Разве он может отказаться от любви, которая вот уже год заполняла все его существо? Нет, конечно! И если девушка полюбит и ее родители не захотят обездолить свою дочь, то кто же может препятствовать их счастью? Какой отец, какая мать не желают добра своему ребенку? А когда он с отцом в прошлом году навестил Мадамина-ходжу на хирмане, разве тот не выказал свое уважение Гулямджану? Неужели вздорный, жестокий закон окажется сильнее здравого рассудка, благородных чувств, пламенной любви? Нет! Этого не может быть!

В полдень, когда сборщики отдыхали, Дилора ушла к подруге. Как хотелось Гулямджану пойти вместе с ней! Но он знал, что это невозможно. Он подошел к отцу и уселся рядом. Тот протянул ему ломоть дыни.

— Вот, попробуй. Хороша, хоть чуть перезрела.

Гулямджан стал нехотя есть.

— Что с тобой, сынок? Нездоровится? Почему не слышно твоих песен?

— Не до песен. Хлопок бы собрать.

— Хлопок соберем, не останется... Почему ты грустишь, сынок? Тебя что-то заботит?

Гулямджан промолчал. Прочитав молитву, он проворно вскочил, некоторое время постоял, прикидывая, куда бы ему пойти, и медленно зашагал к небольшой тополевой

¹ Ходжи — род ведущих жезлы свое начало от пророка Магомета.

² Карачи — просто кардые.



роще на краю поля. Здесь было прохладно, звенел маленький бойкий ключ. Гулямджану хотелось побродить одному, но внезапно он увидел женщину, которая сидела на корточках спиной к нему и полоскала платок в ручье. Гулямджан собрался повернуть обратно, но тут женщина вынула платок из ридника, приложила его ко лбу и выпрямилась. Сердце Гулямджана заколотилось: это была Хаётхон!

Гулямджан замер. Что делать? Молча, затаив дыхание, любоваться издали ее милым лицом, русыми волосами, заплетенными во множество косичек, мягкими движениями ее гибкого молодого тела и ждать, пока она, ни о чем не подозревая, удалится, или подойти к ней?

Обуреваемый сомнениями, Гулямджан незаметно для себя тихо приблизился к девушке. Хаётхон, все еще ни о чем не подозревая, отняла платок ото лба и собралась было снова смочить его, но, наклонившись к воде, с испуганным возгласом отшатнулась.

— Не бойтесь,— робко произнес Гулямджан и поднял оброненный ею платок.

Хаётхон так растерялась, что забыла закрыть лицо. Она сердито взглянула на юношу, но вслед за тем медленно потупила глаза. Ее лицо залилось ярким румянцем. Она хотела устремиться прочь, но не смогла это сделать: позади протекал широкий ручей, перед ней стоял Гулямджан. Девушка закрыла лицо рукавом.

Сколько раз и как отчетливо представлял себе Гулямджан этот счастливый миг встречи с любимой! Тысячу раз он повторял про себя слова, которыми сразу же выскажет свою любовь, верность. Но вот он стоит перед

ней — и все красивые слова вдруг улетучились, а вместо них с языка сорвались какие-то другие, бессвязные, едва различимые...

— Я, кажется, испугал вас...

Хаётхон ничего не ответила. Она стояла, закрыв лицо, и как будто чего-то ждала. Какой же он трус! Гулямджан приободрился и, глядя на платочек, который он машинально теребил, начал внезапно охрипшим голосом:

— Я вас...

Больше Гулямджан ничего сказать не смог, та́к как язык перестал ему повиноваться. Но странное дело. От этих двух коротких бессвязных слов девушка пришла в сильное замешательство. Она оторвала лепесток от росшего у ее ног цветка и стала внимательно его рассматривать. Наконец он снова заговорил:

— Я видел вас в прошлом году, с тех пор... Если бы вы знали... Это мучительно... Я так счастлив. Я очень боялся, что больше никогда вас...

Хаётхон бросила на Гулямджана быстрый взгляд, улыбнулась и тихо прошептала:

— А теперь не боитесь?

— Нет, теперь не боюсь! Теперь чего бояться? Но нет... я боюсь еще больше... Я молю бога, чтобы он не лишил меня вас!

И снова Гулямджан смолк, не отрывая глаз от завитка волос на ее виске.

— Хаётхон, — позвал он так нежно, что Хаёт встрепенулась.

— Хаётхон, если вы хотите... не возражаете... Я хочу сказать, моя мать пойдет к вам...

Рука, прикрывающая лицо, вздрогнула, опустилась, снова поднялась... Хаётхон сделала несколько неуверенных шагов и внезапно бросилась бежать, как лань, преследуемая охотником. Остановить или догнать ее было невозможно. Гулямджан вернулся к ручью. Ему хотелось пить. Он собрался зачерпнуть ладонью воду, но тут обнаружил в своей руке платок Хаётхон.

— О Хаёт моя! — произнес он, прикоснувшись губами к платку, и спрятал его на груди.

¹ Хаёт — здесь: жизнь.

Глава шестая

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Гулямджан еще раз встретился с Хаётхон у родника. Он говорил с ней долго и горячо. Хаётхон слушала, его как зачарованная.

Но счастье, которое бывает у человека, да и то не у каждого, только раз в жизни, для молодых влюбленных обернулось страданием.

Через несколько дней после того, как молодые люди встретились, к дому Мадамина-ходжи направились сваты.

Но им не привелось даже перешагнуть порог. Старуха Мастан, заметив у своего дома Хадичу-биби с узелком в руке в сопровождении четырех женщин, сразу же смекнула, в чем дело, и пришла в ярость.

— Эй, вы! Я знаю, зачем вы пришли! Никогда не быть дочери ходжи женой карачи, слышите? Отправляйтесь туда, откуда явились!— закричала она и захлопнула калитку перед самым носом пришедших.

Хадича-биби от стыда была готова провалиться сквозь землю. Но только мгновение она стояла неподвижно, а потом легонько постучала в калитку.

— Тетя Мастан, голубушка, не надо так...

— Прочь! Пошла отсюда! А не то, проклятая, я тебе сейчас такое задам, что...

Как каждая любящая мать забывает о себе, когда ее дитяти грозит беда, так и Хадича-биби, не обратив внимания на оскорбительные слова старухи, думала только о благополучии и счастье сына:

— Тетя Мастан, милая! послушайте же меня, тетя...

— Пошла, пошла! Ты смеешь сватать своего карачу к моей внучке, оскорбляешь нашу семью, наш род, нашу касту, позоришь меня перед всем народом, а я еще буду слушать тебя! Уходи отсюда, пока цела!



Одна из женщин, пришедших вместе с Хадичой-биби, приподняла свой чачван и шлепнула себя по лицу:

— О позор на наши головы!

Вот так старшая в семье Мадамина-ходжи — старуха Мастан — встретила сватов Гулямджана.

Хадича-биби едва приплелась домой; бросив узелок, она жалобно запричитала:

— О боже, зачем ты разделил людей на святых ходжа и карача? За какие тяжелые грехи ты так жестоко мстишь нам?

Вали-ака, услышав причитания жены, выбежал во двор. Увидев, что Хадича-биби царапает ногтями свое лицо, побледнел.

— Даже в дом не пустила! Прогнала от калитки! О горе! О несчастье на наши головы!

Вали-ака со страданием смотрел на плачущую жену.

— Не гневи бога, мать. Значит, так уж нам суждено. Чуяло мое сердце, что так будет! Мы карача — не ровня святым ходжа.

Вали-ака сам едва не заплакал от обиды. Боясь, что слезы, подступившие к горлу, неожиданно хлынут, он замолчал.

— Что же нам теперь делать? Что скажут люди? Ну что вы молчите?— причитала Хадича-биби.

— Что мы можем сделать... Судьба...

— Будь проклят вершитель такой судьбы!

— А-а!

Вали-ака устался на жену и увидел лицо, похожее на осенний лист, прихваченный внезапным морозом. В обезумевшей от горя женщине он не узнал свою жену. Но его потрясло не мертвенное лицо жены, а то, что она осмелилась проклинать судьбу, роптать на бога.

Хадича-биби опомнилась.

— Нет, нет, каюсь я! Боже, прости меня!— воскликнула она, обращая к небу свое залитое слезами исцарапанное лицо.

Запекшиеся губы Хадичи-биби шептали еще что-то. В сердцах сказанное необдуманное слово огрезвило ее. Она затряслась, с дрожащих губ сорвалось:

— Грешница я...

Когда мать согласилась пойти к Мадамину-ходже,

Гулямджана охватили разные чувства. Он и радовался и пугался принятого решения. Наступавший день мог оказаться или самым счастливым, или самым страшным в его жизни. Казалось, что Гулямджан не выдержит долгого ожидания. Рано утром, сославшись на срочные дела, он отправился в город.

Гулямджан оставил лошадь в караван-сараяе и отправился бродить по городу. Но ни людные улицы, ни шум и сутолока базара не помогли ему рассеяться. Душой он был там, где сейчас решалась его судьба. Он шел без цели, без направления, то убыстряя, то замедляя шаги, погруженный в свои мысли. Кто-то дернул его за рукав.

Гулямджан обернулся.

— А, это вы, Кудрат-ака?

— Я. Но вы ли это, Гулямджан?

— А что, не похож?

— На себя — нет.

— А на кого же?

— На пьяного.

— Вот тебе и раз! — улыбнулся Гулямджан.

— Я окликнул вас с той улицы, вы не ответили. Перешел на эту сторону, иду рядом, а вы все не видите. Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке.

Они пошли вместе, разговаривая о пустяках. Наконец Кудрат остановился возле чьей-то распахнутой калитки и задал вопрос, который только и мог как-то оживить Гулямджана.

— Вы, кажется, хотели открыть в кишлаке школу?

— Вот это одна из причин, которая привела меня в город. У меня уже почти все готово. Под класс я приспособил михманхану¹. Вместо парт я сделал пять длинных столов. В классе свободно могут разместиться тридцать детей. Теперь нужна классная доска. Уста Бахрам обещал ее сделать. Сейчас пойду к нему и возьму ее, а завтра-послезавтра, может быть, открою школу.

— Желаю вам удачи!

Гулямджан вернулся из города довольно поздно. Страшась встречи с матерью, от которой ему предстояло

¹ *Михманхана* — комната для гостей.

узнать о своей судьбе, юноша долго занимался хозяйством на внешнем дворе. Никто сюда не входил. Наверное, родители сидели в ичкари. Гулямджан приоткрыл калитку. В ичкари было темно и тихо... Но что удивительного в том, если в холодный осенний вечер пожилые люди находятся в комнатах? Юноша прислушался. Из комнаты донесся тяжелый вздох. Неужели опять заболел отец? Последнее время он часто хворает...

Вали-ака печальный сидел на одеяле. Скрип двери заставил его вздрогнуть. Он хотел подняться навстречу сыну, но тот предупредил его:

— Нет, нет, не двигайтесь, отец.— Гулямджан искал глазами мать и, увидев ее неподвижно лежащей, встревоженно спросил:

— Что с мамой?

Вали-ака отвел глаза:

— Ей что-то нездоровится.

Гулямджан бросился к матери.

— Мама! Что с вами? Это я!

Лицо Хадичи-биби страдальчески сморщилось, веки с трудом разомкнулись. Увидев встревоженное лицо сына, она, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— Мама, я пришел!

Вали-ака приблизился, осторожно погладил жену по голове и печально проговорил:

— Мать! Твой сын пришел.

Хадича-биби повернула лицо, залитое слезами, слабо потрепала сына по плечу, притянула к себе его голову, поцеловала в лоб, опалив лицо юноши горячим дыханием, и зарыдала. И тут, наконец, Гулямджан понял, отчего занемогла мать. Коснувшись щекой ее лица, он грустно прошептал:

— Не надо, мама, не надо!.. Таков наш удел.

Юноша мягко освободился из материнских объятий и вышел.

Глава седьмая

В ЛУННУЮ НОЧЬ

Подавленный, Гулямджан вошел в свою комнату, долго ходил в темноте. Несчастье свалилось не только на него самого, но и на дорогих, близких ему людей...

Юноша зажег лампу, присел к столику и стал писать:

Стон твой пускай, о сердце, ввысь летит, как стрела,
Жар твой пусть звезд коснется, небо сожжет до тла!
Острым мечом вонзилась злая судьба в меня,
Что же теперь мне делать? Устал от страданий я.

Стонут душа и сердце — вместе скорбят они,
Выпал мне жребий горький, стали черными дни,
Я оскорблен, унижен, поникла моя голова,
Надежда моя исчезла и вера моя мертва!

Ах, если бы можно было муки мои облегчить!
В земли уйти чужие, голову там сложить....
Если хотел ты, боже, чтоб я навек полюбил,
Зачем же любимую отнял, счастья меня лишил?!

Дверь тихо скрипнула. Гулямджан обернулся. Увидев отца, он отложил перо, встал.

— Не волнуйся! — произнес отец. — Я хотел тебе сказать, что матери стало лучше. Надеюсь, что завтра она встанет.



Отец ушел, а Гулямджан снова взялся за перо. Однако писать не стал и вышел во дворик. Свежий воздух, мягкий лунный свет подействовали на юношу успокаивающе. С улицы доносился веселый смех детей, игравших в прятки. Гулямджан позавидовал беззаботным малышам. Он подошел к комнате родителей и, припикнув к окошку, услышал мерное дыхание стариков. Потом он направился в ко-

¹ Перевод стихов в романе Юрия Мансурова.

июнию, где кони с хрустом жевали клевер. Буланый, почуяв хозяина, тихо заржал. Гулямджан подобрал с земли клевер, ласково похлопал лошадь по шее и вышел.

Несмотря на поздний час, все еще резвились дети. Ярko светились окна чайханы. Гулямджан направился в сторону мечети. Когда он проходил мимо тутовника, кто-то окликнул его:

— Гулямджан, это вы, друг?

— Ассалям алейкум, ишан-ака. Да, я,— неохотно ответил юноша.

Это был Мадамин-ходжа, отец Хаётхон.

Гулямджан не знал, кто отказал ему в сватовстве, и поэтому обращение Мадамина-ходжи показалось ему насмешкой. Холодно поклонившись, он зашагал дальше.

Мадамин-ходжа, с жалостью и сочувствием смотревший юноше вслед, окликнул его:

— Мулла Гулям, подождите!

Гулямджан остановился. На лице, освещенном тусклым светом луны, отражалась такая мука, столько горького упрека, сурового осуждения, что подошедший Мадамин-ходжа растерялся.

— Ничего, ничего... Потом как-нибудь...— пробормотал он и отошел.

Пройдя с полверсты, Гулямджан свернул налево и направился по берегу Айдын-куля — Лунного озера. Еще несколько сот шагов — и Гулямджан остановился около сада, огороженного ветками. За этим забором жила Хаётхон. Только теперь до сознания юноши дошло, сколь безрассуден его поступок. В самом деле, зачем он пришел? Чего еще, кроме нового позора, он добьется, если будет замечен, и сколько лишних страданий он принесет Хаёт? Что подумают родители, что скажут люди... Нет, надо уйти, уйти немедленно! Ну а если он спрячется здесь, у забора, чтобы хоть издали взглянуть на любимую? Ведь, наверно, и Хаёт тоскует по нему. Возможно, и она хочет видеть его, особенно сегодня.

Гулямджан так и поступил: спрятался за изгородью и оглядел двор. Он был пуст. На другом его конце, возле веранды, мерцал едва заметный огонек. Этот огонек согрел Гулямджана надеждой. «Значит, кто-нибудь обяза-

тельно выйдет... Ну а если Хаёт уже спит? Тогда, тогда... Вон кто-то идет!»

Из дому вышла старуха Мастан. Она подошла к очагу, тронула угли палкой. Несмотря на довольно значительное расстояние, Гулямджан ясно слышал ее хриплый голос.

— Эй, Хаёт, огонь-то тухнет, принеси сучьев!

Из комнаты выбежала Хаёт. Вслед за ней с тарелкой в руках показалась мать девушки. Снова раздался сердитый голос старухи:

— Чтоб тебе подохнуть! Не могла днем приготовить дрова? Лезь на крышу за хворостом!

— Не надо, мама! Еще упадет в темноте. Найдем что-нибудь здесь,— вмешалась мать Хаётхон.

— Пусть принесет тогда из сада.

— Темно там... страшно,— возразила мать.

— Ну что вы, мама! Не съедят же меня волки,— отозвалась Хаёт и направилась в сад, будто по уговору, прямо туда, где прятался Гулямджан.

Словно боясь, что стук сердца могут услышать женщины, Гулямджан затаил дыхание. «Что делать?— пронеслось в его голове.— Тихо окликнуть? Или достаточно того, что он увидел ее? Сейчас Хаёт уйдет, все будет кончено!»

— Хаёт,— тихо прошептал Гулямджан, когда девушка, волоча сухие ветки, проходила мимо.

Но шуршанье сучьев заглушило его голос.

— Хаётхон!

Хаёт вздрогнула, обернулась.

— Это я, я!— зашептал Гулямджан, боясь, что девушка испугается и закричит.

Хаёт узнала его голос. Но то ли не увидела его, то ли приняв увиденное за привидение, девушка, что-то шепча, стала быстро удаляться. Окликнуть ее снова было уже невозможно: старуха ждала внучку. Хаёт, пройдя с десятком шагов, остановилась и принялась ломать сучья. Их сухой треск отдавался в душе юноши острой болью.

С улицы пришел Мадамин-ходжа. К нему подбежала Хаётхон. Она слила ему на руки воду, а когда отец, умывшись, вошел в дом вместе со старухой, Хаётхон присела возле матери, возившейся у очага. Мать разливала еду

в чашки и передавала их дочери. Последнюю чашку мать унесла сама. Девушка вымыла котел, накрыла его крышкой и тоже вошла в дом. В обезлюдевшем саду остался только Гулямджан со своей тоской и мучительными сомнениями. Услышала ли его Хаёт, видела ли его? Она прошептала что-то? Может быть, молитву от наваждения?

Вот так и сидел Гулямджан, теряясь в догадках, колеблясь: уходить или ждать. Вдруг позади него раздался какой-то шорох. Затаив дыхание, Гулямджан обернулся и увидел неподалеку от себя собаку, которая что-то грызла. «Все кончено. Я погиб! Сейчас собака почует постороннего, затавкает, меня заметят»,— пришел в ужас Гулямджан. Наконец собака удалилась. Луна уже подвигалась к горизонту, а Гулямджан все еще чего-то ждал... «Нет. Не придет»,— решил он и вышел из укрытия. Но очень скоро шаги его стали неуверенными, и он повернул в обратную сторону.

Прокричал петух. «Кричи, мой петух, кричи, разбуди мою возлюбленную»,— пришли на ум Гулямджану слова народной песни.

От дома отделилась какая-то тень. По теньемому стану, по проворной походке Гулямджан сразу узнал Хаётхон. Она была одета в черный чапан и тихо приближалась.

— Вы здесь?— виновато прошептала Хаётхон, подойдя ближе.

— Здесь, здесь, Хаёт!

— Дома долго не засыпали. Я боялась...

Горячая волна нежности захлестнула Гулямджана. Если бы не изгородь, разделявшая их, он бросился бы к ее ногам.

— Ничего, ничего, моя милая! Я ждал... Я счастлив...— бессвязно бормотал юноша и прикоснулся к ее ладони.

Хаёт тихо отняла свою руку. Но мгновенного прикосновения оказалось достаточным, чтобы преобразить Гулямджана. Забыты муки, робость. Он почувствовал себя сильным и поведал о своих чувствах, об охватившем его отчаянии, о том, как ждал любимую.

— Я боялся, что вы не придете! И вот вы здесь,— закончил юноша.

Хаёт молчала и думала: «Если бы даже мне грозила смерть, я все равно пришла бы. Если бы вы знали, как я тосковала, как жаждала хоть мельком взглянуть на вас, как я боялась, что, не дождавшись меня, вы уйдете».

Гулямджан истолковал молчание Хаёт по-своему: неудачное сватовство похоронило надежды девушки, и она, покорившись судьбе, успокоилась. Недаром же она отдернула свою руку, а теперь молчит. Он пытливо вглядывался в лицо любимой, но ничего, кроме озабоченности и настороженности, не заметил.

— Мама приходила?

Хаёт кивнула и отвернулась. Ну конечно, девушка чуждается его. Не так представлял он себе их последнюю встречу...

— Почему вы молчите, Хаётхон?! Говорите! Или вы пришли мучить меня? Что ответили моей маме?

Хаёт молчала по-прежнему. Гулямджан тревожно смотрел на нее. Плечи Хаёт вздрагивали от беззвучных рыданий. Гулямджан, забыв всякую предосторожность, шумно раздвинул сучья, бросился к девушке, схватил ее, попернул к себе. Хаёт не сопротивлялась. Она доверчиво прижалась к любимому, покорно склонила голову ему на грудь, всхлипывая, как беспомощный обиженный ребенок.

— Хаёт моя, жизнь моя!

— Это бабушка... бабушка не пустила... прогнала вашу мать.

Гулямджан внезапно обессилел. «Бедная мама!»— подумал он и, опустив голову, приник щекой к волосам девушки. Так они и сидели, замерев, прижавшись друг к другу до тех пор, пока где-то рядом не раздался крик пехуа.

— Что же теперь будет?— спросила Хаёт.

Гулямджан задумался.

— Говорят, что пятнадцать дней в месяце темные, а пятнадцать — светлые. Будем ждать наших светлых дней.

Так как Хаёт молчала, Гулямджан продолжал:

— А что, если вы откровенно поговорите с вашей матерью? Ведь каждая мать ради своего ребенка готова броситься в огонь. Я тоже не буду сидеть сложа руки. Махну на все церемонии и обычаи, пойду к кази и спрошу

у него совета и помощи. Ну а если сам не пойду, попрошу мать, чтобы она уговорила отца сходить к кази. Не будут же родители равнодушно смотреть на наши муки.

Хаёт уже давно говорила со своей матерью, а та поведала обо всем Мадамину-ходже. Отец, казалось, почувствовал Хаётхон. Но стоило ему заговорить со старухой Мастан о свадьбе, как та начала рвать на себе волосы, кричать, причитать, угрожать. «Пока мои глаза видят, не быть твоей дочери за карача! А если хочешь сделать по-своему, то сперва убей меня!..» Все это вспомнила сейчас Хаёт. Но ей не хотелось лишать Гулямджана последней надежды, и она кивнула головой.

Они разговаривали еще довольно долго. Но время шло — луна скрылась за горизонтом, на востоке едва заметно забрезжил рассвет.

— Нужно расстаться, пока нас не заметили,— прошептала Хаёт, поднимаясь.

Гулямджан тоже поднялся.

— До свидания, моя Хаёт!

— До свидания, счастливо вам.

Но никто из них не двигался с места. Никому не хотелось уходить первым. Оба внезапно весело прыснули, Хаёт ушла.

Гулямджан провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась.

Глава восьмая

ЕЩЕ ОДИН УДАР

Прошло два месяца с тех пор, как Гулямджан открыл свою школу. Вначале она пустовала. Многие родители не рисковали посылать в нее своих детей. В самом деле испокон века обучавшиеся дети проводили день, сидя на сырой земле, в темных помещениях, похожих на конюшни. А теперь извольте посылать детей в чистое, светлое помещение с большими окнами да еще с какими-то диковинными столами, где нельзя сидеть подогнув ноги. Где это видано, чтобы детям оказывали такое уважение, такой почет? Очень все это подозрительно. А этот новояв-

ленный молодой дамля?¹ Что это за учитель, который мечеть не посещает, с муллами не водится? Не обратит ли он детей в неверующих, кяфуров?

Ничего, конечно, удивительного в этих опасениях не было. Подобно слепцу, нащупывающему дорогу посохом, перед тем как сделать шаг, эти люди колебались, сомневались, выжидали. Первым, кто отважился переступить порог новой школы, был Матковул.

Однажды утром он явился прямо в класс, ведя за руки двух своих сыновей. Гулямджан так обрадовался, что, грекратив уборку и без того чистого помещения, бросился к Матковулу.

— Добро пожаловать, Матковул-ака! Присаживайтесь вот сюда.

Но Матковул не сел на предложенную ему табуретку. Он продолжал стоять, почтительно сложив руки на животе. Потом вытащил из-за пазухи две лепешки и положил их на стол.

— Не обессудьте, мы люди бедные. Потом заплатим больше,— произнес он и, посмотрев на детей, которые робко жались друг к другу, добавил:— Вот мои сыновья — мясо ваше, кости наши.

Подношение сперва покорило, а потом глубоко растрогало молодого учителя. Растрогало, что вот даже такой горемыка, как Матковул, отрывает у себя, у своей большой несчастной семьи последний кусок, чтобы только дать своим детям свет, которого он сам лишен. Гулямджан укоризненно посмотрел на бедняка.

— Матковул-ака, я открыл школу совсем не для того, чтобы извлекать из нее выгоду. Нет. Я хочу, чтобы дети бедняков, которые испокон века жили в темноте, увидели бы, наконец, свет, учились бы наукам, уму-разуму. Мне не нужны ни деньги, ни другое вознаграждение. Ведь наша беда заключается в нашем невежестве. Некоторые думают, что я корыстолюбив, как Асад кари. Эти люди ошибаются. Лепешки, Матковул-ака, отнесите своим птенцам. И потом, у меня к вам большая просьба: передайте всем сельчанам мои слова.

Матковул кивнул головой, взял со стола лепешки и сунул по одной каждому из сыновей.

¹ Дамля — учитель.

— На перемене живо sloпaют, — лукаво подмигнул он Гулямджану.

Гулямджан засмеялся.

Шагая по улице, Матковул беседовал сам с собой. «Боже, что это за человек! Кто бы мог подумать, что в этом корыстном мире отыщется такой добряк! Вы только посмотрите на него. Тратит свои деньги, тратит свое время, а для чего, спрашивается? Чтобы обучать бесплатно чужих детей! Любой другой домля, если приведешь сына, но не принесешь подачки, на тебя и смотреть не захочет. А как он обижен был из-за

этих двух тощих лепешек! Ну и здорово! По-моему, этот домля не возьмет подношений даже в четверг, откажется от денег и на веник и на палас. Или потребует? Нет! Хвала же твоему отцу, домля, хвала!»

Вскоре в школу потянулись и другие кишлачные дети. Не прошло и двух недель, как число учащихся перевалило за тридцать. Молодой учитель торжествовал. Он раздал ученикам по две тетради и карандашу. Это небывалое событие обрадовало и учеников и их родителей. С первых же дней Гулямджан начал приучать детей к дисциплине, к опрятности. Старания Гулямджана не замедлили сказаться. Дети начали приходить в школу умытыми, стали менее шумливы, более сдержанны в выражениях.

Каждый новый шаг Гулямджана тотчас же становился известным всему кишлаку и вызывал бесконечные толки и пересуды. Многие дехкане, особенно те, чьи дети посещали школу, с восторгом отзывались о ней и Гулямджане. Неудивительно, что в старой школе количество учащихся стало быстро таять. Это привело в ярость ее учителя Асада кари, хорошо знакомого Гулямджану еще по медресе...

Накануне выпал снег, а с утра ударил на редкость крепкий мороз. Гулямджан боялся, что в такую погоду



ребята не придут в школу. Но он ошибся. Кроме тех детей, которым не во что было обуться, явились все.

Урок начался вовремя. Ступица от старой телеги весело потрескивала в очаге. Хорошо законопаченные окна, закрытая плотно дверь сохраняли тепло. По лицам детей было заметно, что им и приятно и уютно здесь, в теплом классе.

У детей были карандаши и тетради, на стене висела доска, но учебников Гулямджан не достал. Их на базаре не продавали. Это и заботило и огорчало учителя.

Отсутствие букварей определило метод преподавания. Учитель писал на доске короткие слова, четко и громко произнося их вслух. Дети, глядя на доску, повторяли написанное вслед за учителем. Вот и сейчас он вывел мелом на доске слова, составленные из букв, хорошо знакомых детям, раздельно прочитал каждое, повторил несколько раз. Затем, водя указкой, спросил их значение. Дети отвечали хором.

Когда они, как ему показалось, хорошо усвоили новый урок, Гулямджан стал проверять каждого ученика в отдельности. Но не успел спросить и двоих, как дверь от сильного пинка распахнулась и в помещение вместе с холодным воздухом ворвались Гиясиддин, Асад кари и эликбаши¹ Сали, по прозвищу савук — гадкий, с ними еще несколько человек. Гулямджан сразу же понял, зачем явились непрошенные гости, но не подал виду. По его знаку дети встали и дружно приветствовали вошедших. Приветствие осталось без ответа. Кази Гиясиддин, стуча посохом, подошел к доске. Гулямджан побледнел, дети испугались. Гиясиддин, отвернув полу халата и заложив руки назад, долго разглядывал доску. Затем ударил по ней посохом и, сердито взглянув на Гулямджана, закричал:

— Что за кошунство?

Гулямджан недоуменно пожал плечами.

— Таксыр, здесь нет никакого кошунства. Вы сами это видите.

Кази не удостоил Гулямджана ответом. Метнув на

¹ Эликбаши — квартальный.

него, уничтожающий взгляд, он обратился к Асаду кари:

— Имам домля, прочитайте, что он здесь написал.

Асад кари начал читать:

— Аш, ал, ак...

— Нет, нет,— остановил кази Гиясиддин.— Читайте сначала.

Асад кари учтиво взглянул на кази.

— Я, таксыр, и так читаю сначала.

Теперь кази гневно сверкнул взглядом на Асада кари:

— А где же «бисмилля»?

— Здесь нет «бисмилля», таксыр,— вежливо ответил Асад кари и огорченно вздохнул.— Ведь кяфурам это слово неизвестно.

Кази понравился ответ, и он удовлетворенно кивнул головой. Затем, обернувшись к притихшим детям, сурово оглядел их побледневшие лица, снова стукнул посохом, теперь о стол, и рявкнул:

— Вон!!! Марш отсюда!

Перепуганные дети посмотрели на Гулямджана, но ничего, кроме виновато-печальной усмешки, на его лице не прочитали.

— Уважаемый учитель!— раздался детский возглас. В нем слышалось недоумение, страх, растерянность, мольба о защите.

Гулямджан слышал возглас, но, бессильный что-либо сделать, не ответил. Асад кари толкнул стоящего рядом элликбаши. Сали савук хлестнул плетью по передней парте.

— Разойдитесь по домам, сукины дети!

Несколько учеников, побросав тетради и карандаши, ринулись из класса. Остальные сидели на местах, глядя на учителя. Элликбаши начал бить плеткой детей. Один мальчик отчаянно закричал. Гулямджан подбежал к савуку, вцепился в плетку.

— Почему вы бьете детей?! В чем они провинились? Уж лучше меня бейте!

Сали савук выдернул плетку и занес ее над Гулямджаном. В это время появился Вали-ака.

¹ *Бисмилля* — «именем бога», так начинался обычно в мусульманской школе каждый урок.



— Эй! Что вы вытворяете?! Не смейте бить!.. Не связывайся с ними, сынок, раз они так подлы, что ворвались в чужой дом. Не унижай себя, сынок!

Вали-ака и Гулямджан с детьми ушли. Кази взвыл:

— Ломай! Круши! Жги!

Гулямджан, стоя на айване¹, слышал грохот, скрежет, треск. Он чувствовал себя так, словно ему ломали ребра. Накинув на голову чапан, из ичкари выбежала Хадича-биби. Увидев обломки

столов, скамеек, выбрасываемых через окна и двери, она завопила:

— Дод!² Шакалы!

— Не надо мама, идемте.

Гулямджан обнял мать и увел ее в ичкари. Но, раскрыв калитку, она продолжала поносить и проклинать шакалов. Когда все, что можно было сломать, было сломано и выброшено во двор, из класса в сопровождении Асада кари и Сали савука вышел кази Гиясиддин.

— Сжечь!— ткнул он посохом в кучу обломков.

Элликбаши побежал в класс, вытащил из очага пылавшую головню и вынес ее наружу. Двор быстро наполнялся людьми. Это были родные детей, школа которых подверглась разгрому. Лица этих сгрудившихся в угрюмом молчании людей выражали чувства, обуревавшие Гулямджана,— обиду, гнев, ненависть.

В то время как элликбаши поднес пылающую головешку к куче обломков, из толпы раздалась возгласы:

¹ Айван — веранда.

² Дод — крик о помощи.

— Эй, тебя просили снять тубегейку, а ты рад и голову отхватить.

— Мало вам того, что лишили детей теплого гнезда!

— Доски-то не виноваты! Не смей поджигать!

— Молчать!— рявкнул кази Гиясиддин и грозно оглядел толпу.— Убирайтесь вон!

Сухие доски с треском загорелись. Дети закричали. Рыдала Хадича-биби. Вали-ака смотрел на костер налитыми кровью глазами. Угрюмо и молча созерцали люди беснующееся пламя. Кази Гиясиддин был оживлен. Словно совершивший выгодную сделку, он удовлетворенно покачал головой, потер руки, хихикнул и направился к калитке.

— Пойдите, кази! У меня к вам несколько слов!

Кази вздрогнул, остановился и, выпятив живот, тупо уставился на Гулямджана. Юноша помолчал несколько мгновений, а потом заговорил отчетливо, резко, словно отвешивая пощечины:

— Мой таксыр, наверно, очень доволен, что разогнал малых ребятишек и учинил погром? Но, таксыр, вы разрушили не мою школу. Вы разрушили мечты этих доверчивых детей, пришедших сюда, чтобы избавиться от невежества, которое вы, таксыр, насаждаете. Вы подожгли не мою школу. Этим огнем вы зажгли в душах детей ненависть к насилию, а, следовательно, к себе. Семена, брошенные в почву, дают всходы. Я посеял в сердцах детей семена просвещения. Сколько бы вы их ни топтали, они взойдут, если не сегодня, то завтра. Да, взойдут. Будьте уверены. Теперь можете идти.

Кази Гиясиддин сперва опешил, а когда опомнился, собрался разразиться бранью, но тут он заметил обращенные к нему нахмуренные лица и счел за благо поскорее уйти.

Вали-ака подошел к сыну и потрепал его по плечу. Гулямджан долго смотрел на костер, где ярко пылали обломки того, над чем он так долго и любовно трудился. Ему казалось, что вместе с деревом огонь превращает в прах и его светлые надежды. Юноша тихо вошел в класс. Грязный пол был усеян обрывками тетрадей. Ледяной ветер, врывавшийся в разбитые окна, шевелил их. Комната, где еще так недавно звенели веселые ре-

бязь голоса, теперь Гулямджану казалась могилой близкого человека.

Он остановился посреди комнаты, закрыл лицо руками. О, если бы он мог заплакать, слезами облегчить свою боль! Но глаза были сухи. Кто-то тихонько дернул Гулямджана за рукав. Он открыл глаза и увидел, что окружен плачущими учениками.



Часть вторая

ДЕНЬ, ПОТРЕЯЩИЙ КАРАБУЛАК





Глава первая

«КРИЧИ, МОИ ПЕТУХ...»

Июль тысяча девятьсот пятого года в Карабулаке выдался на редкость жаркий. Людям становилось невмочь днем от палящих лучей солнца, а ночью — от духоты. Казалось, что не хватит терпения перенести дыхание этого летнего зноя. Горячий воздух, кишмя кишевший москитами, приносил пытку. Только перед рассветом жара несколько смягчалась. С юга от широкого зеленого склона горы Аравон робко струилась легкая прохлада, и воспаленные от бессонницы глаза людей смежались. Люди впадали в тяжкое забытье. Как будто безжалостная ночь, сама обессилив, погружалась, наконец, вместе с ними в сон...

Тихо плывет над миром ночь. Полная луна, уставшая от ночных странствий, задумчиво и плавно скользит по спокойному небосводу и, словно красавица, протискиваясь к возлюбленному, нехотя скрывается за калиткой, медленно прячется за ближайшее облачко.

В кишлаке воцаряется тишина, покой.

В этот момент в Карабулаке случилось что-то непонятное...

...Из дыры в низком, приплюснутом к земле дувале господственно вылез босой человек в черном чапане. Он постоял немного, оглядываясь по сторонам, затем быстро

зашагал к гузару¹. Не успел он пройти и десятка шагов, как его кто-то окликнул:

— Заман!

Дехканин обернулся и увидел вышедшего из калитки своего соседа, высокого человека в белом халате. Приблизившись к нему, Заман нетерпеливо спросил:

— Барат-палван², что случилось?

— Я сам хотел у вас спросить,— загудел густым басом Барат-палван.

Не успели они толком поговорить друг с другом, как по обеим сторонам улицы со скрипом и стуком начали раскрываться калитки, на улице появился кузнец Кудрат. Он шел не спеша.

— Уста Кудрат, что это все переполошились?— остановил его Барат-палван.

— Не знаю,— последовал спокойный ответ.

Со всех сторон подходили встревоженные люди. Ватага детишек с криками и визгом пронеслась по направлению гузара. Из слегка приотворенной калитки высунулась окутанная белой кисеей женская голова. Обратившись к группе людей, она сварливо, почти мужским голосом пробасила:

— Эй, кто это там галдит?

Сухощавый старик с козлиной бородкой ответил:

— Это мы, Мастан-биби.

— Хасан суфи³, не ты ли это?

— Да. Он самый.

— Что там такое?

— Сами не знаем, Мастан биби,— нехотя ответил Хасан суфи.

Сняв перекинутый через плечо платок, Барат-палван привычным движением превратил его в жгут, опоясался им и сказал:

— Послушайте, хватит нам гадать. Пойдемте-ка на гузар.

— Ну конечно же,— поддержал его Кудрат.— Там все и узнаем.

Взбудораженные люди, переговариваясь и жестикулируя, направились к гузару...

¹ Гузар — людный перекресток с чайханой и лавкой.

² Палван — борец.

³ Суфи — служитель мечети.

А началось все так.

Перед рассветом кишлак был внезапно разбужен оглушительным ревом, который раздался с крыши мечети. Какие-то люди со вздувшимися от напряжения багровыми щеками и шеями извлекали из устремленных к небу карнаев и сурнаев знаменитую уйгурскую мелодию «Кричи, мой петух». И хотя кишлачники еще не знали причины столь неожиданной ночной музыки, тем не менее, услышав призывный рев древних фанфар, они, по установившемуся издавна обычаю, начали стекаться к гузару, который теперь все больше и больше походил на встревоженный муравейник. Люди метались, расспрашивали друг друга, толпа все увеличивалась, и вскоре над гузаром повис несмолкаемый гул.

С Андижанской улицы подходили все новые люди. Среди них была и предводительствуемая Кудратом, уже знакомая нам, группа мужчин. Никто ничего не понимал. Толпа все больше волновалась. И когда возбуждение, казалось, достигло предела, раздался спокойный голос Кудрата:

— Люди! Давайте-ка подумаем. Карнаи и сурнаи играют с крыши мечети только в дни хаита¹. Большой хаит уже был, до малого еще далеко.

— Должно быть, выдумали средний,— подхватил кто-то. Все рассмеялись. Потом стали наперебой высказывать свои предположения.

— А если это не хаит, то почему же карнаи на крыше мечети?..

— Будет вам,— сказал какой-то джигит с ловко перекинутым через плечо пестрым халатом. Он держал себя так уверенно, словно для него не существовало никакой загадки,— ведь сегодня сешанба². Значит матушка Сешанба воскресла и выходит замуж.

Все снова захохотали.

— Нет, не то,— произнес другой джигит.— Наш дядюшка кази из трех оставшихся у него зубов лишился во сне еще одного и теперь испытывает ужас: «Ах, ах, видно мольбы карабулакских жителей забрать меня к

¹ Хаит — религиозный праздник.

² Сешанба — вторник, имя святой.

богу достигли его ушей. Скоро конец мне». Вот он и решил задобрить нас и бога пловом.

Как бы не так!— вставил кто-то, видимо, тоже не привыкший лезть за словом в карман.— Если дядюшка кази решил разориться на угощение, значит хвост верблюда достиг земли.

Над толпой снова прокатился хохот. В это время к собравшимся подошел молодой человек. Правильные и благородные черты лица делали его похожим на ученого муллу. Мягкая доброжелательная улыбка, жесты, исполненные достоинства, вызывали симпатию и доверие к этому человеку. Голова его была аккуратно обмотана серебристо-белой чалмой, одет он был в длинный легкий халат из простого черного трико. Люди, увидев этого высокого юношу с красивыми умными глазами, с аккуратно подстриженной бородкой и маленькими усиками, чуть свисавшими над углами рта, невольно стали вести себя сдержанней. Кудрат, окруженный кольцом мужчин, пригласил подошедшего:

— Пожалуйста сюда, Гулямджан.

— Продолжайте, друзья, или, может быть, я вам помешал?

Но старые и молодые остерегались продолжать разговор из опасения, как бы случайно сорвавшееся слишком острое словцо не оскорбило этого скромного молодого человека.

Вдруг кто-то закричал во всю глотку:

— Люди! У дома мингбаши¹ стражник стережет калитку! Должно быть, наши благодетели совещаются...

Услышав это, джигит с перекинутым через плечо пестрым халатом обратился к стоявшему возле Замана сгорбленному человеку в грязной, засаленной тюбетейке:

— Вы слышали, Матковул-ака? Залатайте-ка быстренько свои штаны. Может, еще найдется на них покупатель... А вырученные монетки отдайте мингбаши. Разве вам не известно, что сегодня налог будет большой: ошенилась одна из гончих собак белого царя. Значит, надо его поздравить.

В толпе рассмеялись, а Матковул, схватившись обеими

¹ Мингбаши — волостной.

ми руками за пояс, словно штанам действительно грозила опасность, шуточно запротестовал:

— Ни за что...

Вдруг толпа, прервав смех, притихла. Вдали показался мингбаши, окруженный свитой.

Солнце еще не рассыпало над горизонтом своих лучей, но восток уже заалел, и лица людей стали ясно различимы. Гузар уже не вмещал в себя всех собравшихся. Любопытные дети в предвкушении занимательного зрелища разместились на ветвях ив и тутовников, росших по краям Большого Арыка, сухого и заброшенного после памятного андижанского землетрясения. Все глаза были устремлены на мингбаши. Облачившись в широкий парчовый халат, расшитый золотом, он, казалось, хотел ослепить своим великолепием весь собравшийся люд. Направо от него стоял кази кишлака Карабулак — святой отец Гиясиддин аглям¹ ибн-Мухаммад Расул ходжа Хунбори, налево — амины² кишлака за ними — все эликбашы, а еще дальше — миршабы³.

Мингбаши метнул грозный взгляд на трубачей, и в тот же миг карнай и сурнай смолкли. Стихли и голоса людей. И если бы не чириканье воробьев на ветвях карагача да отдаленное воркование горлиц, то в наступившей тишине можно было бы уловить жужжание комара. Мингбаши простер правую руку и торжественно провозгласил:



¹ *Аглям* — знаток шариага.

² *Амин* — административный чин в старом кишлаке.

³ *Миршаб* — стражник.

— Народ! Слушай!!

Народ, обуреваемый любопытством, и без того застыл в ожидании. Мингбаши, не торопясь, оглядел толпу и вдруг улыбнулся. Его обрюзгшее лицо расплылось, а усы, свисавшие черными пиявками с углов толстых губ, дрогнули. Заложив руки за спину и выпятив живот, он продолжал:

— Народ! Сегодня мы удостоились великой радости, не виданной не только нами, но и дедами и прадедами нашими. Неспроста трубили карнаи, не зря звучали сурнаи. Возрадуйтесь! Сегодня к нам в кишлак пожалует их сиятельство, сам начальник уезда, господин Фишман!

Мгновение царила мертвая тишина. И вдруг она распалась на тысячу звуков. Толпа закричала, загудела, но в этом гомоне и шуме не было и тени радости, к которой столь торжественно призывал мингбаши. Скорее в нем чувствовались смятение, тревога.

«Жалует их сиятельство, начальник уезда!»

Смуглый мальчишка, с трудом примостившийся на кривой тонкой ветви туювника, внезапно полетел вниз. Событие, которое в другое время заставило бы всех захохотать, теперь никого не рассмешило. Пострадавший, вскочив на ноги, проворно юркнул в толпу.

Мингбаши терпеливо ждал, пока народ стихнет. Но не так-то легко было ему успокоиться.

«Их сиятельство начальник уезда едет...»

Находившийся еще где-то далеко, этот начальник уезда внушал толпе какой-то панический страх. Мингбаши под-



нял руку, пытаюсь унять это разбушевавшееся море. Постепенно люди притихли, но по-прежнему визжала и орала детвора, разместившаяся на дувалах, крышах, деревьях. Озлобленный мингбаши грозно прикрикнул:

— Замолчите, щенки поганые!

Дети перепугались, присмирели. Мингбаши величественным жестом поправил свою роскошную чалму, а затем важно переложил плетку из левой руки в правую, словно собирался обрушить ее на головы людей. Кишлачники затаили дыхание. Гулямджан взглянул на Кудрата, а тот, почувствовав на себе его взгляд, оглянулся и едва заметно кивнул. Мингбаши заложил полу своего парчового халата за отделанный серебром широкий кушак, ярко начищенная сабля блеснула на солнце.

— Их сиятельство начальник уезда жалуют к нам неспроста! Сколько раз я вам говорил: уплатите долги, внесите налоги. Послушали вы? Нет! А теперь мне отвечать за вас, ничтожные!— Губы мингбаши задрожали, голос прервался, но через мгновение, потрясая плеткой, мингбаши снова заговорил:— Сегодня же уплатите все долги! Слышали? А не то худо вам будет. Недоимщиков их сиятельство сошлет в Сибирь! Всех до единого!

Толпа снова загудела. Кази, стоявший рядом с мингбаши, вздохнул, что-то зашептал. Его жидкие бесцветные ресницы испуганно затрепетали.

От толпы кто-то отделился и, стараясь остаться незамеченным, пригнувшись, пустился наутек. Мингбаши следил несколько секунд за беглецом, затем гаркнул:

— Стой!

Люди обернулись. Не пробежав и десятка шагов, Матковул замер, как заяц перед удавом.

— Подойди сюда, собака!

Матковул робко вернулся.

— Вот сюда, сюда!— крикнул мингбаши, ткнув плеткой возле своих ног.— Ближе. Еще ближе.

Матковул, ни жив ни мертв, подошел к волостному. Толпа в ожидании замерла. Только Кудрат и Гулямджан кари незаметно протиснулись поближе к мингбаши. Матковул остановился в нескольких шагах от волостного, почтительно сложив руки на животе.

— Куда ж ты хотел бежать, негодный?!

Матковул не издал ни звука. Он только еще больше съежился. Мингбаши сделал шаг вперед и угрожающе поиграл плеткой.

— Говори!

Матковул совсем вобрал голову в плечи. Подобная непочтительность, должно быть, оскорбила стоявшего рядом кази Гиясиддина. Тряся своей жиденькой бородашкой, он укоризненно пропищал:

— Скотина безгласная!

Мингбаши шагнул к Матковулу и ткнул его рукоятью плетки в лоб. Матковул зашатался. Глаза его наполнились слезами.

— Но-но! Он, кажется, собирается плакать!— издевался мингбаши.— Нет! Слезами ты не откупишься. Пять лет не платишь подать! От сборов увиливаешь? Ты у меня сегодня же отдашь все долги! Слышишь? Или я вытяну из тебя всю душу.

Матковул умоляюще произнес:

— Разве я не хотел бы... Ведь я тоже...— дальше он продолжать не мог: комок, подкатив к горлу, мешал ему говорить.

— Продолжай!— гаркнул мингбаши.

С трудом унимая дрожь, Матковул едва слышно проормотал:

— Ведь я тоже человек.

— Ты? Человек?!— с издевкой сказал мингбаши.— Нет, ты не человек! Ты — вор, лентяй, скотина! Вот кто ты!

Но тут Матковул преобразился. Смахнув рукавом рваного халата слезы, он вскинул голову и каким-то неузнаваемым голосом заговорил:

— Таксыр, чтобы уплатить налоги, нужны деньги. А где я их возьму? Работы нет, земли нет. Что же мне делать? Двадцать лет я батрачил на Хакимбая. Голодал я, моя жена. У детей из горла вырывал последний кусок, чтобы насытить вас, господин мингбаши, кази, муллу, эликбаши, сторожа, парикмахера. Облепили вы нас, как вши. Как же нам быть, что делать, куда деваться? Это не все. Андижанское землетрясение разорило тысячи людей, разрушило их дома, высушило Большой Арык. Вон смотрите!— Матковул протянул

руку в сторону возвышающейся горы.— Да разве вы сами не знаете, что земля высохла, как камень? Так помогите же нам. Помогите нам оросить землю! Мы засеем, соберем урожай, хоть немного насытимся и тогда...

— А-а, так значит, ты голоден!

— Да, голоден. Мне нечем платить, и продавать мне нечего.

— Нечего продавать, говоришь?

— Нечего. Видит, аллах,— и Матковул поднял руки, призывая в свидетели бога.

— Не кошуиствуи, собака!— прикрикнул на Матковула мингбаши.— А жена?

— Что?!

— Жену свою продай.

Крик боли и гнева вырвался из груди Матковула и потонул в ропоте и гуле толпы. Со всех сторон слышались угрозы, проклятия.

— Господин мингбаши!— раздался чей-то зычный голос.— Торговать своими женами ради своего благополучия мы еще у вас не научились.

Мингбаши дернулся, словно его укусил скорпион. Он еще более грозно насупил брови:

— Кто крикнул? Где этот нечестивец?!

Никто не ответил. Как бык, получивший удар между рогами, мингбаши затрясся от злобы мелкой дрожью. Через несколько мгновений он обрушился на Матковула:

— Ты не смеешь перечить мне, собака!— и мингбаши занес плетку над головой Матковула. В толпе кто-то пронзительно крикнул, кто-то заплакал. Не успел мингбаши опустить плетку, как Матковул вцепился в его руку:

— Не смейте меня бить! Не имеете права! Я буду жаловаться сго сиятельству, господину хокиму¹, а если не поможет, дойду до самого белого царя.

Мингбаши занес ногу и с такой силой ударил Матковула в пах, что тот, отлетев на несколько шагов, распластался на земле. Люди бросились вперед, но наткнулись на миршабов, окруживших мингбаши и сго жертву

¹ Хоким — уездный начальник.

плотным кольцом. Плетка мингбаши со свистом опустилась на спину корчившегося от боли Матковула. Двое детишек, рыдая, пробивались сквозь кольцо миршабов.

— Не бейте нашего папу! Дяденька, не надо!

Мингбаши снова занес плетку над Матковулом, но в это время раздался властный окрик:

— Стой!

Мингбаши на мгновение застыл с поднятой плеткой, затем обернулся в сторону, откуда раздался крик: раздвигая плечом плотно стоявших людей, сквозь толпу протискивались Гулямджан, Кудрат, Барат-палван и старый Хасан суфи. Мингбаши опустил руку. Дети продолжали плакать.

Гулямджан прорвался сквозь цепь миршабов, поднял Матковула, затем гневно посмотрел на мингбаши:

— Как вы смеете, таксыр? В нем еле душа держится! Что вы от него хотите? Разве не видите его рваный халат, босые ноги, штаны в заплатках, засаленную тюбетейку? Где ж ему налоги платить?!— Он распахнул халат Матковула, обнажил грудь этого несчастного униженного человека.— Посмотрите на его тело, на торчащие ребра! Съели вы его! Правду говорят, что сытый голодного не разумеет. Проклятие! Будь тысячу раз проклята такая жизнь, где нет ни жалости, ни справедливости, ни защиты.

— Да я такого защитника, как ты...— плеть со свистом взвилась над головой Гулямджана. Но тот вырвал ее из рук мингбаши и отшвырнул прочь. Мингбаши схватился за рукоять сабли.

— Таксыр,— спокойно произнес Гулямджан,— оставьте саблю. Обнажив ее — вам надо будет рубить чью-то голову. Уцелеет ли тогда ваша голова?

Мингбаши, казалось, готовый проглотить Гулямджана, метнул на него ненавидящий взгляд.

— Прочь с глаз!— в бессильной злобе прошипел он.— Мы с тобой еще поговорим!

Гулямджан осторожно взял Матковула под руку и вместе с его детьми покинул разомкнувшийся круг.

Глава вторая

В ИЧКАРИ

Волнские, охватившее людей на гузаре, распространилось повсюду молниеносно. Сообщение мингбаши о предстоящем приезде начальника уезда взбудоражило весь кишлак.

Сея панику, эта весть проникла через накренившиеся, облупленные или дырявые, высокие или низкие дувалы. Она вползла в недоступные чужому взору, со всех сторон замкнутые, дворики. Страх своими щупальцами сжал сердца людей, особенно женщин. Их тесный мирок, ограниченный дувалом, раздвинулся. Женщин страшило то неведомое, что нес с собой приезд всемогущего хокима. Подстегиваемые страхом, они теперь стремились на улицу, где слышались крики, визг и плач. Женщины все чаще забегали к соседям, чтобы поделиться тревожными предчувствиями, опасениями, выслушать слова утешения и надежды.

Жена Барат-палвана Ширманхон сидела дома одна: муж и сын ушли на гузар. Сердце ее колотилось, словно предчувствуя что-то недоброе. Несмолкающие голоса женщин на улице будоражили и волновали. Она торопливо прибрала разбросанные на супе одеяла и подушки и устремилась на улицу. Но не успела она подойти к калитке, как во двор вбежал ее сын Давран.

— Мама, хоким едет! — проговорил он, едва переводя дыхание.

— О боже! — воскликнула Ширманхон и шлепнула себя ладонью по щеке. Затем, запустив в свои волосы тонкие красивые пальцы, она уставилась полными ужаса глазами на замершего сына.

— Когда придет хоким?

— Не знаю.

— А разве мингбаши, да осквернит свинья его могилу, ничего не сказал?

— Не сказал.

— Чтоб они все околели — и мингбаши, и хоким! — воскликнула Ширманхон и почему-то устремилась в дом, но тотчас же вернулась.

— Давран, сынок, — обратилась она к мальчику, — иди к отцу, присмотри за ним, никуда не уходи от него.

Кивнув, сын выбежал со двора. Мать быстро подошла к забору и позвала:

— Турсуной! Турсуней!

Соседка не отвечала. Ширманхон, взобравшись на край тандыра¹, заглянула через дувал к Турсуной. В тесном дворике с единственным тутовым деревом никого, кроме мальчика лет трех-четырёх, не было. Он волочил привязанную к нитке щелку.

— Эй, Аманджан, где мама?— спросила женщина.

Голенький, бронзовый от загара Аманджан сердито взглянул на Ширманхон, всем своим видом как бы говоря: «Не отвлекайте меня от важного дела пустяковыми вопросами». Он пытался выволочить свою «арбу» на улицу и поразить ею копающихся в дорожной пыли сверстников, вызвать их восхищение и зависть. Но он ничего не успел сделать. Из низенького ветхого домика с осыпавшейся глиной выбежала миловидная женщина лет двадцати трех.

— Ой, это вы, Ширманхон-апа?— воскликнула она, поправляя ситцевый платочек на голове.

— Турсуной, милая, вы ничего не слышали?

Растерянный вид, взволнованный голос Ширманхон, всегда готовой посмеяться, поболтать с соседками, не на шутку встревожили Турсуной.

— О боже, что случилось?— спросила она, прижав руки к груди.

— Сюда едет проклятый хоким!

— О горе мне!

В глазах у женщины зарябило. Она захлопотала, словно курица, над которой нависла опасность; устремилась к Аманджану, безуспешно пытавшемуся открыть калитку, и схватила его за руки. Мальчонка, глядя на шепку, заплакал: «Арба моя! Арба!» Мать, не обращая внимания на его крики, судорожно прижала мальчика к себе, словно кто-то собирался его отнять.

— Турсуной, что с вами? Вы перепугаете ребенка,— начала успокаивать молодую женщину Ширманхон и через силу улыбнулась.— Ну и трусиха же вы, милая!

Турсуной взглянула на Ширманхон. В глубине ее черных глаз таилась тревога.

¹ *Тандыр* — глиняная печь.

— Сестрица!— умоляюще проговорила она.— Возьмите его.

Ширманхон приняла мальчика, который так и не расставался со своей «арбой». Турсуной вбежала в дом, но тотчас же вернулась с накинутым на голову детским чпаном и устремилась на улицу.

Турсуной быстро шагала к гузару. Довосившиеся оттуда возбужденные голоса мужчин усиливали ее тревогу. Бедняжка вся дрожала, губы непрерывно шептали: «О горе! О горе!» Она настолько забылась, что подошла к гузару с открытым лицом.

Мингбаши, стоя на возвышении, во всю глотку кричал на кого-то. Но Турсуной не замечала людей, не слышала брани мингбаши. Она направилась под тувовник, где поодаль от взрослых скучилась пугливо щебетавшая группа одетых в лохмотья кишлячных девочек. Турсуной без труда отыскала среди них свою дочурку и, схватив ее за руку, повлекла за собой.

— Пойдем скорее!

От неожиданного рывка девочка чуть не упала. Не успев заплакать, она с трудом поспевала за матерью. Турсуной, повернув в улочку и минуя свою калитку, направилась прямо к Ширманхон. Там уже сидело несколько женщин, встревоженных недоброй вестью. Внезапно скрипнувшая калитка напугала их так, словно за ней стоял сам хоким. Но на пороге появилась всего только маленькая девочка, а потом — бледная, встревоженная Турсуной.

У Ширманхон отлегло от сердца, но чтобы окончательно рассеять страх и отвести от себя беду, она прибегла к верному средству: оттянула ворот рубашки и чмокнула губами, как бы поплеывая на свою грудь. И только после этого она облегченно вздохнула.

— Чуть душа не выскочила,— начала она было отчитывать Турсуной, но тотчас же смолкла.

Турсуной стояла, прислонившись спиной к калитке, руки ее повисли, глаза медленно закрывались; она была близка к обмороку. Напуганная ее состоянием, Ширманхон живо вскочила с места, подбежала и помогла женщине лечь на посланное одеяло.

Старуха Мастан, сидевшая у забора на своей свернутой парандже, сердито проворчала:

— Напустила на себя страху и других пугает.

Турсуной ничего не ответила. Она не в состоянии была говорить.

Худая женщина, лет пятидесяти, в грубой домотканной рубаше с несколькими заплатами, сидела с рахитичным ребенком на коленях. Это была жена Матковула, Салтан-биби. Ребенок спал. Женщина, отгоняя от ребенка мух, обмахивала его платочком. Ее морщинистое, желтое, как солома, вытянутое лицо было печально, в глазах стояли слезы.

— Чтоб он сгорел, этот хоким! Чует мое сердце, милые мои, что, если он появится, все беды падут на голову моего несчастного мужа. Ведь налога мы не уплатили.

Наступила тишина. Женщины погрузились в свои невеселые размышления, представляя, какие напасти могут обрушиться на них, их мужей, детей с приездом всемогущего жестокого хокима. Тягостное молчание нарушила Ширманхон:

— Чтоб сгнуть этому налогу! Недавно свели телку у деда Алима. А как он, бедняга, ее холил, лелеял. Радовался, что хоть на старости полакомится молочком... Эх, немилостив к нам бог!

— Да, да, милые!— заговорила Салтан-биби, утирая слезы.— Если было бы чем, разве мы не расплатились бы, разве нам приятно слышать мерзкие ругательства этого мингбаши? О боже!— застонала она.— Как бы этот проклятый хоким не сослал мужа в Сибирь за недоимки! Куда мне тогда приткнуться с детьми?

— Все вы порядочные бездельники. Вот поэтому и не платите недоимки,— пробубнила старуха Мастан.

— Как же нам, тетушка, платить, если мы и без того...

Не успела Салтан-биби кончить фразы, как Турсуной, внезапно закрыв лицо руками, громко зарыдала, Все обернулись к ней. Ширманхон взяла ее за руку.

— Турсуной, нельзя так. Ну будет, перестаньте!

Молодая женщина отняла руки.

— Кому же еще плакать, сестрица, как не мне? Разве не он, проклятуший хоким, сжег в прошлом году Тирсак? Сколько людей погубил в этом кишлаке! Я была и матерью и отцом своему братишке. Хоким убил его.

Слезы душили Турсуной. Все сочувственно молчали. Старуха Мастан хотела было что-то сказать, но Турсуной застонала еще громче, казалось, она вот-вот исцарапает свое лицо скрюченными пальцами:

— Недосыпала, недоедала, бедствовала, в долгах погрязла, пока женили братишку! А хоким... Чтоб он истек кровью!..

Старуха Мастан посмотрела на плачущую Турсуной, и на ее лице появилась гримаса презрения. От этого длинные желтые волосики, торчавшие на ее большой родинке, зашевелились.

— Вся напасть вот из-за таких жадюг, как жена Матковула Салтан-биби. Она и на саван покусится... Уплати они вовремя налог, не стали бы донимать народ,— проскрипела старуха.

Салтан-биби, словно она была и в самом деле виновата, потупила свои выцветшие глаза. Сгоняя назойливую муху с лица рахитичного ребенка, она прерывающимся голосом произнесла:

— Но что же мы можем сделать, тетушка, если такова наша судьба?

Хорошо сложенная девушка, лет двадцати двух, в розовом платье и полосатом жакете, приветливая и добрая на вид, все время молча заплетавшая и расплетавшая свои пышные волосы, вдруг резко отбросила косу за плечо и гневно уставилась на старуху.

— Не все же так счастливы, как мы, бабушка! Семьдесят танапов¹ земли, работники, достаток. А что у этих бедняков? Хорошо, если у них раз в неделю варится что-то в котле. Рядом с ними живете, а как будто не знаете.

Старуха, прервав Хаётхон, заворчала:

— Знаю, все знаю. Знаю, что жители Тирсака пострадали из-за нескольких лентяев.

Турсуной не стерпела. Подняв голову, она отчаянно вскрикнула:

— Неправда!

— Тетушка,— вмешалась в разговор одна из женщин,— ведь известно же, что хоким разгромил Тирсак, потому что будто жители покушались на земли мечети. А все из-за Гиясиддина кази. Явился к хокиму и пла-

¹ *Танап* — мера земельной площади — около $\frac{1}{4}$ гектара.

кался, что вот, мол, бедняки отняли земли мечети. После этого хоким, чтоб он пропалился, привел солдат, сжег кишлак, расстрелял невинных людей...

В этот момент дверь распахнулась, и запыхавшийся Давран прямо с порога закричал:

— Мама, мингбаши избил отца Урманджана!

Салтан-биби вытаращила от ужаса глаза, почти заголосила:

— Какого Урманджана? Моего сына?

— Да, тетя, отца вашего сына.

— О горе мне!— закричала Салтан-биби и, почти бросив ребенка на землю, с непокрытой головой устремилась к выходу.— О горе мне, горе! Проклятый! Душегуб!

— Салтан-биби!— произнесла Ширманхон, удерживая женщину за рукав.— Кому вы пожалуетесь? Маленькая, разве примешь этого мингбаши! Успокойтесь!

Салтан-биби, словно в случившемся был виноват прибежавший Давран, выплилась в него:

— Жив он? Скажи правду, не убили?

— Жив. Сын тетушки Хадичи заступился.

— Какой тетушки Хадичи?— в волнении не поняла Салтан-биби.

— Да Гулямджана же.

Давран, как мог, рассказал о том, что произошло на гузаре. Салтан-биби порывисто обняла мальчика, осыпала его поцелуями, словно не Гулямджан, а он защитил ее мужа, и, продолжая плакать, молитвенно воздела руки:

— Да продлит Бог жизнь Гулямджана! Да сбудутся его желания и проживет он, не разлучаясь с любимой, до глубокой старости!

Салтан-биби провела ладонями по щекам. Затем невольно взглянула на Хаётхон. И хотя та сидела спустив голову, нетрудно было заметить, что щеки ее зарделись. Старуха Мастан метнула на внучку колющий взгляд, и, недовольно еорча, поднялась.

— Хаёт, хватит сидеть, пойдём!

Гостеприимная Ширманхон захлопотала:

— Ой, тетушка Мастан, куда же вы так скоро? А я-то, безголовая, тоже хороша... Вы хоть чайку попейте... Сейчас подам.

Но старуха уже накинула паранджу и, пропустив вперед себя внучку, молча пошла. Приоткрыв калитку, она тотчас же ее захлопнула, так как заметила на улице группу мужчин.

— Пропади они пропадом, эти бездельники,— проворчала она.— Подождем, пока они разойдутся.

Но мужчины не расходились. Рассевшись под вставями большого тала, они о чем-то оживленно разговаривали. К ним подходили все новые люди.

Хаёт, стоя у калитки, заглянула в щелку и потом, обернувшись, зашептала:

— Людей тьма! Не скоро выберешься отсюда!

Старуха Мастан свернула паранджу и опять уселась. Салтан-биби прислонилась к яблоне. Вернулись на свои места и остальные женщины.

Ширманхон прошептала на ухо Хаётхон, все еще смотревшей в щелку:

— Кто там?

И пока девушка смотрела в щель, стоявшие позади женщины невольно залюбовались ее головкой в цветной тюбетейке. Но вот она, словно испугавшись чего-то, отпрянула от калитки и выпалила:

— Ширманхон-апа, дядя Палван здесь! И ваш мужелек, Турсуной, тоже. Больше я никого пока не разглядела.— Она снова прильнула к щелке, но тотчас же обернулась к Салтан-биби:— Матковул-ака тоже здесь. Успокойтесь, Салтан-биби.

Турсуной, чтобы не вызвать подозрения старухи Мастан, украдкой посмотрела на Хаёт, как бы спрашивая: «А он здесь?» Хаёт поняла Турсуной и так же безмолвно ответила: «Нет».

С улицы донесся чей-то громкий голос. Женщины смолкли, прислушались. Хаёт, снова заглянув в щелку, сообщила:

— Это кузнец Кудрат.

— Хоким прибудет совсем не для того, чтобы помочь бедному люду,— говорил кузнец.— Нечего на это и надеяться, не простит он недоимки. Только наивные могут не так думать. Не будем же обманывать себя!

— Верно он говорит!— прошептала Салтан-биби.— Этот несчастный налог погубит нас.

Кудрат продолжал:

— Вор может стать честным человеком, бесчестная женщина — порядочной, но белый царь измениться не может. Как и раньше, он будет пить нашу кровь. Не одним нам достается. Такова судьба бедняков и в России. Такой она будет до тех пор, пока все бедняки, все обездоленные не поднимутся. Ну а если мы будем сидеть сложа руки, согнув спины, то не только хоким, но и саба его усядется на нашей шее. Разве разорением Тирсака и десятка других кишлаков нас можно запугать? Нет! Я не буду говорить о Ташкенте, Оренбурге, Самарканде, Джизаке, где народ все чаще волнуется. Я скажу про нашу Ферганскую долину. И в Намангане, Коканде, Андижане мастеровые и бедные дехкане уже поднимают головы. Об этом вы, наверно, слышали. Но знаете ли вы, что и Россия кипит и бурлит крестьянскими волнениями? Это только начало. Дехкане вместе с мастеровыми поднимаются против гнета местных чиновников, жгут дома и поместья баев в кишлаках, селеньях и деревнях. Конечно, убийством нескольких баев и мингбаши положение не изменишь. Змея будет раздавлена, если народ не отступит, не утрашится и на каждый удар ответит десятью ударами. Но если мы испугаемся, не будем стоять твердо, как камни, то знайте: нас ждут еще более черные дни.

Кудрат на мгновение умолк. Не отрывавшаяся от щелки Хаёт заметила на лице Кудрата усмешку.

— Такие простаки, как Матковул, ждут от хокима милостей. Ну что ж, он их сегодня получил.— Послышался смех.— Посмотришь на такого человека — и невольно подумаешь: разве не знает он, что у гадюки есть жало? Зачем тянуться к ней? Так вот, будь то хоким или мингбаши, все они над нашими головами плеткой размахивают, все они цепные собаки белого царя! А кому неизвестны повадки псов?

— Кусать, рвать и... твякать,— произнес кто-то.

На улице засмеялись. Женщины во дворике тоже прыснули, приложив ладони ко рту, чтобы их не услышали.

В это время откуда-то издалека донесся голос миршаба Миркосима. Гнусавя, он громко нараспев возвещал о новом повелении мингбаши:

Эй, торговцы-мучники,
Кузнецы и мясники,
Бедняки в рубахе рваной
И владетельные ханы!
Чтоб не каялись потом,
Что не знали ни о чем,
Шире уши открывайте,
Повелению внимайте!!
Слу-шай!!
Слу-шай!!

— Только вас не хватало! Мы, уважаемый, прямо истосковались без вас,— произнес чей-то мужской голос.

Глашатай, начавший было свою речь шуточно, тотчас же заговорил повелительно-строго:

— Слушайте приказ мингбаши Мадумара. Как только трубачи, высланные навстречу хокиму, заиграют марш, поливайте землю возле своих калиток. Все поняли?

— Поняли, поняли...— произнес тот же голос, явно передразнивая Миркосима.

Насмешка, должно быть, не дошла до миршаба. Он сердито поспеел, а затем изрек:

— А раз поняли, исполняйте.

— Как же это так?— снова заговорил кто-то при-творно-наивным тоном.— Мы поливай, надрывайся, а ихнее сиятельство, господин хоким, может, на нашу улицу даже носа своего благородного не сунет.

— Не хоким, так собачка его забредет...— насмешливо бросили из толпы.

Насмешка вывела миршаба из оцепенения. Он гневно закричал:

— Вставайте все! Подметай улицу!

Люди нехотя поднялись. Хаёт отошла от калитки.

Глава третья **УТРЕННИЙ НАМАЗ**

Қази Гиясиддин, не смевший встать с суны без позволения мингбаши, вздыхал, ерзал, потел, пытаясь придумать благовидный предлог. Тщетно. В присутствии дол-хо¹ все его способности — изворотливость, сообразитель-

¹ Додхо — особе должностное лицо.

ность, ум — куда-то улетучивались. А между тем время утреннего намаза истекало.

Наконец кази, набравшись духу, забормстал:

— Если многоуважаемый додхо поззолит, ваш слу. 1 удалится, дабы совершить утренний намаз.

Додхо, посещавший мечеть только дважды в году, в большой и малый хант, разрешил Гиясиддину удалиться и милостиво пообещал в виде исключения посетить намаз, и трудно было понять: считал ли он для себя приезд хокима праздником или просто решил попросить бога оградить его в этот день от возможных напастей.

Кази Гиясиддин направился в мечеть. Дорогой он беседовал с Асадом кари. Нелегкое это оказалось дело. Полы длинного полосатого халата, свисавшие до самых щиколоток, путались в ногах. Кроме этого, одно щекотливое обстоятельство мешало кази внимательно слушать собеседника.

Рано утром, когда этот безбожник Гулямджан вырвал из рук мингбаши плетку, кази крикнул: «Ах, прокляты!» и при этом так натужился, что издал неудобосказуемый звук. Этот звук миновал окружающих людей, но не длинных ушей имама мечети — Асада кари. Пронрыливый, коварный, как затаившаяся змея, Асад кази услышал и запомнил грехопадение кази Гиясиддина. Но отчего же Асад кари не намекнул кази на необходимость сделать омовение перед тем, как войти в храм? Чем объяснить его такое поведение — незедением или коварством?..

И вот два ревнителя истинной веры, спокойно минув бассейи для омовения, направились прямо в мечеть, где не раз внедряли в голозы правозверных: «Да пребудут в чистоте тела и души ваши. Не приступайте к молитве без омовения, ибо, воздев к аллаху нечистые руки, берете на себя грех тяжкий... Если же воды поблизости не случится, то сделайте видимость омовения...»

Так июля двадцать первого 1326 года, по летоисчислению хиджры¹, ученый богослов и тонкий истолкователь шариага из уезда Карабулак, Гиясиддин аглям ибн-Му-

¹ *Хиджра* — мусульманский лунный календарь.

хаммад Расул ходжи Хунбори, согрешив, переступил порог мечети.

Торопливо сняв башмаки и из предосторожности взяв их с собой, кази занял место впереди всех. Выдавшие виды грязные башмаки он поставил рядом: из опасения, как бы какой-нибудь босоногий богомолец не подцепил их после намаза.

Асад кари остановился позади Гиясиддина. Он решил: «Пусть человек совершает, что ему вздумается, ибо и за грех, и за благочестие он сам в ответе. Хорошо ли мне, младшему, учить уму-разуму старшего, да еще почтенного богослова? Не покажется ли подобное поведение нескромностью, неуважением или даже дерзостью?» Кази Гиясиддин, очутившись впереди прихожан, приготовился к молитве, хотя мысленно все еще копался в земных делах. Ему вспомнился хоким, и он с умилением подумал: «Имея такого друга, можно ничего не бояться. Все во власти хокима».

Кто-то осторожно кашлянул. Кази Гиясиддин встрепенулся: пора начинать намаз...

Воздев руки, он прикоснулся большими пальцами и кончикам ушей:

— Аллаху акбар! Велик бог,— пропел он гнусавым голосом привычные слова. Прихожане, согласно обряду, согнулись в поклоне. В мечеть вошел мингбаша. Увидев, что прихожане замерли в неудобной позе, прикоснувшись лбами к полу, очень удивился, но, взглянув на кази, все понял. Кази Гиясиддин, прикоснувшись к кончикам своих ушей, застыл, подобно истукану, устремив мечтательный взгляд в пространство. Мингбаша захихикал. Впрочем, вряд ли он стал бы заниматься столь богопротивным делом, если бы знал, какое сладкое видение предстало перед ученым богословом. Хоким!.. В эполетах и аксельбантах! В золотом ореоле!..

— О-о!— благоговейно прошептал кази Гиясиддин и, забыв о том, что он должен воздать хвалу богу, обратился к господину хокиму:— Пожалуйста... ваше высокопревосходительство... Прошу вас... сюда... на самое почетное место.

Хоким, вначале неподвижный и как будто надменный, вдруг — о счастье!— милостиво улыбнулся, протянул свою ручку и произнес:

«А-а кази домля, как поживаете, дружок? Как ваше здоровье?» Следует ли после того удивляться, что знаток шариата, святой отец Гиясиддин аглям ибн-Мухаммад Расул ходжи Хунбори, обычно неповоротливый и неуклюжий, вдруг проявил необыкновенную прыть, с юношеским проворством поспешил к господину хокиму. «Благодарим вас! Под покровительственной сенью вашего мудрого правления мы благоденствуем и процветаем...»

Ничего не подозревающий Асад кари, утомленный затянувшимся челобитьем, поднял голову и увидел мечтательную улыбку кази. Он быстро встал и несколько раз кашлянул.

Кази Гиясиддин, погрузившись в сладкие грезы, не расслышал предупредительного кашля. Тогда Асад кари незаметно для других довольно чувствительно ткнул кази в бок. Гиясиддин, словно он только этого и ждал, припал лбом к земле. Прихожане в тягостном ожидании все еще стояли в позах, придававших мечети вид пустыни с застывшими песчаными холмиками. Не успел шишковатый лоб кази коснуться пола, как перед Гиясиддином возник другой образ, вызвавший у него чувства, совершенно противоположные тем, которые владели им до сих пор. Он увидел кази соседней волости — хромого Машарифа. Угодливо извиваясь, тот подошел к хокиму и как ни в чем не бывало уселся рядом с ним. Затем, надувшись словно индюк, он огляделся и, увидев кази Гиясиддина, едва уместившегося где-то с краешка, снисходительно улыбнулся, говоря: «А, и ты здесь, большоголовый Гияс». О какое беспримерное нахальство! На то, можно сказать, законное место Гиясиддина вдруг уселся какой-то хромой паршивец! «Можно ли вообразить большую наглость? — думал в ярости Гиясиддин, — и кто он такой, этот Машариф? Почему он стал кази? Может быть, ему присвоено высокое звание «аглям»? Но когда же он изучил науки, если он и в глаза не видел священной Бухары? О пронирливый жулик! О вислоухий осел! погоди, самозванец, доложу я хокиму, что ты за птица, и живо полетишь у меня вверх тормашками». Это решение утешило Гиясиддина, а затем вызвало у него целую вереницу столь приятных видений, что по губам его, едва не касающимся пола, зазмеилась хитрая.

улыбка. «Ну конечно же,— думал он.— Всего только немного золота, как в прошлом году,— и дело будет сделано. Ведь его сиятельству, хокому, что нужно? Зазвенит у тебя в кармане, так он сразу же тебе: «Что вы сказали? Не надо ли вам чего-нибудь?» Звякнет у кого-нибудь другого — справа, слева, спереди или сзади — и он тотчас же туда. Ох и любит же его сиятельство золото!»

Сильный толчок пониже спины опять заставил его опомниться.

Кази вздрогнул, поспешно поднялся и стал продолжать прерванное богослужение, между тем как священнослужители и прихожане, особенно те, что стояли ближе к кази, пялили на него глаза и откровенно хихикали.

Богослужение шло, и казалось, все окончится благополучно. Но не тут-то было. Когда, согласно предписанному обряду, правоверные уселись, чтобы продолжать намаз, именно в этот момент, не раньше и не позже, кази почувствовалось... Что бы вы думали?.. Кошка! И не какая-нибудь, а черная. Да, да, поганая черная кошка. Следует ли после этого удивляться, что кази сразу же очумел и язык его начал заплетаться? Крепко зажмурив глаза, он начал было что-то бормотать про себя, но тут же вздрогнул, замолчал и побледнел. И как было не побледнеть, если та самая черная с задраным хвостом кошка неожиданно перекувыркнулась и обратилась в кази Машарифа? Мало того, что он преследует кази наяву, он, проклятый, еще и мерещится, и пугает, и выдвывает всякие фокусы, только бы поскорее загнать правоверного мусульманина в гроб.

«О шайтан проклятый!»— хотел воскликнуть кази, но вместо этого завизжал: «Негодяй!» Богомольные прихожане, услышав ругательство во время богослужения из уст их пастыря, святого отца Гиясиддина, пришли в крайнее замешательство. Слышанное ли это дело, чтобы так осквернялось святое богослужение — и, главное, кем? Босяком каким-то? Безбожником? Иноверцем? Ничего подобного. Но как быть теперь бедным прихожанам?

Не будем спешить с выводами. Постараемся беспристрастно и трезво рассмотреть вышеописанный прискорбный случай. Может быть, бранное слово кази является чем-то исключительным, невероятным и не-

обычным? В самом деле, разве это неприличное слово не произносилось им много раз до этого злосчастного намаза? Разве не этим словом он сплошь и рядом награждал назойливых челобитчиков, просителей и жалобщиков из босяков и прочей голи перекатной? Разве его положение, сан и достоинство не обязывали его ограждать себя от всех надоедливых голодранцев этим обычным словечком? И разве, не употребляя эти и ему подобные слова, не уподобился бы кази домля худой, хворой телке, неспособной отбрыкнуться от каждой скотины, сующей свою шелудивую морду в чужое поило?

Вот и сейчас бедняга кази намеревался чистосердечно всучить хокиму некоторое количество золотых монет — и таким образом добиться устранения этого хромого мошенника и взяточника Машарифа от должности волостного кази с тем, чтобы прибрать к своим рукам его власть. Кажется, все ясно просто, а главное — честно. Какую же шутку выкинул этот подлый калека? «Господин, послушайте меня, — стал он нашептывать хокиму, — не верьте этой лисе Гиясу. Вам он дает фунт золота, а с народа сдерет десять. Вот таков этот паразит!» Ну как тут не возмутиться, если под тебя так бессовестно подкапываются, так оговаривают, обливают помоями с головы до ног — и, главное, кто? Пусть бы честный человек, а то... «Ах ты жила! Да разве найдется хоть один вор вороватей тебя, шакал ты этакий? Разве не ты за время своего судейства отгрохал себе великолепный дом с балаханой под железной крышей и с видом на двор и задворки? А чьи бараны — три тысячи голоз, чьи лошади — больше сотни пасутся на джайляу? А ты, мошенник, все на меня киваешь, все на меня пялишь свои завидушие глаза, чтоб они у тебя вытекли! Намного ли я богаче тебя? Всего только вдвое, от силы — втрое! Умереть бы тебе от стыда, безбожник, умереть! И умерь. Не захочешь, а умерь!»

Кази домля злорадно захихикал, от удовольствия покрутил головой, обмотанной огромной чалмой, и снова принялся за этого несчастного хромца Машарифа: «У-у-у, клеветник, сколь жалок ты стал! Что! Прельстился господин хоким посулами твоими? Внял твоим наветам? Разве оттолкнул он поднесенные от всей души дары мои бескорыстные? Ведь взял же, взял!»

Пока знаток шарната кш-лака Карабулак святой отец Гиясиддин предавался столь усладительным мыслям, имам приходской мечети Асад кари тоже не дремал. Оставив на время возвеличение бога, он тоже мечтал о своем. И у него копошились кое-какие мыслишки... Не сразу он стал имамом мечети. Пятнадцать лет обучался в медресе! Сколь суровой и воздержанной была его жизнь! Шутка ли, шестьсот страниц корана выучил назубок! А результат? Всего только имам мечети — и ничего больше. Ну куда это годится, и сколько еще можно терпеть?! Нет! Он должен подняться, высунуться! Но куда и как? А должность кази? Каким же ученым, прилежнейшим, мудрейшим кази он был бы! Но где? Какая волюсть страждет заполучить мудрого кази Асада кари? Ведь нет числа коварным имамам, которые из кожи вон лезут, чтобы попасть на место кази! Ах, если бы окачурился вон тот грешный свиноподобный старикашка! Как мил и дорог стал бы он Асаду, если бы превратился в мертвеца. Не поднести ли ему чашечку чаю с крупиночкой яду? Нет, нет! Бог с ним! Столько ждал Асад кари — еще чуточку подождет. Умрет же тот когда-нибудь. Не на нем же, богохульнике, держится свод небесный!



И, наконец, разве нельзя кое-что сделать и до того, как душа кази отправится в ад? Нельзя ли, скажем, кое-что из накопленного преподнести и хокиму и этак тихонечко шепнуть: «Если бы вы сообразовали назначить меня судьей волости Карабулак, служил бы вам до последнего вздоха». Ну разве же хоким устоит перед золотом? О золото, золото! Перед тобой не то что хоким, сам губернатор шелковым станет. Одно дело копейка, алтын, и совсем другое дело — золотце! Да ведь оно может превратить человека в ласкового песика, что становится на задние лапки и лижет руки. И за примером далеко не надо ходить! Взять хотя бы его, Асада кари. При-

ходит к нему в прошлый базар с улицы Дулана сын куштаря Миртолиба Мирсодык и спрашивает: «Таксыр, может ли женщина, у которой умер муж или которая разошлась с мужем, выйти замуж до истечения срока идда¹?» «Нет, такая женщина должна выждать три месяца, выдержать положенный срок и только после этого может снова выйти замуж. Таково предписание шариата», — ответил Асад кари.

Но шариат, должно быть, пришелся бедняжке не по душе, и ушел он столь опечаленный, что сердце Асада кари преисполнилось жалостью. На следующий день приходит этот самый джигит. «Да ты, видать, уязвлен в самую печенку, не уйдешь от меня», — подумал Асад кари; положив перед собой открытый коран, стал читать его с чувством, не отвлекаясь и ничего вокруг себя не видя. Джигит долго сидел, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Затем сказал жалобно: «Домля, неужели нет выхода?» Что мог сказать Асадулла? Разумеется: «Нет!» Помолчали. И вдруг раздался мелодичный звон, и перед Асадуллой очутилось золото. Ну как могло не смягчиться его и без того мягкое сердце, тем более, что перед ним горела не одна, а две, две золотые монетки? Разумеется, он сказал бедному джигиту «да»...

Почему же господин хоким должен ответить «нет»? Разве они с Асадуллой не из одного теста?

В то время как имам мечети Асад кари мысленно вел себя подобно собачонке, что виляет хвостом, лижет руки, тихонько скулит, а иной раз и тявкает, мингбаши Мадумар сидел мрачнее тучи. Его, как и кази, терзали заботы, одна другой тяжелее. В самом деле, как мог он, верховная власть кишлака Карабулакской волости, быть спокойным, если все население вверенной ему территории волновалось?

Но разве это его единственная забота? Взять хотя бы ожидаемый приезд его зятя Тешабая, слава которого, перевалив через горы Ферганы, распространилась по всему Туркестану. Сын состоятельнейшего человека, Тешабай едет, чтобы повидать тестя и тещу не один, а вместе с господином хокимом! Что бы это могло означать? Нет ли здесь тайного умысла? Имея в городе два

¹ *Идда* — трехмесячный срок после развода или смерти мужа.

магазина, в кишлаке — пятьсот десятин земли, на джай-ляу — шесть тысяч баранов, триста лошадей и прочий крупный скот, имея все это, неужели он едет для того, чтобы свалить бедного Мадумара и самому сделаться мингбаши? Купцам верить нельзя. Они хитры, коварны, вероломны. Только глаза отведи, как сразу изо рта кусок вырвут. И хотя Тешабай муж дочери, зять, все же он чужак, и хоть расшибись, никогда родным не станет. А уж верить ему нельзя. А кому можно верить? Додхо не верит даже родному сыну. Не такой уж он простачок! Только хитря, таясь и лавируя, можно удержаться, даже если ты повис на кончике листочка. Кому же знать об этом, как не мингбаши Мадумару, который вот уже восемнадцать лет подряд не выпускает из своих рук бразды правления и столько же лет отражает многочисленные попытки лишить его власти? Надо было видеть, как стремительно откатывались все палваны, зарившиеся на его место... Чует душа, что и теперь нельзя дремать, где-то вокруг рыщет, выслеживает и принюхивается хитрейшая лисица. Да, призадумайся тут. С какой же стороны подступиться к этому толстосуму Тешабаю? Ведь он в состоянии закупить все богатства и города и кишлака. Сам хоким танцует под его дудку. Что бы там ни было, надо удержаться, удержаться во что бы то ни стало. Надо уже сейчас держать ухо востро. Надеясь на бога, надо и самому пошевелиться — эту истину додхо Мадумар хорошо усвоил. Никто лучше его не знает сокрушающую силу исподволь наносимого удара и покоряющее действие неожиданного дарственного подношения. Торговое племя жадно, ненасытно. Как только прибудет Тешабай, надо мазнуть по его губам маслом, подарить тот сад, что у подножья горы. Во-первых, Тешабай все-таки зять, и значит, как говорится: то, что выскользнет из-за пазухи, упадет в голенище. Во-вторых, плевать Мадумару на этот сад. Не он же его сажал, не он за ним ухаживал. Его вырастили те, кто для этого предназначен судьбой — бедняки, босяки. Это они по указанию мингбаши под неустанным наблюдением эликбаша вырастили богатый сад.

Приняв решение швырнуть в раскрытую пасть своего зятя жирную кость, Мадумар уже было успокоился, как вдруг перед ним вырос Садык амин, второй старос-

та Карабулака. Добро бы он просто появился и по-человечески заговорил. Так нет же! Посапывая своим расплющенным в детстве носом, он стал канючить.

«Червь-кровосос!»— обозвал он толстого, круглого, похожего на кабана Мадумара. «Паразит!» — продолжал он бубнить, глядя на додхо.

«Взяточник!»— скулил Садык амин в адрес поборника справедливости, который, не желая оскроблять просителя малой взяткой, принимал только крупную.

Вот теперь и судите сами, что же происходит на белом свете: каждый встречный-поперечный безбоязненно обзывает мингбаши волости Карабулак. Мадумар — «червь-кровосос», «паразит», «взяточник». Не следует ли после этого ожидать, что его облают и «деспотом», и «кровопийцей», как это неоднократно бывало? Почему же это он «деспот», почему «кровопийца»? Слов нет, случается, что плетка мингбаши гуляет по спинам, порою она забивает кого-нибудь насмерть. Приходится, конечно, иной раз кое-кого засаживать в тюрьму и даже посылать в Сибирь, но все это делается для общей пользы. И, наконец, только ли Мадумар додхо так поступает? А другие мингбаши? А беки, ханы? Разве глядят они народ по головке или утирают ему слезки? При чем же здесь Мадумар? Ведь он всего только старая арба, катящаяся по старой, хорошо укатанной колее! Сколько бы ни старался Мадумар, как бы ни трудился, сколько бы ни потел — все равно благодарности не дождешься...

«Поди прочь!»— закричал мингбаши Садыку амину, который, выговарившись, стоял теперь истуканом.— Не боюсь я тебя. Ты что? Лишнюю свечку богу поставил? Оглянись-ка на себя, воруга!»

Упреки мингбаши разбередили раны Садыка амина, и он снова заныл:

— Я, подобно тебе, не граблю народ и казну! Если уж кто и вор, так это ты! Разве я чужие дома обворываю? Я если и беру, так только то, что мне дают по доброте душевной, беру, чтобы не обидеть. Из рук не вырываю...

И надо же было так случиться, что именно сейчас, когда Мадумар не в силах был сладить с собой Садыком, слушал его, обливаясь холодным потом, вдруг явил-

ся кузнец Кудрат с Гулямджаном и Заманом, сопровождаемые народом.

Кудрат, выступив вперед, произнес: «Мы пришли, чтоб покончить с тобой! Не нужны нам ни ты, ни хоким, ни губернатор!»

Бедняга мингбаши струхнул не на шутку. В самом деле, вид пришельцев был столь свиреп и грозен, что казалось, они вот-вот искромсают его на куски и тут же изжарят на вертеле.

«Я пожалуюсь на вас господину хокиму. Сошлю в Сибирь! Вздерну на виселицу! Застрелю!»— завопил мингбаши. Но этот грозный окрик не возымел должного действия — взять на испуг не удалось. Эти люди, должно быть, не из трусливого десятка: не обращая внимания на вопли мингбаши, продолжали наступать. Вот тут-то мингбаши совершенно растерялся и закричал:

— Эй! Миршаб!

Этот крик взлетел под высокие своды мечети и заставил вздрогнуть Гиясиддина и Асада кари. А мингбаши, очнувшись, сконфуженно огляделся. Кази, обернувшись, посмотрел на Асада кари. А тот в крайнем удивлении поемстрел вокруг себя... Они были в мечети одни. Прихожане давным-давно ушли. И в это время, когда три почтенных мужа стояли смущенные, не зная, что сказать, раздался иронический голос:

— Таксыр, вы просили позвать миршаба?

Три богомольца обернулись и увидели Хасана суфи; он стоял у порога и лукаво улыбался. Мингбаши отрицательно качнул головой и заспешил к выходу. Вслед за ним заторопились Гиясиддин и Асад.

Так окончили свой утренний намаз мингбаши волости Карабулак Мадумар, знаток шарията кази домля Гиясиддин аглям ибн-Мухаммад Расул ходжа Хунбори и имам приходской мечети Асад кари.

Глава четвертая

У МАДУМАРА

Молодая женщина, одетая в платье, разрисованное тюльпанами, сорвала гроздь винограду и, выбирая ягоды покрупнее, такие же черные, как ее глаза, стала бросать их в рот. В ее всегда игривых глазах сейчас была

заметна какая-то тревога. Лицо этой женщины, как ска-
зали бы старые восточные поэты, могло бы поспорить с
красотою рассвета. Маленькие уши отягощались крупны-
ми золотыми серьгами, шея и грудь были увешаны бле-
стящими украшениями, а щеки — то ли от яркого платья,
то ли от пылающего солнца — рдели румянцем. Изящные
стройные ножки были обуты в лакированные кавуши.
Концы длинных атласных шаровар были схвачены у са-
мых щиколоток шелковой тесьмой. Женщина кого-то
ждала. Она ходила взад и вперед под тенистыми свода-
ми виноградных ветвей, то и дело поглядывая на калит-
ку наружного дома.

— Вот проклятуший!— проговорила она с досадой,
поправляя шелковый платок, начавший сползать с голо-
вы. Голос женщины, хоть в нем слышалась досада, был
так же обворожителен, как и она сама. Встряхнув пла-
ток, она распустила на нем узлы, снова накрыла голову
и, завязав концы его на затылке, так и осталась стоять,
запрокинув руки, зажмурив глаза, дыша полной грудью,
упиваясь своей силой, молодостью, здоровьем.

В этот момент появился тот, кого она ждала. Это был
мингбаши Мадумар.

— Джурахон! Доченька!— произнес он.

Джурахон открыла глаза и бросилась к отцу.

— Папочка, где вы пропали?— надув губки, спро-
сила она.

— Не спрашивай, доченька. Все заботы на моих пле-
чах,— произнес, тяжело отдуваясь, Мадумар, но тотчас
же заулыбался.— Как хорошо, что ты пришла, милая, я
хотел даже послать за тобой.

— Давно бы пришла, да вот... не пускает,— залепета-
ла Джурахон, словно капризное трехлетнее дитя.— А се-
годня прямо-таки замучил, ни за что не хотел отпускать.
Чем выдавать за такого, лучше бы ни за кого... замучил
он меня...

Джурахон, поощренная тем, что отец, укоризненно
покачав головой, произнес: «О мерзавец!», продолжала
жаловаться.

— И попрекает меня вечно: «Бесплодная!.. Бесплод-
ная!»

Для женщины двадцати трех лет, тем более для до-
чери мингбаши, обвинение в бесплодии — дело не шуточ-

ное, прямо-таки нож в сердце. Но при чем здесь бесплодие, если ей, в отличие от других девушек, не по душе домашнее хозяйство, если она не хочет портить свою стройную девичью фигуру. Ведь не пятьдесят же ей, и замужем-то она всего только пять лет.

Джурахон захныкала, а затем и заплакала в голос... Мингбаши растрогался. В то время как одна его рука ласково поглаживала голову несчастной дочери, другая с помощью платка осушала слезы.

— Не расстраивайся, я проучу его,— ободрял мингбаши дочь. Затем, обняв ее за плечи, направился к дому. Отец и дочь шли по затененному коридору из сплетенных над головой ветвей, в конце которого виднелся дом с резными перилами.

Навстречу им с застекленной террасы проворно спустилась рослая жена мингбаши — Бегиаим. Она обняла дочь, а затем, нагнувшись на лоб соскальзывавший платок, обратилась к мужу:

— Что-то очень вы беспечны, отец. Разве вам не известно, что хоким остановится у нас?

— Конечно, где же еще ему остановиться?— произнес мингбаши, доставая из кармана отделанную серебром тыквенную табакерку.

— А раз так, то нам надо подготовиться.

— Готовься! Что же ты стоишь разинув рот!— проговорил мингбаши и ловко бросил в рот щепотку насвая.

— Вы бы велели барана зарезать.

— Я распорядился уже, и не одного, а четырех баранов зарезать,— ответил мингбаши и направился в сад.

Внезапно лицо супруги мингбаши приняло выражение крайней озабоченности, накрашенные брови гневно взметнулись.

— Эй, оборванец, поди-ка сюда!

«Оборванец» подбежал. Это был худощавый мальчик, лет пяти-шести, в рваных штанишках.

— Ты еще не кончил подметать, стервец?— закричала Бегиаим, увидев в руках мальчика метелку из прутьев бурьяна.— Где ж твоя мать?

Мальчик хрипло ответил:

— Корову доит.

— Сейчас же позови эту дармоедку.

Мальчик бросился исполнять приказание. Жена мингбаши, словно опасаясь, что он убежит по своим мальчишеским делам, некоторое время подозрительно смотрела ему вслед. Затем, как будто ее подменили, обрattилась к дочери вкрадчиво и нежно:

— Что с тобой, доченька? Приготовила бы чай для отца.

Джурахон, надув губы, небрежно сбронила:

— Отстаньте, ради бога.

Но мать не обиделась. Она притворилась, что не замечает грубого тона дочери, и собралась сказать еще что-то, но к ней торопливо подошла изможденная женщина с морщинистым широким лбом.

— Вы звали меня, Бегиаим?

Бегиаим ответила не сразу. Она взглянула на грязную рубаху, заправленную в штаны, на босые потрескавшиеся ноги и болезненно сморщилась. Можно было подумать, что она прониклась жалостью к работнице. Лицо, размалеванное румянами, выцветшие глаза, оголенные брови, окрашенные сурьмой, казалось выражали сочувствие. Но забитая женщина, похожая на осенний увядший лист, знала, что стоящей перед ней госпоже, разряженной в платье из полосатого шелка и лаковые кавуши, недоступно чувство жалости, что не сострадание, а брезгливость и презрение искривили лицо сварливой госпожи.

— Ты до сих пор еще не кончила доить?— спросила Бегиаим.

Женщина начала было объяснять, но Бегиаим прервала ее:

— Выдумываешь все. Дрыхла, наверно!— и, не давая работнице ответить, набросилась на нее:— Чтоб ты сдохла, врунья! Иди, дои скорей! Пошевеливайся! А потом замесишь тесто на пятнадцать-шестнадцать тандыров. Подбавь побольше молока, будешь лепешки печь.

Не успела женщина сказать «хорошо» и отойти на несколько шагов, как Бегиаим остановила ее.

— Эй, Каромат, слушай! Позови тетю Мастан с Хаёт, Турсун, Хадичу-биби, Салтан. Пусть помогут! Живей оборачивайся!

Когда Каромат зашагала прочь, вслед ей снова понесся грубый окрик:

— Каромат! Скажи Салтан, чтоб она не притаскивала своих щенят. Эти ненасытные грязнули сразу все сожрут.

Каромат, отойдя довольно далеко, опять услышала жудахтающий голос госпожи:

— Пока тесто будет всходить, польешь цветы. Не мешкай! Да, постой! Кому говорят! Ты оглохла? Куда бежишь, как на пожар? Слушай, когда покончишь со всеми делами, соберешь обсыпавшийся в саду кантак и разложишь на солнце — просушить. Иди!

Но Каромат не шла. Она стояла в недоумении. Семь лет служит она в этом доме и ни разу не видела здесь урюка кантак.

— Откуда же я соберу кантак, если у вас его нет?

— Его нет? Чтоб ты ослепла! Разве ты не видела кантак у нашего соседа Гуляма кари? Ведь наш сад у забора завален их урюком. Поняла теперь, бестолковая?

— Поняла!— вздохнула Каромат и побежала донть коров.

Когда работница скрылась, Бегнаим направилась к мужу в сад. Мингбаши лежал в небрежной позе возле бассейна, в тени большого тала. Заслушавшись запертых в клетку перепелов, а может быть, еще почему-нибудь, он забыл о предстоящем приезде хокима. Веки мингбаши смыкались.

Бегнаим подошла к мужу.

— До чего же вы беззаботны! В такое время — лежать. Пойдемте в дом, посмотрим, что можно поднести господину хокиму.

— Подобрала бы что-нибудь сама!— лениво произнес мингбаши, не двигаясь с места.

— Сама?.. Ну и чудной же вы! Как это я могу сама? Такое важное дело — и вдруг сама. Ну пойдемте же, поднимайтесь.

Бегнаим направилась в дом, за ней поплелся мингбаши. Сняв кавуши у двери, они зашли в небольшую комнату, застланную длинным узким ковром, с целым ворохом сложенных в кучу одеял. Стены состояли из ряда ниш с глиняными полками, уставленными разнообразной посудой. Открыв резную дверь, супруги вошли в комнату, вчетверо больше первой, с тяжелыми балка-

ми потолочных перекрытий. Слишком много времени потребовалось бы для описания убранства этой комнаты, где, несмотря на полуденную июльскую жару, не было ни единой мухи.

Мингбаши передвигался осторожно, словно ярко-пламенные краски ковра, по которому он ступал, могли обжечь его голые пятки. Его сонный взгляд был прикован не к звенящим фарфоровым чашам, не к китайским большим и маленьким тарелкам, не к овальным пиалушкам, не к драконообразным чайникам, расписным вазам и блюдам, не к медным подносам с стихотворными изречениями из корана по-арабски и персидскими двустушиями, не к латунным пузатым кумганам, не к заполнившим глубокие ниши подносам с изображением роз, не к искунным вышивкам, не к расшитым шелком коврам с ослепительно-яркими замысловатыми узорами. Взгляд его был прикован к огромному ватному одеялу с целой горой пуховых подушек, разбросанных у стены, позади низенького столика. На столике, крытом красным бархатом, лежала какая-то книга. Мингбаши устало опустил ся на одеяло, сунул себе под голову подушки. Бегиаим, полагая, что муж поможет ей выложить атласные и шелковые одеяла, с удивлением наблюдала за ним.

— Что это вы развалились, как хвоя лошадь?— проворчала она и стала выбрасывать одеяла из мекмана, искоса поглядывая на мужа, который тем временем потянулся к лежащей на столике какой-то книге.

— Ай-ай, не прикасайтесь без омовения!— испуганно закричала Бегиаим.— Ведь это коран! Душу свою погубите!

Мингбаши, словно коснувшись раскаленного железа, быстро отдернул руку. Затем, посмотрев на жену, он с гордостью подумал: «Ох богомольная у меня жена, благочестивая!»

Бегиаим открыла широкий сундук. Оттуда потянуло затхлым запахом плесени.

— Фу ты!— сморщилась Бегиаим и, отвернув лицо, стала извлекать из сундука златотканые чапаны, разновидности шелка—банорас и адрас самых различных оттенков и рисунков, бархатные чекмени, местные и привозные, шелковые, атласные, шерстяные и сатиновые ткани. Все

это образовало целую гору, перед которой Бегиаим остановилась в раздумье. Что выбрать для хокима? Не смог ей помочь и муж, к которому она обратилась. Развалившись на одеяле и не спуская с жены благодарного взгляда, он думал: «Ну и женушка же у меня: хозяйственная, щедрая. Ведь все это добро она ворошит, чтоб выбрать подарок не для мужа, не для близкого родственника, а для чужого ей человека. Никак не раскусишь эту Бегиаим. То она тает, как масло, то превращается в сухарь. Вот и сейчас, что заставляет ее быть такой на редкость великодушной?»

Впрочем, подобный припадок щедрости с Бегиаим уже однажды произошел на прошлых выборах мингбаши. Тогда она не только хокима, но даже его помощника одарила чапанами: утром — парчовым, днем — банорас, вечером — златотканым. Да еще ухитрилась всучить им по горсти золотых монет. А получила ли Бегиаим что-нибудь взамен, как была награждена ее доброта?.. Никак. Не благодарный хоким оставил без внимания доброту женщины, он только не лишил ее мужа должности волостного.

Мингбаши с умилением поглядывал на озабоченное рябое лицо своей супруги и на вопрос ответил с ласковой вкрадчивостью:

— Зачем вы у меня спрашиваете, аим, отберите, что вашей душе угодно, по своему вкусу.

Бегиаим не растаяла и не возгордилась от слов мужа. Она попросту не обратила на них внимания. С равнодушным пресыщенного человека, Бегиаим безучастно и холодно обзрела возвышавшуюся перед ней гору добра... Наконец, после долгих колебаний, она решилась. Выхватив из кучи облюбованную вещь, она развернула ее перед носом мингбаши. Это был большой парчовый чапан с золотым шитьем на полах.

— Превосходно! Хвала вам! Что за вкус! — воскликнул, улыбаясь, мингбаши и, кивнув головой, добавил: — Отберите еще несколько штук. Пусть их пропадают, осталась бы власть...

Пока жена выбирала подходящие чапаны, мингбаши собрался было вздремнуть, но не успел и сомкнуть глаз, как в чистой комнате появилось босоное грязное существо — Каромат.

Мало того, что работница зашла, не вымыв свои черные от грязи ноги, не стряхнув пыли с рваного платья, ей почему-то еще понадобилось вскрикнуть «вай!». С чего бы это? Разве она никогда не появлялась перед мингбаши с открытым лицом?

Бегиаим и мингбаши подозрительно оглядывали работницу, пялившую глаза на разбросанные по полу сокровища. Наконец Каромат почувствовала обжигающий взгляд госпожи. Она смутилась и робко, словно в чем-то провинилась, произнесла:

— Я за ключом...

— Провалиться тебе сквозь землю! Шныряешь, как кошка-воровка!— обругала ее Бегиаим, швырнув маленький, с детский пальчик, ключ.— На!

Каромат подняла ключ и метнулась к двери, но тотчас же была остановлена:

— Эй! Подожди!

Каромат обернулась. Ее изможденное лицо безмолвно вопрошало: «Долго ли еще вы будете меня мучить?» Бегиаим ничего не ответила. Запрокинув голову, она шестом перебирала платья, подвешенные под самым потолком, украшенным тонкой резьбой и росписью.

— На, поноси сегодня. А то хокима затошнит от твоего вида! Завтра вернешь,— брезгливо процедила Бегиаим и, как собаке кость, швырнула к ногам Каромат синтцевое платье. Хозяйка, ожидавшая, что Каромат схватит платье, прижмет его к груди, возможно, даже заплачет от радости, была крайне удивлена поведением работницы.

— Что стоишь, дура? Бери!

Каромат едва сдерживала горькие слезы. Она видела сейчас не эти роскошные одеяния, не брошенное ей цветное платье, которому предназначалось скрыть неприглядную, раздражающую нищету, нет, перед ней предстал ее сиротка, ребрышки на его тельце, никогда не знавшем рубашонки, ничем не защищенном от жгучих лучей солнца и зимней стужи.

— Спасибо, Бегиаим! Не надену я вашего платья!— произнесла Каромат и быстро вышла.

Бегиаим криво усмехнулась.

— У нищего гордеца сума всегда пуста!

Бегиаим отобрала подарки для хокима. Но, оглядывая

их критическим взглядом, она что-то молча собирала, взвешивала и, наконец, решительно заявила:

— Нет, всем этим не возьмешь хокима. Пойдем-ка со мной.

— Есть еще породистый конь...— произнес мингбаши, лениво потягиваясь. Бегнаим поморщилась.

— Знаю, но и этого мало. Надо во что бы то ни стало умаслить, приручить его... Ну, идемте же!

Мингбаши нехотя ползл за женой.

Глаза пятая

ФОСИХ ЭФЕНДИ

Выполняя строгий приказ додхо, жители Карабулака тщательно подметали и скоблили все улицы, улочки, переулки и тупички. Клубящиеся тучи пыли обволокли кишлак и сделали его почти невидимым. Мингбаши торопил аминов, амины торопили элликбаши, а те покрикивали на кишлачный люд: «Скорей!», «Скорей!»

По сведениям, которые доставил нарочный, хоким должен был прибыть утром. Но солнце поднялось высоко, насквозь пронизало густую листву высоченных тополей, утренняя прохлада сменилась полуденным зноем, а хокима все еще не было.

Когда вслед за мингбаши на коней уселись аксакалы, Салим амин, Садык амин, кази Гиясиддин, Асад карн и вся остальная кишлачная знать, чтобы выехать навстречу хокиму, вдруг послышались отдаленные, едва слышимые звуки карная. Не прошло минуты, как эти звуки, подхваченные ближним карнаем, зазвучали вдесятеро громче, а затем, нарастая и множась, залили кишлак многоголосьем ревом.

Ехал человек, ожидание которого томило и мучило с самой полуночи столько людей, перевернуло вверх дном весь кишлак. Мингбаши мотнул головой и закричал:

— Воды!

Миршаб, словно кишлак был охвачен пожаром, вытаращив глаза, заорал во всю глотку:

— Поли-ва-а-ай!

Протяжный крик миршаба, подхваченный элликбаши, раскатился по всему кишлаку, рождая отзвуки, сливаясь в сплошной многоголосый шум.

Мингбаши, не ослабляя поводьев, внимательно огляделся. Люди с лихорадочной поспешностью поливали чисто выметенные улицы. Мингбаши, вполне удовлетворенный приготовлениями к встрече, приказал:

— Поехали!

Буланый мингбаши сорвался с места. Другие кони последовали за ним. Чубарый кази Гиясиддина, никогда не участвовавший в скачках, неожиданно так припустил за Буланым, что чалма кази слетела на землю, а сам он, обхватив ногами бока лошади и вцепившись в гриву, дрожащими губами зашептал молитву. Кази хотел оглянуться назад, но не отважился. Он попытался натянуть поводья, умерить неуместную резвость своего коня, но и этого сделать не смог. Тогда он отпустил поводья и, крепко зажмурив глаза, поручил свое тело и душу аллаху. «Чалма не голова, слетела — не беда», — утешил он себя.

Вздывая пыль, с громким топотом неслась во весь опор высшая знать кишлака Карабулак. Простые люди, поливавшие улицы, уступали ей дорогу и с криком разбегались; дети, желавшие взглянуть на невиданное чудо — хокима, расселись, как воробушки, на крышах, заборах, тутовниках, талах и прочих недосягаемых для начальства местах и оттуда восторженным улюлюканием, криком и визгом провожали блестящую кавалькаду.

Вся знать очень скоро прискакала к чайхане, находящейся у въезда в кишлак. Здесь тоже все было выметено, вычищено, полито. Подбежал чайханщик и схватил уздечку коня Мадумара, но мингбаши, не слезая с лошади, просипел:

— Не проезжали?

— Нет, таксыр!

Кто-то доставил кази Гиясиддину потерянную им чалму, и тот не медля стал ее пристраивать на своей голове...

Мингбаши, словно желая удостовериться, что все в порядке, ощупал свое одеяние — парчовый халат, чалму с султаном, — а затем воскликнул:

— За мной! Вперед!

Всадники проскакали с полверсты. Наконец они увидели спускающуюся с холма им навстречу легкую извозчию пролетку. Мингбаши очень удивился: почему нет стражи ни спереди, ни сзади, ни с боков? Хоким обыкновенно не ездил один. Особенно не любил он появляться без охраны в кишлаках.

Мингбаши медленно подъехал к пролетке. Молодой возница в шелковом полосатом халате, подпоясанном широким кожаным ремнем, с намотанным на голову поверх чувстской тубетейки шелковым платком, остановил пролетку. Там сидели двое.

— Ах, это вы, Фосих эфенди,— протянул мингбаши, не в силах скрыть разочарования при виде своего старого знакомого, вечно околачивающегося во дворе богача Тешабая. «Значит, тебя, оборванца, так торжественно встречаем»,— прозвучало в его тоне. Фосих эфенди почувствовал это. Его передернуло.

— Да, уважаемый додхо, ваш покорный раб Фосих эфенди!— ответил он и толкнул возницу в спину.

Пролетка тронулась. Когда извозчик доехал до гузара, Фосих эфенди соскочил на землю. Его жиденькую фигурку обтягивал узкий халат, на голове красовалась небольшая чалма. Он поправил очки, скрывающие цвет и выражение его глаз, церемонно отвесил поклоны: сперва мингбаши, потом кази и остальным сановникам...

— Саям, саям, гордость нашей нации!— произнес он слащаво и обратил к мингбаши Мадумару свое маленькое, начисто выбритое личико. Затем он повернулся к кази и остальной знати:

— Саям, разум и гордость нашей нации! Саям, свети религии, столпы веры, совесть мусульман, краса правверных!..

После того как все сановники в ответ склонили свои головы, Фосих эфенди взглянул на столпившийся неподалеку, ничем не примечательный люд, милостиво удостоил его небрежным кивком и снова обратился к сливкам общества Карабулака. На этот раз он дернул головкой, словно сгоняя со своего лба муху, тонкими губами изобразил улыбку:

— От господина хокима Қарла Фишмана, насаждающего среди нас, но высочайшей воле императора Николая

второго, мир, благоденствие, покой и порядок, любовью и заботой возвысившего каждого из нас,— салям!

Кази Гиясиддин и все прочие знатные люди, услышав имя царя, а также его слуги, как по команде низко свесили головы и так сладко заулыбались, словно обе упомянутые величайшие персоны находились тут же, рядом. Кази воздел руки для благодарственной молитвы:

— Да будут долгими годы их жизни, священной и безраздельной их власть!

Сановники вслед за кази дружно пробубнили молитву. Когда все смолкли, мингбаши с величайшей тревогой обратился к Фосиху эфенди:

— А они придут?— спросил мингбаши, побледнев и так вытаращив глаза, словно ждал ответа: «Да. Именно сегодня произойдет светопреставление».

— Придут,— ответил Фосих эфенди, вздернув рде-нькую бровь.

Если после своего вопроса мингбаши был растерян, жалок, как скряга, обронивший пятак, то сейчас, после ответа Фосиха эфенди, он чудесно преобразился. «Ха-ха-ха!»— закатился волостной счастливым смехом, хотя, казалось, никаких причин для этого не было.

— Ах, как вы нас напугали, эфенди!— счел необходимым произнести кази, укоризненно покачивая своей большой головой.

Мингбаши, весьма довольный тем, что долгожданный высокий гость рано или поздно придет, подхватил доброго вестника под руки и повел его к супе:

— Пожалуйста, эфенди!

Но Фосих эфенди не захотел сесть с мингбаши, чтобы рядом с этим толстяком не выглядеть тощеньким червячком. Он вежливо, но язвительно произнес:

— Благодарим за приглашение!

Поведение Фосиха эфенди сильно задело мингбаши. «Ну и глупец! Не понимает, что уважающий хозяина бросает кость его собаке».

Фосих эфенди направился к пролетке, взобрался на нее, важно огляделся вокруг и изрек:

— Отправилась, господа! Хоким придет с вечерней прохладой.

Глава шестая

ИСКУШЕНИЕ

Гулямджан не поехал встречать хокима. Весть о приезде уездного начальника снова пробудила в юноше гнев и отвращение. Он не находил себе места...

Четыре года тому назад, после разгрома созданной им школы, Гулямджан обратился с жалобой к мингбаши. Тот внимательно выслушал его.

— С кази Гиясиддином я поговорю, — обещал волостной. — Что же касается разрешения на открытие школы, то его может дать только хоким. К нему вам и следует обратиться.

Хоким, отвечая на просьбу Гулямджана, был вежлив.

— Ничем не могу помочь, — ответил он сочувственно. — Разрешение может дать только генерал-губернатор. Если он соизволит удовлетворить ваше ходатайство, за мной остановки не будет. Я спрошу высокопревосходительство. О результатах вы будете оповещены...

Гулямджан вернулся домой обескураженный, растерянный. Время шло. Куда бы он ни стучался — ответом было глухое молчание.

На этом беды Гулямджана не кончились: вскоре на него обрушилось новое несчастье. После тяжелой болезни скончался отец. Осиротевший Гулямджан делил свое горе с потрясенной матерью. Долгое время он не мог оправиться от постигшего его удара, хоть немного забыться. Он уходил на рассвете в поле и работал там до позднего вечера. А когда осенью полевые работы закончились, он, уединившись в своей хужре, много читал, слагал газели.

Разлука с любимой усиливала его тоску. Правда, за это время Гулямджан несколько раз украдкой видел Хаёт. Но, кроме лишних страданий, эти встречи ничего не принесли. «Неужели так пройдет вся молодость», — думал Гулямджан, приходя в отчаяние. Слабая надежда открыть школу окончательно рухнула, когда он в последний раз был у хокима.

— На какого черта вам, саргам, учење? — сказал он издевательски. — Убирайся к своим баранам и больше не попадайся мне на глаза!..

Понять и разделить тоску Гулямджана мог только

единственный друг — дутар. Грустно зазвучали его струны под пальцами юноши.

— Гулямджан, сынок, ты пришел?— раздался голос из-за дувала.

— Пришел, мамочка!— Гулямджан, отложив дутар, вскочил, посмотрел на дувал, за которым начинался сад мингбаши.— Что вы там делаете?

— Бегиаим просила помочь ей. Хоким приезжает. Вот и носят все как угорелые. Угощение готовят.

— Значит, вы будете у них до вечера?

— Хорошо бы еще до вечера!— ответила мать и, понизив голос, добавила:— Сыночек, Хаётхон тоже здесь вместе с бабушкой.

Этого было достаточно, чтобы юноша встрепенулся.

— Мама, а может быть, она сюда заглянет?— произнес он робко и тотчас же испугался: вдруг мать рассердится!

— Не знаю.

— Мама, скажите ей... Пусть придет.

— А что если кто-нибудь увидит...

— Не увидят!

Волнение Гулямджана вылилось в тихую песню, которой он, казалось, открывал матери свою душу:

Целый месяц, долгий месяц, как тоскою я пленен,
И душа моя в смятенье издает тяжелый стон.
Я томлюсь в огне разлуки, и пылает грудь моя,
Весь во власти знойной страсти, от любви сгораю я.

Но мать уже отошла. Гулямджан пел:

О утро ясное, пусть та, чьи косы пахнут, как райхан¹, ко мне придет,

Благоуханьем своим вселяя в голову дурман, пускай придет.

Я увидеть ее хочу, мое желанье велико,

Печаль разлуки роковой проникла в душу глубоко!

Из-за нее цветущий мир померкнул, превратясь в зиндан², пускай придет,

Один лишь миг подарит мне, и я от счастья буду пьян, пускай придет!

Горячие слова, рокот струн слились в один страстный, тоскующий призыв к любимой.

Неужели он сегодня увидит Хаётхон?

¹ Райхан — похучее растение, базилик,

² Зиндан — темница.

Гулямджан вспомнил день, когда он видел девушку в последний раз. Был большой хаит. Зрители, затаив дыхание, следили за канатоходцем. Вот-вот он достигнет пооста. Еще один шаг. Но искусный канатоходец не торопился. Он замер на месте и обратился к народу с добрым словом. В это время рядом с Гулямджаном раздался голос Хаётхон.

— С праздником вас, Гулямджан.

Гулямджан быстро обернулся. Перед ним стояла девушка в старенькой парандже, с опущенным чачваном.

— Хаёт! Я так хотел вас встретить!

— Но ведь я уже давно стою рядом с вами,— тихо рассмеялась она.

— Вы смеетесь, а мне грустно. Неужели же нам всю жизнь...

— Мне тоже тяжело... Мать идет!.. Прощайте!..

Она быстро ушла, исчезла, будто ее и не было. И до сих пор в ушах звучит ее голос...

...Гулямджан, отложив дутар, направился в свою комнату. Полочка, низенький столик там были завалены книгами. Часто за этим столиком у окна, открытого песням птиц и запахам цветов, он погружался в бессмертные творения гениев восточной поэзии и философии — Фирдоуси, Саади, Низами, Фузули, Джами, Навои. Вот и сейчас, усевшись у окошка, он начал перелистывать любимые книги.

Где разлука, там печаль! Отзовись, мой друг.

Из-за этого душа столько терпит мук!

Из-за этого я весь пламенем объят.

Для меня любовь — бальзам, а разлука — яд.

Уж не его ли, Гулямджана, мысли и чувства описал тот, что жил пять веков тому назад? Не его ли тоску по любимой, не о его ли томлении так вдохновенно поведал миру Навои:

Я люблю тебя безмерно, о любимая моя.

Буду другом самым верным, о хорошая моя.

Есть ли где любовь сильнее, чем моя к тебе любовь?

Не найти такой, наверно, о любимая моя.

Словно любимая уже пришла и ждет его за дувалом, Гулямджан вдруг заторопился. Он поспешно облачился в белый халат, опоясался шелковым платком, втайне вышитом Хаёт, надел чустскую тибетейку, обшитую тесьмой.

Взглянул в зеркало: высокий лоб, под густыми бровями большие черные глаза, прямой нос, короткие усики, темный пушок обрамляет белое тонкое лицо с едва выступающими скулами. Гулямджан, разглядывая себя, внезапно смутился и быстро отвернулся от зеркала...

Высоко засучив штанины, он вышел из комнаты с таким видом, словно собирался вступить в борьбу — кураш. Теперь он походил не на муллу, который только что вдохновенно читал Навои, а на лихого джигита.

Шлепая босыми ногами, он подошел к урючине. Толстая ветвь ее, перекинувшись через забор, распростерлась над владениями миингбаши. Гулямджан с мальчишеской ловкостью вскарабкался на дерево и, затаившись в густой листве, стал осматривать соседский сад. Посередине, меж фруктовых деревьев, убежала вдаль галерея из переплетенных виноградных лоз. Гулямджан внимательно гляделся в каждый уголок. Едва ли она решится прийти сюда, в дальний угол чужого сада. И хотя не было никакой надежды, он еще несколько минут смотрел в сад, потом вздохнув, спустился вниз и побрел к небольшому цветнику. Здесь переливались, играли в причудливых сочетаниях самые разнообразные оттенки, краски. Запах цветов действовал умиротворяюще. Медленно разгуливая, Гулямджан любовался цветами. Недотрога! Как красив этот прелестный цветок... Базилика домашняя, садовая. Аромат ее ни с чем не сравним. Зеленым чаем, что ли, напоена вон та роза? А вот эти — белая, желтая, зеленая, огненная... Среди цветов был нарцисс. Три года делая его Гулямджан, и вот только теперь он расцвел.

Сколько прелестных нежных благоухающих цветов... Нет только того, единственного, по которому тоскует душа...

Гулямджан взял кувшин, стоявший с краю цветника, вымыл ноги и взобрался на суну. Он все еще на что-то смутно надеялся. «Придет ли?»

Он взял дутар.

Я, о увь, избавления от мук не нашел,
Милая есть, но не преданный друг, не нашел.
Где бы услышать мне сердца влюбленного стук, не нашел
Правду искал я — ее даже звук не нашел,
Ах, ничего на земле, кроме горя и мук, не нашел!

Печальный напев звучал все громче и громче.

Сколько их мимо промчалось страдальческих лет!
Видно моим уж не сбыться желаниям, нет,
Горе оставило в сердце отчетливый след.
Мир этот черный! Где стоны несутся в ответ,
Где же свобода? Где счастье? Где радости свет?!

Вдруг к ногам Гулямджана упала связка душистой базилики. Глаза юноши широко раскрылись от удивления. Какое-то мгновение он неподвижно смотрел на цветы, а затем взял их обеими руками, прижал к губам.

— Ты пришла, моя Хаёт!

Он бережно спрятал цветы на груди, потом сорвал нарцисс, напоминавший глаза его любимой. «Как нарцисс единственный в моем цветнике, так и она — единственная в моем сердце», — подумал Гулямджан и, чтобы цветок не помялся, заложил его за тюрбетейку у виска. Затем подбежал к отягощенной плодами урючине, взобрался на нее. Но где же Хаёт?

Гулямджан растерянно посмотрел вокруг. В саду ни души. Может быть, ему все почудилось? Он распахнул на груди халат — пучок базилики был там. А может быть, она спряталась среди виноградных лоз? Не окликнуть ли ее?

— Хаёт! Хаётхон! — тихо позвал Гулямджан.

Ответа не последовало. Но вдруг в саду мингбаша, поблизости от забора, раздался шорох. Увидев мелькнувший из-за ствола яблони краешек атласного платья, Гулямджан чуть не свалился вниз.

— Хаётхон! Милая! Нашел! — закричал он вне себя от радости — и неожиданно смолк.

Из-за яблони появилась неизвестная ему молодая женщина. Ее лицо не выражало ни робости, ни смущения. Она теребила бахрему шелкового платочка, улыбаясь, показывала два ряда ровных зубов.

— Нет, я не Хаёт!

Гулямджан растерялся. Брови и длинные ресницы женщины были окрашены сурьмой. Ее красивые маленькие уши украшали золотые серьги-полумесяцы. Небрежно накинутый шелковый платок был завязан узлом на затылке. Что-то в этой обворожительной красавице показалось Гулямджану знакомым. Улыбка ли, застывшая на

слегка раскрытых губах? Зовущий блеск ее глаз? Или обтянутая атласом стройная фигура?

— Не узнаете?— спросила красавица.

Гулямджан, не слезая с дерева, смущенно пробормотал:

— Как будто узнаю... но...

— Не хочется признаться, правда?

Гулямджан покраснел и окончательно смешался.

— Нет, нет, почему же... Но... я... не могу припомнить...

Незнакомка, морща красивый нос, звонко рассмеялась и, как это делают дети, проскандировала:

Джурахон, ты цветочек мой,
Плод несозревший еще, сырой..

— А-а, Джурахон!— вырвалось у Гулямджана. Словно припомнив что-то неприятное, Гулямджан нахмурился. Затем, давая понять, что события далеких лет были только детской забавой, о которой не стоит вспоминать, он сказал:

— Так ведь сколько лет прошло! Я все позабыл!

— Вот как!— не без грусти отозвалась Джурахон.— Я вас много раз видела, а вот вы за эти девять лет ни разу мной не поинтересовались. А помните, как вы мне кричали: «Моя Джура!».

Гулямджан молчал. Не скрывая раздражения, Джурахон заметила:

— Оказывается, у вас не только память отшибло, вы и языка лишились!

Гулямджан равнодушно слушал упреки.

— Вы очень изменились, поэтому...

— А как же не меняться?! Что же мне век оставаться прежней?

Метнув на юношу обворожительный взгляд, она томно потянулась и, запрокинув голову так, что платок, скользнув по волосам, упал на землю, прошептала: «Ну, посмотрите же на меня. Разве я не красива?»

Гулямджана охватило смятение, закружилась голова. Кровь прихлынула к вискам, в ушах зашумело. Но он быстро опомнился. Красавица же продолжала стоять улыбаясь. Она держала нарцисс, тот самый цветок,

который несколько минут тому назад Гулямджан сорвал для своей Хаёт.

— Это для меня?— спросила Джурахон. Не дождавшись ответа, она воткнула цветок в свои пссиня-черные волосы и спросила:— Красиво?

Достаточно было Гулямджану увидеть цветок у этой чужой ему женщины, как он окончательно овладел собой. Образ той, родной, которой предназначался нарцисс, предстал перед ним. И словно искупая свою вину перед Хаётхон, Гулямджан грубовато ответил:

— Прошло много лет... Пора забыть...

Теперь опешила красавица. Такого равнодушия она не ожидала. По ее расчетам молодой человек должен был бы воспламениться и немедленно прыгнуть с дерева прямо к ней.

— Хоть бы раз навестили меня,— обиделась Джурахон.— Какой вы, право...

Гулямджан, насупившись, сердито заметил:

— Я, кажется, обещания навещать вас не давал.

— Разве обязательно обещать? И разве можно забыть, как мы когда-то вместе играли?

— Мы были детьми,— упрямо возражал Гулямджан.— Мы ничего не знали, кроме игр. Мы не знали, что существуют заботы о хлебе насущном. Мы ничего не знали о любви.

— А я знала и сейчас знаю!— многозначительно произнесла Джурахон.

Гулямджан начинал сердиться. С нескрываемым презрением он ответил:

— Нет, не знаете! Потому что, если бы знали, то не вели бы себя так... развязно...

Джурахон, задетая за живое, отбросила всякое кокетство и неожиданно предстала сварливой торговкой:

— А кто мне запретит? Что я хуже других? Я дочь мингбаши. Эта самая ваща Хаёт,— она презрительно скривила губки,— лучше меня, что ли?!

— Джурахон!

Но выведенная из себя красавица уже не могла сдержаться.

— Чтоб ей сгинуть! Из-за какой-то старой девы вы готовы всю жизнь киснуть, не лучше ли...



— Хватит! — яростно крикнул Гулямджан, забыв, где он находится, забыв, что его могут услышать. Он стал спускаться с дерева. Но тут взбешенная женщина не менее громко воскликнула:

— Стойте! Куда вы?

Гулямджан, не обращая на нее внимания, продолжал спускаться. Это окончательно вывело из себя красавицу. Она угрожающе повысила голос:

— Если уйдете, пеняйте на себя. Вот я сейчас закричу...

Гулямджан замер, а Джурахон, отбежав от дерева поближе к улице, остановилась, нервно и зло обрывая лепестки нарцисса. Злобный и мстительный огонек горел в ее глазах. Надменно, словно торжествующий победитель над поверженным врагом, она процедила:

— Вот вы и послушалисьсь...

Гулямджан смотрел на Джурахон. Она снова преобразилась. Опять она многообещающе улыбнулась, обнажив свои ослепительно-белые зубы и взглянув на грудь юноши, игриво заметила:

— Закройте, она у вас какая-то цыплячья.

Гулямджан покраснел от гнева. Красавица, вдруг изобразив смущенную стыдливость, прикрыла лицо рукавом и отбежала в сторону.

— Ой, не смотрите так, я вас боюсь!

— Джурахон! — произнес юноша, наблюдая за ее игрой. — В своем ли вы уме, что-то я вас не пойму.

Она игриво захохотала. И вдруг, широко раскрыв объятия, потянулась к Гулямджану. Смуглые нежные руки ее с золотыми украшениями обнажились.

— Поймите же, наконец...— произнесла она, не сводя с юноши томных глаз.

Гулямджан снова заволновался. Властное чувство опять овладело им. Но только на мгновение. Незнакомый

с грубой похотью, чуждый грязным помыслам, он сумел побороть себя.

— Опомнитесь, Джурахон! У вас есть муж!

— Игрок! Не нужен он мне! Я хочу быть вашей...—
Снова ее лицо осветилось улыбкой, и она умоляюще прошептала: — Ну? Хотите?

Словно соприкоснувшись с чем-то омерзительным, Гулямджан с отвращением отвернулся и, не сказав ни слова, прыгнул с дерева.

Джурахон на мгновение растерялась, но затем пронзительно закричала вслед:

— Вот как? Ну хорошо, я вам припомню это!

Глава седьмая

ЛОВУШКА

Гулямджан смотрел на когда-то нежные ветви плакучей ивы, похожие на длинные косы Хаётхон. Ветви, чуть было не достигавшие воды, теперь сникли. Ствол тоже был полумертв. «Так и увяла, не достигнув воды...» — подумал Гулямджан и на мгновение сравнил себя с этой сохнувшей ивой.

— О боже!— с горечью шептал он, вспоминая только что происшедшее.— Что это еще за напасть? Много ран нанес ты моему сердцу, и вот теперь — еще одна! Ты зажег в наших душах огонь любви, но для чего? Чтобы испепелить нас в этом огне?

Гулямджан испугался зазвучавшего в молитве незнакомого голоса. До сих пор он был искренен в вере, в послушании, никогда и ни в чем не сомневался, никогда не вопрошал бога так прямо и настойчиво. И вот теперь, когда пятилетнее томительное ожидание стало невыносимым, в душу Гулямджана заполз червь сомнения. Если бог существует, так почему же он не хочет дать покой и счастье двум измученным разлукой людям? Ведь помыслы людей ведомы богу! Так разве не видит он страданий чистых сердец? Или, может быть, он все это видит, но равнодушен. Равнодушен ли? Почему же тогда коварство, подлость, разврат торжествуют? Чего не хватает вон той коварной женщине в образе пери? Отец ее — мингбаши, власть имущий, муж — молодой

бай, владелец обширных земель. Если муж, азартный игрок, сейчас уже не мил ей, то разве пять лет тому назад она об этом не знала? Разве тогда, утерев стыд и совесть, она не утверждала: «Я выбрала Азимджана-ака. Его одного люблю я и буду принадлежать ему—и никому больше». Значит, все это было ложью? Значит, она вышла замуж не по любви, а прельстившись богатством? Почему бог снисходителен к холодным, расчетливым людям, которым и во сне не снится, какой бывает истинная чистая любовь, и почему этот бог глух к страданиям бедняков, которые, любя, тоскуя и мучаясь, никак не могут соединиться!.. Существует ли бог, не самообман ли вера?

Прилетели два воробушка и запрыгали на ветвях черешни, отягощенной зрелыми, почти черными ягодами. Птички играли, гоняясь друг за другом, чирикали. Перелетая с ветки на ветку, они охорашивались, чистили свои маленькие остренькие клювы о веточки. Наблюдая их беззаботную жизнь, Гулямджан с горечью подумал: «Если я менее свободен и нужен, чем эти пичужки, то какой смысл гордиться тем, что я человек?»

— Гулямджан! Эй, мулла Гулям!

Гулямджан обернулся. Его звал эликбаши Сали савук. Как выражался сам Сали савук, он был «почтенного» возраста, хотя ему исполнилось только сорок шесть лет. Если иные люди, достигшие шестидесяти трех лет, гордились тем, что прожили столько, сколько пророк, то Сали савук кичился тем, что он ровесник мингбаши. Но кишлачники, которым от мелких издевок эликбаши не было житья, были твердо уверены, что их блюститель порядка живет на свете не сорок шесть, а сорок шесть тысяч лет, что повадки у него змеиные, характер подлый и что Сали савук, если сам и не шайтан, то, безусловно, сын, воспитанник, или, по меньшей мере, близкий родственник шайтана.

— Что вам угодно?—откликнулся Гулямджан и поспешил к пришедшему. Проходя мимо хауза¹, он споткнулся о распростертые на земле ветки ивы и упал на колени.

¹ Хауз — небольшой искусственный водоем.

— Мулла Гулям! Эй, мулла Гулям!— кричал Сали савук уже из глубины двора, где он стоял у веранды вместе со своим неразлучным другом Джуманом, которого в народе прозвали «тихоней».

Эти два неразлучных друга были как бы узелками на одной веревочке. Если Сали савук был правой рукой мингбаши, то Джуман-тихоня был правой рукой Сали савука. Если Сали савук кичился тем, что является опорой мингбаши, то Джуман-тихоня ревностно подражал Сали савуку. Словом, один из них был фитилем, другой — маслом. Гулямджан, увидев у себя фитиль и масло вместе, невольно встревожился.

Не ожидая конца взаимных приветствий, Джуман просипел:

— Эге, мулла Гулям, коленки-то у вас в глине, уж не совершили ли вы намаз на большой дороге без подстилки?

Сали савук расхохотался.

Гулямджан быстро оглядел себя. И в самом деле, его колени, словно у верблюда, поднявшегося с земли, были в глине. Он отряхнул с колен грязь и промолчал.

— Звали мы вас, звали, а вас все не слышно, мулла!— внушительно, строго нахмутив брови, проговорил Сали савук.— Что это вы там в саду, интересно знать, делали?

Сали савук лукаво подмигнул Гулямджану, а Джуман-тихоня хохотнул.

Вдруг за спиной Гулямджана раздался крик:

— Дод! Помогите!

Гулямджан стремительно обернулся. У забора, отделявшего сад мингбаши от их сада, прикрыв лицо рукавом, стояла Джурахон: ее атласное платье было смято, волосы всклокочены.

— О аллах!— смог только воскликнуть Гулямджан.

Сали савук с подозрительной торопливостью ринулся к Джурахон:

— Вай-вай, племянница, что с тобой? Кто тебя обидел? Скажи, кто?

Джурахон, отвернувшись к забору, принялась усердно тереть глаза и подергивать плечами. Она так размашисто вытирала глаза, так сильно вздрагивала через равные промежутки, что любому человеку за версту

должно быть все понятно: бедная невинная женщина подверглась жестокому оскорблению.

— Вот этот проклятый джигит,— захныкала Джурахон, ткнув пальцем в сторону Гулямджана.— Вот этот проклятый пристал ко мне: «Я вас люблю. Идемте ко мне... или я тут же умру!» Ну и... насильно затащил сюда.

— Затащил?! — взревел Сали савук, схватился за голову и вытаращил глаза.

— Да.

— Есуман! — прошептал Гулямджан.

Сали савук посмотрел на Гулямджана, словно хотел его съесть живым. Затем он обернулся к Джуману.

— Вы слышали, что сказала эта бедная женщина?

Положив левую руку на живот, Джуман-тихоня наклонился вперед, голову свесил набок и произнес:

— Еще бы, таксыр? Такое да не слышать!

— Значит, вы будете свидетелем? — строго спросил Сали савук.

— Еще бы, таксыр, такое дело да мне не быть свидетелем, — покорно ответил Джуман-тихоня.

Гулямджан все еще не мог прийти в себя.

Джурахон, гневно взглянув на него, громко, захлебываясь, заплакала.

— А потом заткнул мне рот платком... Вот смотри-те... всю рубаху на мне изодрал...

— О боже мой! Что же это такое?.. Возможно ли? — озираясь, шептал Гулямджан, ища защиты. Но перед ним, как глухая стена, стояли Сали савук и отвратительный, похожий на ящерицу Джуман-тихоня.

Сали савук грозно подступил к Гулямджану:

— Исчадие ада, осквернитель корана и бога! Для тебя, видно, самое обыкновенное дело обещивать чужих законных жен. Чтоб ты ослеп! Молчи, развратник! Да не будет мне покоя во веки веков, пока на твое поганое тело не обрушится забор...

— Мусульмане! — вырвалось из груди Гулямджана. Для каждого, кто услышал бы этот вопль, стало бы ясно, что этот человек глубоко верит, что истинный му-

¹ Есман — образ коварной старухи из поэмы Навои «Фархад и Ширин».

сульманин не может сделать зла другому, не станет клеветать, лгать, прелободействовать, что он чуток к сиротам и вдовам, беднякам и обездоленным, что он почтителен со стариками, богобоязненен, что не может он приложить руку к несправедливому делу, а для доброго дела не пожалеет и самой жизни... Вот что услышал бы каждый в вопле Гулямджана «мусульмане!». Однако те мусульмане, к которым зывал Гулямджан, и глазом не моргнули.



— Побойтесь бога, мусульмане! Все это клевета, ложь!— задыхаясь говорил Гулямджан.

— Ложь?— взревел Сали савук.— Дочь мингбаши, жсна Азимджанабая, славная Джурахон лжет?.. А мы оба свидетели? Или, может быть, мы тоже лгуны? Кто же праведник? Уж не ты ли?!. А ну-ка! Пошел вперед!

— Да, да! Хватит болтать, поехали!— поддакнул Джуман-тихоня.

— Не виноват я! Ни в чем я не виноват! Свидетель есть у меня,— хрипло бормотал бледный Гулямджан.— У меня есть свидетельсь...

— У преступника не может быть свидетелей, а если и есть, значит он тоже преступник,— решительно заявил Сали савук.

— Видит бог, что я ни в чем не виноват!— произнес Гулямджан.

Но Сали савука не так-то легко было смутить:

— Бог? Явись хоть сам отец бога, и тот не спасет тебя. Да ты что хочешь, чтоб мы тебя связали? Иди вперед по-хорошему.

— Если не хочешь по-плохому,— добавил Джуман-тихоня и, вытащив бечевку, выразительно тряхнул ею.

Гулямджан не хотел, чтоб его вязали. Достаточно и того, что случилось. Он стремительно вышел на улицу. Там, держась за рукоять сабли, уже поджидал его миршаб Миркосим.

Среди цветника стояла, подбоченясь, торжествующая Джурахон...

«ПРАВЯЯ РУКА» МИНГБАШИ

Все, кто следовал за извозчицей пролеткой Фосиха эфенди, остановились на людном перекрестке у конного базара, спешились, а затем неторопливо подошли к развесистому карагачу и уселись на супе вокруг роскошно убранного дастархана. Народ понемногу расходился: хоким не прибыл, незачем было жариться на солнцепеке.

Чайханщик обошел знатных гостей, полил им на руки воду. Кази Гиясиддин, ополаскивая ладони, успел окинуть взглядом дастархан. Там грудой лежали только что вынутые из тандыра ароматные лепешки, персики, урюк, виноград, ломти дынь и прочая снедь. Кази поспешно вытер руки и, усевшись, притянул к себе огромный ломоть дыни.

«Старый черт, глаза как у дохлого теленка, а где что лежит — сразу заметит. Ну и жаден же! Кусище-то сцапал! А подумал ли ты, что перед тем, как запихивать пищу в свое хайло, следовало бы прочитать «бисмилля», прорва ты эдакая?» — подумал сидевший сбоку от него Асад карн.

Пока Асад карн мысленно укорял кази, тот, ничего не подозревая, быстро расправился с дыней и потянулся к персикам, сквозь тонкую золотистую кожуру которых вот-вот, казалось, брызнет сок.

— Ах, ах, ах! Какая чудесная штука! — восхищенно закудахтав кази, поворачивая персик и так и эдак. Затем удивительно ловко вцепился в плод всеми тремя зубами и в мгновение ока выплюнул обглоданную косточку на дастархан.

— Шербет, одно слово — шербет! — расплылся в улыбке кази, причмокивая губами.

Человек, прибывший вместе с Фосихом эфенди, теперь сидел напротив кази Гиясиддина и почему-то улыбался. То ли эта картина показалась ему знакомой и вызвала веселые воспоминания, то ли он внезапно обнаружил свое внешнее сходство с кази. И, действительно, посмотрев на его большую круглую голову, на след от старой болячки на лбу, на сросшиеся густые брови и холодные рыбыи глаза, можно было представить, каким кази Гиясиддин был в молодости.

И если в лице гостя перед сидевшими у дастархана возник во всей своей красе кази таким, каким его видели много лет тому назад, то кази, в свою очередь, представлял собой портрет гостя в будущем. Может быть, именно поэтому спутник Фосиха эфенди, обнажив зубы, улыбнулся кази Гиясиддину.

Гость перевел взгляд на Фосиха эфенди, который вынул из кармана газету, развернул ее и стал просматривать, машинально ошипывая гроздь винограда. Это была «Газета Туркестанского края». Заголовки статей были написаны по-русски. Фосих эфенди, просматривая страницу, внезапно замер. Кожа в том месте, где некогда росли брови, тревожно задвигалась и, наконец, собралась в складки у дужки его зеленых очков.

— Видно, мусульман, в конце концов, обратят в неверных! — мрачно изрек Фосих эфенди.

Кази Гиясиддин, выплюнув косточку, живо заинтересовался:

— Что? Что?

Возмущенный Фосих эфенди все больше распалялся.

— Мало того, что в Оше, Андижане и других городах Ферганской долины открываются эти русско-туземные школы, где детей правоверных мусульман обращают в кяфуров. Мало им этого! Теперь и в священной Бухаре открыли такую же школу! Вот, прочитайте сами! — произнес он, протягивая кази газету. — Пожалуйста! Смотрите.

Но кази не стал смотреть.

— Э, таксыр, куда с моим зрением, дайте имаму домле, пусть он почитает.

Асад кари тоже не взял газеты. Он в жизни не брал в руки газет. И у него нашлась веская причина:

— С великим удовольствием прочитал бы, но, увы, оставил очки дома. Какая жалость!

Между тем, Фосих эфенди гневался все сильнее, все больше распалялся:

— Нет, вы только послушайте! «Чтобы дети населения священной Бухары учились читать и понимать язык России, ноября шестого прошлого года в священной Бухаре открылась русско-туземная школа, где и будет изучаться язык и письменность России».

Фосих эфенди гневно отшвырнул газету. Его толстые бескровные губы задрожали. Асад кари, скорбно качая головой, заметил:

— Э, таксыр мой, даже сюда доносится городской дух. А кого это тревожит? У кого болит душа? Вот Гулям кари, обучавшийся в нашем медресе, собирается снова открыть подобную школу! Что вы на это скажете, таксыр мой!

У Фосиха эфенди на этот счет было свое мнение.

— Школу джадидов¹ открывать необходимо,— ответил Фосих эфенди.— Это совсем другое дело. Не русско-туземные, а школы джадидов нам потому нужны, что там для наших почтенных баев, для баев-торговцов, баев-промышленников и выходцев из нашей среды будут готовиться писари, приказчики, конторщики и другие грамотные люди. Мы, вытеснив еврейских, русских баев и заводчиков, возьмем в свои руки торговлю, фабрики. Вот тогда и расцветет наша нация.

И Гиясиддин и Асад кари были противниками джадидских школ. Они справедливо усматривали в них опасных конкурентов для религиозных школ, где верховодили кази и кари.

— Мы согласны с вами, уважаемый таксыр,— вмешался в разговор Асад кари.— Но школа, которую хочет открыть Гулямджан, ничего общего не имеет с тем, что предлагаете вы. Он снова намерен обучать только детей бедняков и оборванцев, дабы, как он говорит, «открыть им глаза».

— Пока он собирался открывать глаза босякам, мы открыли его собственные,— подал голос мингбаши, который до этого сидел молча, утирая обильный пот на своей жирной шее.— Пришел он как-то ко мне с жалобой, я отослал его в город к хокиму. А господину Фишману мы тихонечко шепнули: «Гоните его в шею». Тот и отослал Гуляма, к кому бы вы думали? — мингбаши едва не задохнулся от распиравшего его смеха.— К самому генерал-гу-бер-на-тору.

Кази Гиясиддин и Асад кари, оценив по достоинству шутку и находчивость мингбаши, тоже рассмеялись, каждый соответственно своему положению и сану.

¹ Джадизм — реформистское буржуазное течение, впоследствии контрреволюционное.

Солнце достигло зенита. Тень, падавшая от густой кроны единственного на гузаре карагача, давала все меньше прохлады. Сидевшие вокруг дастархана все чаще, подобно рыбам, выброшенным из воды, разевали рты, пыхтели, задыхались. Мадумар мингбаши, уже давно сбросивший свой широченный пояс и пышные одежды, сидел изнемогая, обнажив свою густо заросшую грудь, живот, покоившийся на коленях, как вывалившаяся из таза разбухшая квашня. Мингбаши чувствовал себя, подобно жирному барану после долгого перехода в жару. Мальчик при чайхане непрерывно обмахивал его платком.

К мингбаши, низко согнувшись, подошел Сали савук. Хотя он был старшим братом жены мингбаши и его сотрапезником на пирушках, Сали савук никогда не забывал расстояния, отделявшего простого эликбаши от начальника и благодетеля. Вот и сейчас он остановился поодаль, не разгибая спины.

Мингбаши, который сидел пыхтя, словно выдувая жар, исходивший из его нутра, кивнул головой.

— У меня к вам два слова,— сказал Сали савук и так низко согнулся, что казалось, жилы на его шее вот-вот лопнут.

Мингбаши с трудом поднялся. Грузно переваливаясь, подошел к Сали савуку. Сали савук отвел мингбаши в сторону и что-то зашептал. Кази Гиясиддин, жуя сдобную лепешку, наблюдал за мингбаши. Увидев, как изменился в лице додхо, кази даже растерялся. «Что бы могло случиться? — подумал он с испугом.— Неужели в доме мингбаши, где сейчас готовятся к приезду хокима, в казане подгорело масло?..»

Мингбаши, не говоря ни слова, направился к видневшемуся вдаль дому с балаханой и высокими воротами. Уже у самых ворот, разукрашенных искусной резьбой, Сали савук, шедший позади, почтительно выбежал вперед и угодливо открыл калитку.

Мингбаши переступив через высоченный порог, грозно обернулся к Сали савуку.

— Где?

— Мы заперли его, таксыр,— ответил тот робко.

Мингбаши просветлел.

— Вот это хорошо! Теперь у нас попляшет этот соба-

чий кари, да так, что больше не захочет! И, главное, все будет по закону.

— Надо проучить подлеца! Как он сегодня насмехался над ней!

— Нужно сделать вот что,— ответил после долгого раздумья Мадумар и для большей убедительности растопырил два пальца.—Первое — хоть из-под земли найти свидетелей и второе — с разрешения кази осудить преступника. Но, главное — свидетели.

— Есть, есть свидетель,— обрадованно воскликнул Сали савук.— Джуманбай.

— Джуман-тихоня? Превосходно. Так скажите ему: пусть он сейчас же пойдет к Азимбаю и расскажет ему, кто и как хотел обесчестить его жену, как вы поймали этого молодчика и что с ним сделали. Понятно?

— Все понятно, таксыр.

— А теперь позовите кази.

Сали савук бросился вон. Мингбаши торжествующе потирал руки. Предвкушая месть, он испытывал острое нетерпение. Когда, путаясь в полах полосатого халата, прибежал кази, мингбаши сдержанно спросил его.

— Кази домля, как надобно поступить с человеком, который насильничает над чужой женой?

Кази растерялся. Когда Сали Савук незаметно увел мингбаши из чайханы, словно выудив волосок из теста, кази Гиясиддин подумал: «Слава богу, должно быть, масло не подгорело». Он шел, предвкушая жирный плов, а ему вместо плова предложили нечто совсем несъедобное. «Нечего сказать, угощеньице! И с чего это вздумалось ему, хорошо знающему шариат от точки до точки, улавливателю и открывателю всех прелюбодеев, умерщвленных по его приказу под забором, задавать мне такой вопрос, да еще как-то эдак... О хитрая свинья!» Так думал про себя кази, а вслух сказал:

— Если насильник пойман с потерпевшей и если два беспристрастных свидетеля, взяв в руки священный коран, подтвердят показания потерпевшей, то да будет опрокинут на виновного, связанного по рукам и ногам, забор, по меньшей мере, высотой в три аршина.

— Для этого достаточно, чтобы два свидетеля видели насилие своими собственными глазами. Не так ли?

— Да, таксыр.

— А если не видели, но выслушали потерпевшую?

— Такие не могут свидетельствовать, таксыр.

— Ну, а если, скажем, потерпевшая — дочь авторитетного человека, о которой никто не посмеет и подумать, что она может лгать?

Кази Гиясиддин по опыту знал, что вершина дерева без ветра не колеблется, поэтому он довольно скоро почувял суть дела. Почуять-то почуял, но хитрая кошка и по солнышку даром не пройдет! Поэтому, памятуя мудрое изречение, что будет дело слажено, коль по рукам ударено, он на последний вопрос мингбаши простодушно ответил:

— Незыблемы мудрые законы шариата. Перед ними ровно должны склоняться и обвиняемый и обвинитель. Выслушав одну сторону, как не внять другой.

— Да будет так, таксыр,— сухо ответил мингбаши.— Вы можете идти, но только на гузар. Не отлучайтесь от туда.

Кази ушел. А мингбаши, двинувшись мимо строений, вытянувшихся справа от ворот, добрался до дома, где был заперт Гулямджан. Тихонько приблизившись к двери, мингбаши заглянул в щелку. Ничего не видно. Тьма. Но зато слышны голоса. Говорят двое.

— А об этом и не думайте, кари. С божьей помощью все дело прояснится, и вы выйдете чистый, без пятнышка,— доносился чей-то ровный голос.

Мингбаши узнал голос своего батрака Сарымсака и со злобой подумал: «Подлец! Дал я тебе и землю, и воду, и семена, и скотину, а ведь мне больше пользы от одного быка, чем от сотни таких умников. Так подожди же. Не будь я Мадумар, если за взятого у меня бычка не сдеру с тебя семь шкур!»

— Спасибо за слова утешения, Сарымсак-ака. Надеюсь, все будет по-вашему. Я вам все рассказал. В чем же я виноват? Неужели в том, что не послушался дочь мингбаши?..

Мадумар пришел в ярость. Кровь ударила в голову. Он хотел ворваться к Гулямджану, избить его, но вовремя сдержался. «Не позвать ли миршаба, чтобы тот заткнул рот этому паршивцу, а потом добиться от уездных властей ссылки его в Сибирь? Нет! Я сам его допрошу, сам осужу и тут же, сегодня, немедленно, до приезда хокима,

добьюсь приговора к смерти под забором. Я тебе, собачий кари, покажу, как позорить меня перед народом! Покажу тебе, покровитель босяков, как самовольно открывать школу кяфуров! За все расплатишься кровью.

Глава девятая

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Мингбаши поспешно взобрался на веранду, где обычно выслушивал жалобщиков, допрашивал виновных, творил суд и расправу. На душе у него было беспокойно. А вдруг во время допроса нагрянет хоким! Что если он докопается до истины? Мингбаши посмотрел на небо. Солнце было еще высоко. Если верить Фосих эфенди, до приезда господина хокима можно пять-шесть раз сварить плов. А для расправы с Гулямджаном вряд ли потребуется больше времени, чем для приготовления одного казана плова.

Внизу, перед верандой, сложив руки на животе, стояли Джуман-тихоня и Сали савук. Правый глаз Джумана, вспухший и синий, был похож на спелую сливу. Мингбаши поинтересовался, что произошло с его глазом. Тихоня, подобно собаке, что ползает на брюхе, чтобы лизнуть карающую руку своего господина, согнулся и виновато присипел:

— Зять моего таксыра выпил немного лишнего, а в это время я...

— Не проявил должной почтительности.— грозно закричал мингбаши, не дослушав объяснений.— Так ведь, собака ты эдакая?

— Я...я...я...— стал заикаться тихоня.

— Шалопай!— прикрикнул мингбаши. Затем, уставившись на Тихоню своими налитыми кровью глазами, спросил:— Ты помнишь, что тебе втолковал мулла Сали?

— Хорошо помню, таксыр,— оживился Джуман-тихоня.

— На допросе скажешь все так, как наказывал мулла Сали.

— Да будет так, таксыр.

Мингбаши взглянул теперь на Сали савука.

— Скажите миршабу, чтобы привел кари.

Через несколько минут перед мингбаши стоял Гулямджан, томясь неизвестностью, все еще не понимая цели разыгрываемой комедии. Свидетели, Сали савук и Джуман-тихоня, стояли рядом. Мингбаши обмахивался полой халата. Его жирное рыхлое тело распространяло запах пота.

— Ну, кари, рассказывайте, как было дело?— произнес мингбаши тоном беспристрастного судьи.

Гулямджан неприязненно посмотрел на мингбаши.

Мингбаши терпеливо ждал ответа, но Гулямджан молчал.

— Говори! Напакостил, а теперь...— вспылл мингбаши, но тотчас же смолк. Калитка с шумом растворилась. Во двор ввалился высокий босой человек. Нисколько не смущаясь, он громко горланил разухабистую песню. Его чувствская тубетейка была лихо заломлена на затылок, измятый шелковый халат болтался на левом плече. У него были пышные усы, горячие острые глаза, за распхнутым воротом — мускулистая, словно из литой бронзы, грудь. На поясе болтались шелковый платок и сшитые из красновато-желтых кожаных лоскутьев ножны с торчащей оттуда рукоятью из слоновой кости. Пришелец стремительно двинулся вперед. Джуман-тихоня, стоявший рядом с Сали савуком, заметив это, сперва, подобно черепахе, втянул в себя голову, затем схватился за посиневший глаз. Мингбаши, продолжая сидеть, не без робости поглядывал на вошедшего. Сали савук вытянулся и как будто даже похудел.

— Эй, где этот петух? Покажите мне этого петуха Гуляма!— заревел Азим.

«Неужто бог решил погубить меня?— подумал Гулямджан.— Зачем он наслал на меня раньше пери, а сейчас это страшилище?» — и шагнул вперед.

— Я — Гулям!

Страшилище с запекшимися белыми губами взглянуло на Гулямджана, развернуло плечи. Только сейчас мингбаши догадался, что Азимджан пьян. Мингбаши обуял страх. Ведь пьяному море по колено. Он может натворить все что угодно, даже убить. Мингбаши это хорошо знал. Он встал с места и закричал:

— Азим! Опомнись! Что с тобой?

— Спросите об этом у своей любимицы, у своей доченьки! Да!— выпалил Азим и смолк, несколько остыв. Во всяком случае, его поза и жесты стали менее угрожающими. Пошатываясь, он вплотную приблизился к Гулямджану и взглянул ему в глаза пристально, пытливо, словно надеясь найти в них ответ на мучивший его вопрос. Гулямджан не уклонился от взгляда Азима. Он встретил его ясным взором человека с открытой душой и чистой совестью. Несколько долгих секунд продолжался этот поединок. Наконец Азим заморгал своими налитыми кровью глазами, отвел их в сторону и хрипло бросил мингбаши:

— А ну, таксыр, допрашивайте, мы послушаем.

У Мадумара отлегло от сердца. За несколько только что прошедших мгновений перед ним совершенно отчетливо возникла следующая картина: сперва прирезывается Гулямджан, потом выпускаются кишки у него, мингбаши Мадумара, а затем из дома выволакивается его дочь Джурахон, от которой единым махом отсекается голова... Увидев, что ничего этого не случится, по крайней мере сейчас, мингбаши почувствовал огромное облегчение. Его лицо, с обвислыми тряпичными щеками и мешочками под глазами, расплылось в улыбке.

— Добро пожаловать, сыночек!— произнес он, радостно улыбаясь. Затем, обратившись к миршабу, закричал:— Что вылупил глаза, балда! Подай Азимжану курси¹. Сядь, сынок!

Но Азимджан не пожелал сесть. Не принял он и приглашения мингбаши сесть рядом с ним, отказался пойти в ичкари. Немало повидавший на своем веку, знакомый с повадками воров и головорезов, искушенный в пороках, Азим пытался установить истину не по словам, а по глазам.

— А ну, говори,— обратился к Гулямджану мингбаши. — Что ты там натворил?

Гулямджан поднял голову, взглянул на мингбаши и без тени растерянности, со сдержанным гневом начал:

— О том, кто и что натворил, вам лучше всего могла бы рассказать ваша родная дочь, а потом еще вот эти...— Гулямджан кивнул головой в сторону побледневших Са-

¹ Курси — стул.

ли савука и Джумана-тихони. Вам следовало бы спросить у этих двух подлецов, мингбаши! И если вы действительно добиваетесь правды и справедливости, то вам нужно вызвать сюда вашу дочь!.. Я требую, чтобы она была допрошена в присутствии своего мужа!

Последние слова Гулямджан произнес, взглянув на Азимджана. Он понимал, что из всех здесь присутствующих, кроме него, один только Азим добивается правды, только он один может его поддержать, тем более что молодой бай — сорви голова и игрок — был по-своему честен и справедлив. Гулямджан не ошибся.

— А что? Он дело говорит. Позови жену! — закричал Азим тоном, не допускающим возражений.

Мингбаши не намеревался вызвать Джурахон, поэтому требование зятя его обескуражило. Закусив губу, он подумал: «Почему я с ней не поговорил, почему не научил ее? А может быть, Сали савук научил?» Мингбаши исподлобья взглянул на эликбаша. Тот, улыбнувшись, чуть кивнул головой. Значит все в порядке.

— Веди! — приказал мингбаши. Сали савук удалился. Проводив его взглядом, мингбаши заметил пришедших с улицы людей.

— Вам что? — прикрикнул он на них. — Обезьянья выставка здесь, что ли? Марш на улицу! Миршаб, гони их!

Додхо вконец расстроился. Все шло не так, как он рассчитывал. Он хотел покончить с Гулямджаном тихо, без шума, незаметно скрутить его покрепче, а если и не удастся крепко, то, по крайней мере, так повести дело, чтобы оно не дошло до ушей господина хокима. И вот весь план мингбаши рушился. То ли Джуман-тихоня не придержал язык, то ли расходившийся Азим, проходя через гузар, все разболтал. Так или иначе, но история с дочерью стала известна всему кишлаку. К тому же Азим явился в таком состоянии, что перечить ему было опасно, и мингбаши был вынужден позвать дочь. Наконец, Гулямджан оказался не так прост, как можно было думать, и, со своей стороны, тоже изрядно перепутал карты додхо.

«Эх, оплошал! — пронеслось в голове мингбаши. — Не сейчас надо было затевать эту канитель. Теперь вместо того, чтобы уничтожить гнойник, еще больше разбе-

редил рану. Погорячился. Надо покончить с этим делом, пока не прибыл хоким...»

Из ичкари вышли две женщины и стали несколько поодаль от мужчин. Одна из них была в старенькой простенькой парандже, другая — в новой бархатной. Мингбаши приказал той, что была в нарядной парандже.

— Ну, рассказывай, что случилось.

Женщина вместо ответа повернула закрытое чачваном лицо к Азиму и тихонько кашлянула.

Мингбаши заворочал белками глаз, прикрикнул на дочь:

— Говори, что знаешь! Что он сделал! — кивнул он на Гулямджана.

Джурахон продолжала выжидающе посматривать на своего мужа.

Глаза Азима все больше краснели.

— Говори! — взревел он бешено.

Джурахон от грозного окрика Азима чуть не упала. Она сжалась, колени ее задрожали. Она хорошо знала своего мужа. В таком состоянии, как сейчас, ему не трудно выхватить нож. Она лихорадочно раздумывала: «Как успокоить этого разъяренного быка?» Чувствуя себя между двух огней, она не знала, что делать. И вот в это время к ней подспела помощь.

— Рассказывай, племянница, что он говорил, как соблазнял. Не стесняйся! — сказал дядя Сали савук. Его слова успокоили, указали ей путь. Она овладела собой и заговорила:

— Он мне сказал: «Я вас люблю. Если не пойдете ко мне, то я умру».

Азим метнул на Гулямджана взгляд, полный злобы, но, увидев перед собой лицо с выражением отвращения и брезгливости, обратил свой взгляд на тестя. Тот, словно придавленный тяжестью, сидел молча, опустив голову. Затем резко поднял ее и нарочито строго произнес:

— Понятно!.. Дальше?

Из-за чачвана раздался слабый растерянный голос, в котором слышалось искреннее раскаяние, робость, смирение:

— Я перешла через забор...

Азим взорвался, глаза его засверкали.

— Ах ты, сука, все-таки перешла!

Джурахон окончательно растерялась, кивнула головой и заикаясь ответила:

— А откуда я знала!

В это время появился Фосих эфенди. Взобравшись на айван, он скромно пристроился рядом с мингбаши. Тот очень обрадовался подоспевшей помощи, но ничем своей радости не выдал. Вся эта история уже, по-видимому, была известна Фосих эфенди, так как лицо его не выражало удивления. Сидя на ватном одеяле, он внимательно следил за всем происходящим.

— А потом что было?— спросил мингбаши.

Джурахон, кивнув в сторону Джумана-тихони, произнесла:

— Потом дядя Джуман все видел. Пусть он и расскажет.

Но тут вмешался Фосих эфенди.

— Разумеется, уважаемая ханум, разумеется!— произнес он, вставая с места.— Пусть он и расскажет. Я полагаю, господа, что тех мук и оскорблений, которые пришлось претерпеть этой женщине от жестокого развратного босяка, больше чем достаточно. Нет необходимости посыпать солью ее свежие раны.— Затем он обратился к Джуману, который стоял, вобрав шею в плечи и прикрывая ладонью посиневший глаз.— Говорите, эфенди, прошу вас!

Джуман-тихоня молчал.

— Говори, скотина!— выразился мингбаши на более понятном Джуману языке.

Тихоня сперва взглянул на Азима, на его полуаршинный нож и заметно дрогнул. Затем он окинул взглядом Гулямджана и заговорил:

— Когда мы вошли, Гулямджан запер в худжру бедную жену Азимджана и, значит... ее обижал. Мы схватили его и вот, значит, пригнали сюда. А что было до этого, мне ничего не известно. А если я вру, то вот стоит Салибай, спросите его...

Негодование, переполнявшее Гулямджана, казалось, вот-вот прорвется наружу. Но молодой человек справился с собой. Спокойно и вежливо он попросил у мингбаши позволить ему задать свидетелю вопрос. Мингбаши не позволил.

— Хватит! Свидетельство твое принято,— обратился он к Джуману.

Тихоня, обрадованный, отошел в сторону. Мингбаши кивком дал понять, что он готов выслушать второго свидетеля — Сали савука. Показания второго свидетеля, как и первого, были ясны и немногословны:

— Мы слышали крики о помощи племянницы. Прибежали и увидели: кари обижал слабенькую Джурахон. Мы схватили его и пригнали сюда. А что было до этого, мне неизвестно. А если я вру, то вот стоит Джуманбай, спросите его...

Азим выругался нехорошими словами и неожиданно так стремительно рванулся к Джуману, что тот попятился.

— А что ты раньше мне сказал?

— Раньше... раньше... — Тихоня, как всегда в минуты испуга, стал заикаться.

Азим продолжал наступать.

— Подлая твоя душа! Разве не ты говорил: «Гулям кари и ваша жена влюблены... Мы поймали его на супе, где он лежал с вашей женой!» А теперь говоришь, что обижал в худжре, а?!

Тихоня не смел пикнуть. Уличенный во лжи, он растерянно поглядывал на Сали савука. Но и тот стоял растерянный. На помощь им поспешил Фосих эфенди.

— Уважаемый Азим эфенди, человеку свойственно ошибаться. Что удивительного в том, если вместо «обижал слабенькую в худжре», человек говорит: «мы поймали его на супе, где он лежал с вашей женой»? Какая разница, худжра или супа! — певучим голосом вопрошал Фосих эфенди.

Азим, презрительно взглянув на Фосиха эфенди, небрежно обронил:

— Не вмешивайся, собачье отродье!

Фосих эфенди тотчас же втянул голову в свои узкие худые плечи, а Азим одним прыжком очутился около Тихони и вцепился пальцами в его горло. Тот захрипел, тщетно стараясь высвободиться. Мингбаши вскочил с места. Джурахон, вбежав на айван, в страхе прильнула к отцу. Миршаб поспешно схватился за рукоять сабли. Сали савук повис на руках, сжавших горло Тихони, ли-

цо которого постепенно зеленело, а глаза все больше лезли на лоб.

Мингбаши, стоя на айване, кричал:

— Прекратить, Азим, слышишь? Отпусти!

Но расsvирепевший Азим и глазом не повел. У Джумана-тихони посинели уши. Его руки бессильно болтались. Казалось, еще секунда — и он испустит дух. Сали савук пришел в ужас. Он пытался было оттолкнуть расsvирепевшего байваччу¹, но тот так ловко отбрыкнулся, что Сали савук, согнувшись пополам, грохнулся на землю, да так и остался лежать. Во всей этой кутерьме только Гулямджан сохранил присутствие духа. Он быстро подошел к Азиму, положил руку ему на плечо.

Азимджан на мгновение повернул искаженное злобой лицо:

— Азимбай! Змее надобно давить не хвост, а голову! — резко и решительно произнес Гулямджан и тотчас же ощутил прилив радости. Не от того, что враг разоблачен, не от того, что он, подлый, схвачен за горло. Нет. Пелена, застилавшая глаза, окончательно спала. Гулямджан вспомнил слова русской учительницы Ольги Петровны, к которой его после разгрома школы, повел Кудрат. Гулямджан, кипя негодованием, сказал, что отомстит Гиясиддину. Учительница в ответ рассмеялась: «И тогда в Карабулаке воцарится справедливость, а вы откроете свою школу? Сомневаюсь, мой друг. Корень всех несчастий, которые обрушиваются на народ, в деспотизме. Что там кази? Кончик змеиного хвоста. А у змеи надо разmozжить голову. Дело это нелегкое. Здесь без борьбы, упорной, жестокой, не обойтись. Но в борьбе, как известно, бывают не только удачи. Поэтому, нанося удар, не успокаивайся, получив удар — не унывай». Вспомнив слова учительницы, Гулямджан представил себе ее так ясно, словно она была рядом.

Азим, разумеется, не мог понять всего того, что крылось за словами Гулямджана, но сила, с какой были произнесены они, подействовала на молодого бая. Его перекосившееся от ярости лицо дрогнуло, налитый звериной злобой взгляд смягчился.

— Отпустите. Не он виноват.

¹ Байваччи — молодой бай.

Пальцы Азима медленно разжались. Голова Джуманатихони бессильно повисла.

Гулямджан вернулся на свое место. Свидетели лежали на земле, один — обхватив свой живот, другой — без чувств, раскинув руки в стороны. Все молчали. Мингбаши, не зная с чего начать, сидел, потупив глаза. Затем, тяжело подняв голову, он посмотрел на Гулямджана. Тот понял, что пришел его черед.

Огромным усилием воли юноша подавил обуревавшее его чувство гнева. Он сосредоточился на одной мысли: сейчас ему предстоит сразиться с ложью, подлостью, коварством. Он должен разбить заговор бесчестных, вывести на чистую воду клеветников. Это его обязанность, его долг...

— Если свидетели в силах говорить, я хотел бы задать им несколько вопросов,— произнес Гулямджан сдержанно.

Мингбаши приказал миршабу:

— Подними обоих!

С помощью миршаба свидетели, кряхтя и охая, поднялись. И так как Тихоня все еще не пришел в себя и вряд ли что-нибудь сообщал, Гулямджан обратился к Сали савуку.

— Элликбаши, когда вы пришли ко мне и стали меня звать, разве я не тотчас же прибежал к вам?

Сали савук, тупо уставившись на Гулямджана, ответил:

— Нет, мы поймали и вывели вас из худжры.

— Джуман, скажите,— продолжал Гулямджан,— почему вы зашли ко мне с веревкой?

Джуман-тихоня, услышав обращенный к нему вопрос, еще больше застонал. Вместо него хотел сказать Сали савук, но Гулямджан остановил его жестом.

— Просто так,— ответил Тихоня голосом умирающего.

— Кто вам дал веревку?

— Мулла Сали.

— Довольно. Спасибо. Мулла Сали, откуда вы могли знать, что ваша племянница у меня, что я обижаю ее, и как вы смогли так быстро примчаться ей на помощь? Ведь вы до этого находились у мингбаши, не так ли?

— Так,— неожиданно для самого себя согласился Сали савук.

— С чего ж это вы вдруг так заторопились ко мне?

— Так я же хотел повидать вас...— просипел Сали савук.

— Зачем? Соскучились по мне?

Все захохотали. Тихоня, вытаращив глаза, посмотрел на своего дружка. Гулямджан был серьезен.

— В такой суматошный день, когда весь кишлак с самого рассвета с минуты на минуту ожидал приезда хокима и в доме вашего зятя работы было по горло, вы, взяв с собой Джумана с веревкой, да еще миршаба с саблей, решили навестить меня, справиться о моем здоровье, не так ли?

Сали савук не знал, что ответить. Азим шагнул было к другому свидетелю, чтобы разделаться с ним, как с первым, но стоявший рядом Гулямджан схватил его за руку. Спокойствие юноши, его честность внушали Азиму все большее уважение. Азим уже начинал сожалеть, что до сих пор не знал Гулямджана, и с явной симпатией то и дело посматривал на него. Разоблачив лжесвидетелей, Гулямджан продолжал:

— Нетрудно догадаться, что в комедии, которая разыгрывается здесь, участвуют не два, а три, или даже четыре человека. Почему Джура пошша¹ уклонилась от ответа на вопрос додхо «Что было потом»? Почему Джура пошша, уклонившись от ответа, смутилась? Не потому ли Джура пошша не ответила на вопрос, что не знала, как ей отвечать, чтобы не перепутать кем-то составленный план, в который входила и трогательная забота о моем здоровье и заготовленная на всякий случай веревка? Из ответа свидетелей достаточно ясно, кто прав и кто виноват. И, несмотря на это, я расскажу здесь все, что случилось. Я обязан защищать свою честь. Я не хочу быть орудием обмана. Ведь Джура пошша не только балованная и своенравная дочь мингбаши Мадумара, но и жена Азимбая, человека, как я думаю, честного и совестливого...

Гулямджан подробно рассказал обо всем, что произошло между ним и Джурахон и все, что последовало за этим.

¹ Пошша — госпожа,

— Моя вина,— закончил Гулямджан свой рассказ,— заключается в том, что я не захотел и не смог принять участие в постыдном, бесчестном, грязном деле. Я ни в чем ни перед кем не виноват. Но в этом деле есть бесчестные люди. И ради справедливости нужно было бы...

Тут с места вскочил Фосих эфенди и замахал руками: — Пойдите, эфенди, пойдите, не так все это! Нет, нет, нет! Все это совсем не так, как вы хотите изобразить. Не внемлет ухо пустым словам. Да, эфенди! Вы представьте нам свидетелей. Есть у вас свидетели?

Джурахон, получив неожиданную поддержку от Фосиха эфенди, заметно воспрянула духом. Посматривая на мужа, она заговорила, всхлипывая.

— Все он лжет. Я после расскажу вам, Азим-ака. Это он клеветает на меня, чтобы себя обелить. У меня есть свидетели. А у него нет. Если он прав, то почему не представит свидетеля? Пусть представит!

— Есть у тебя свидетель? — обратился мингбаши к Гулямджану.

У Гулямджана не было свидетелей. Свободный от многих предрассудков и суеверий своего времени, он все еще сохранил веру в бога. Поэтому он произнес:

— Бог мой свидетель, другого у меня нет!

— Есть! Я! Я — свидетель!

Этот возглас, гневный и торжествующий, вызвал всеобщее смятение. Ничего не мог понять и Гулямджан.

— Кто это? — спросил опешивший мингбаши.

— Ваша служанка! — донеслось из-под старенькой паранджи.

— Ханум... а, женщина! — пролепетал Фосих эфенди, должно быть, сочтя почтительное обращение «ханум» неуместным по отношению к служанке. Он поторопился исправить свою оплошность. — Женщина, да будет тебе известно, что свидетельство служанки не имеет цены. А поэтому тебе надлежит отойти в сторонку.

— Почему? — вскричала вне себя от гнева Каромат. — Разве служанка не человек? Кто же я? Нет! Вы не заткнете мне рот. Я знаю правду и буду говорить! Разве не грех молчать, если ты все знаешь? Вы можете не слушать меня. Я все равно буду говорить... Пусть знают все: мингбаши, Азимбай...

Пока Каромат с такой гневной отвагой, никого не стесняясь, защищала свое право свидетельствовать, мингбаши сообразил, наконец, что перед ним та самая грязная заносчивая служанка, которая отказалась надеть платье, предложенное его женой. «Увы! — подумал, сокрушаясь, мингбаши, — не заметил я, что самая большая трещина прямо перед моими ногами, в моем собственном доме». Его размышления были прерваны громовым голосом Азимбая.

— Говори! Я буду слушать!

Служанка начала свидетельствовать:

— Сегодня утром, подонв коров и замесив тесто, я принялась поливать цветы. В это время я случайно заметила, как Джура пошша, взяв за руку дочь Мадамин-ходжа Хаётхон, повела ее в цветник и там начала ее о чем-то спрашивать. О чем, я не знаю. Не мое дело подслушивать чужие разговоры. Но я видела, как они, продолжая разговаривать, уселись на деревянные нары, что стоят в цветнике. Тут Джура пошша сняла со своей шеи жемчужное ожерелье и как будто нечаянно разорвала его. Жемчужины рассыпались. «Нить сгнила, — сказала Джура пошша и добавила: — Соберите жемчуг, душенька, и нанижите мне его на новую нитку». А жемчужин-то было ух, как много! Измучаешься, пока их соберешь. Бедняжка Хаётхон уселась, скрутила нитку, принялась нанизывать. А Джура пошша направилась в сад. Должно быть, винограду ей захотелось. Когда я кончила поливать, меня приставили к Салибаю помочь зарезать барана. Помогла. Раз я работница, значит должна выполнять все, что требуют. Разделяю я барана как полагается, как вдруг подходит Джура пошша, белая, как стена, без единой кровинки в лице. Отозвала она в сторону своего дядюшку Салибая и долго ему говорила что-то. А что, я не знаю, не прислушивалась. Какое мне дело! А только вижу я: элликбаши подходит, снимает с зарезанного барана веревку и куда-то быстро уходит. А я себе делаю свое дело. Разделала барана и иду в конец сада к забору собирать урюк, как мне приказала Бегиаим. И вот, значит, собираю я себе урюк. Вдруг появляется Джурахон с маленькой лестничкой. Есть у них такая. Прислонила к забору лестницу, поднимается. Низко. Не достает. Ведь забор высокий. Тогда Джура пошша приставила лестницу очень круто и меня



позвала, чтобы я придержала лестницу. Подержала я. Джура пошла кое-как взобралась. С трудом, но взобралась и давай разглядывать сад Гулямджанов. Держу я лестницу и думаю: зачем она все это делает? В это время из дворика Гулямджана доносится голос Салибая: «Гулямджан! Эй, мулла Гулям!» Очень я удивилась: ведь только что он был у мингбаши, а теперь вон куда его занесло! Теперь дальше. Как только Джура пошла услышала голос дядюшки, сразу же она мне приказывает: «Поддай вот это». «Что за штука «это»?» — подумала я, посмотрела — вижу у забора веревку. «Возьми аркан, по-



дай мне конец», — велела она. Я исполнила. Обвязала она канат вокруг тояса, а другой конец сует мне. Потом она расплела косы, разворошила их, измазала грязью лицо, зубами разорвала подол. Я совсем опешила, стою ни жива ни мертва. «Сума она пошла, что ли?» — думаю я. Потом мне приказывает: «Держи покрепче конец, смотри, не выпусти его! Я пе-

релезу на ту сторону, а ты потихонечку отпускаяй». Я послушалась ее. А потом... Хоть стыдно мне, но признаюсь. После того, как спустила я ее, взобралась я сама на лестницу. Очень уж мне интересно было. Смотрю я—и вдруг вижу такое, что чуть не упала с лестницы: Джура пошша щиплет себе грудь, шею, сама наставляет себе синяки. Затем кусает себе губы до крови, опять ворошит свои волосы и направляется в ичкари Гулямджанов. Все это я видела своими собственными глазами. Идет себе Джура пошша — и вдруг как заголосит: «Вай-дод! Спасите меня от насильника!» Я видела, видела все! Затем послышался голос эликбаши и вот этого нечестивца — Тихони. Не успела бы я выпить и полчайника чаю, как эти два паразита, чтоб они себе шеи переломали, увели невинного беднягу. А Джура пошша вернулась к себе...

Когда глупая комедия, задуманная и разыгранная Джурахан при участии Сали савука, поддержанная Джуманом-тихоней, поставленная с участием миршаба Миркосима, приближалась к свему естественному финалу, неожиданное событие помешало опуститься занавесу. По всему кишлаку разнесся торжественный рев кармаев и сурнаев.

— Прибыл хоким!

Глава десятая

Х О К И М

Когда грузный мингбаши неуклюжей рысдой прибежал на гузар, хоким уже слез с лошади и принимал хлеб-соль. Мингбаши стоя в тени террасы, видел один только затылок хокима. Мадумар хотел было пройти вперед, но стража хокима не пустила его. «Я — мингбаши», — пытался он им втолковать, но верные стражи, преисполненные достоинства, даже не обратили на него внимания. Мингбаши начал сердиться. Не на себя, разумеется, и уж, конечно, не на стражников. (О, это было бы небезопасно!) Он рассердился на миршаба Миркосима, так некстати исчезнувшего куда-то. Мингбаши обвел глазами толпу — миршаба нигде не было видно. Зато он увидел нечто такое, отчего его залихорадило. В этот вы-

сокоторжественный момент амуниция и атрибуты власти мингбаши Мадумара находились совсем не там, где им надлежало быть: ремень, сабля, чалма болтались забытые на сучьях карагача по ту сторону террасы, сейчас недосыгаемые для их владельца. Мингбаши охватила бессильная ярость. С самого утра одни неудачи! «О аллах! Сколько еще напастей ты на сегодня для меня приготовил?»

Зато счастливы были враги мингбаши. Вот стоят они торжествующие. В середине — кази, налево от него — Садык амин с приготовленным в дар хокиму парчовым халатом, направо — молодой, да из ранних, богатеи Хаким. Он тоже с халатом. Гиясиддин держит в своих черных, как обгорелые жерди, руках громадный поднос, искусно уставленный всевозможными яствами, поверх которых, на шелковом платке, лежит щепоть соли. А сам хоким, обратив лицо к переводчику-узбеку, крепышу с аккуратно подстриженной бородкой и черными пышными усами, едва заметно кивнул и тотчас же поднос кази был милостиво принят. Сразу же после этого Садык амин и богатеи Хаким одновременно шагнули вперед и, выражая каждый по-своему свои верноподданнические чувства, накинули на плечи его сиятельства драгоценные тяжелые халаты. Кази, словно только и ждал этого, произнес благодарственную молитву.

— Императору России, царю Латвии, государю эстонцев, курляндцев и финнов, повелителю народа России и иноверцев, столпу силы и справедливости Николаю второму, а также их светлейшей семье мы, грешные и покорные рабы, просим ниспослать силу могучую, лета долгие, а врагам-недрузам их — смерть и погибель. Да будет благословенна их жизнь, священна их власть. Аминь! — Кази провел ладонями по своим щекам. Его дрожащий голос был подхвачен только свитой. Народ же молчал. Это взбесило Фосиха эфенди. Он стоял позади свиты, ближе всех к толпе кишлачников, энергично жестикулируя, и шипел: «Повторяйте «аминь!», улыбайтесь!» Но никто не слушал его, и Фосих эфенди, глядя на хокима, за весь народ один приятно улыбался. Он заметил рядом с собой кузнеца Кудрата и поспешил отойти от него. Вот тут-то взгляд его упал на дерево, где болтались одежда и доспехи мингбаши. «Где же он

сам?» — подумал Фосих эфенди и стал шарить глазами. Но мингбаши нигде не было. «Ах, бедняга, оставил здесь все и теперь не может выйти из дому», — подумал Фосих эфенди и, собрав одежду в охапку, пустился было к дому додох. Все это видел Мадумар и, как только Фосих эфенди появился у другого края террасы, был остановлен...

После церемониальной встречи, благодарственной молитвы и обильного дароподношения высокого гостя пригласили на устланную одеялами и пуховыми подушками супу. Когда хоким, наконец, уселся, он соизволил осведомиться о мингбаши, безбожно коверкая слова на вемецкий лад:

— Герр Тешабай, а где есть государь слуга?

Богач Тешабай, который о чем-то горячо и нервно говорил с Фосих эфенди, услышав вопрос хокима, быстро обернулся и указал на Мадумара, который успев облачиться в свои доспехи, шел к ним ослепительный и важный.

По мере приближения к супе, шаги мингбаши становились чаще, мельче, а сам он все ниже сгибался. Хоким, полулежа на шелковых одеялах, протянул руку с нанизанными на пальцы драгоценными кольцами. «Госудайрь слуга», изогнувшись в поклоне, приблизил руку хокима к своим глазам. Затем, как бы смущаясь и расклевываясь, произнес:

— Задержали важные дела... Их сиятельство простит, что не мы сами помогли им сойти с коня.

Хоким, должно быть, ничего не понял из этого бормотания. Он вопросительно посмотрел на пышноусого узбека, который перевел слова и, не обращая внимания больше на мингбаши, ни на его извинения, протянул руку к подносу с фисташками.

Мингбаши Мадумар, столь холодно встреченный, внутренне затрепетал. «Худо мне. Очень худо! Недаром же я опасался этого пройдохи и нытика Садыка! Воспользовался моим отсутствием, изобразил гостеприимного хозяина и вот теперь хихикает и ластится к хокиму».

Пока невеселые думы одолевали местного владыку, рядом с ним Тешабай — зять мингбаши и приближенный хокима — распекал Фосиха эфенди.

— Я послал вас вперед как старательного малого,

а вы оказались беспечным ослом! Что я вам говорил? Что надо было сделать! А у вас что получилось? Люди одеты в рвань, смотрят голками. Надо приветствовать хокима, а очи нос горят. Не говорил ли я вам, чтоб их приделали! Почему не устлали дорогу коврами, где цветы? Эх! Человека надо было мне послать, а не осла!

Фосих эфенди молчал, а Тешабай продолжал неистовствовать:

— Прибыл хоким, а вас нет. И этого старого шелудивого барана.— (мингбаши сразу же догадался о ком идет речь),— тоже нет! Что за срам? А? Эх вы, шкуры!..

Бурное словопроизношение Тешабая удерживало мингбаши в сторонке. Не смея приблизиться к доверенной особе хокима, Мадумар с тресогой думал: «Не сносить мне головы. Не быть мне больше мингбаши».

Тешабай, словно имел глаза на затылке, быстро обернулся и, не здороваясь, спросил:

— Слышали?

Мингбаши не сразу сообразил, в чем дело, но на всякий случай ответил:

— Слышали.

— А раз слышали, почему не вышли?— нервно спросил Тешабай.

— Нас известили, что хоким прибудет, когда солнце... Когда... вечерняя... когда ветерок...

— В голове у вас ветерок,— зло сказал Тешабай и направился к хокиму. Но злоключения мингбаши на этом не кончились. Только Тешабай успел отойти, как Фосих эфенди тоже вздумал отчитать дождю:

— Не говорил ли я вам? Не предупреждал? А вы что? Не послушали! Опозорили!

Но этой птицы мингбаши не очень боялся.

— Разорваться мне, что ли? А где были вы те бездельники? Да и вы тоже хороши!— огрызнулся он.

Хоким, обменявшись с Тешабаем каким-то замечанием, внезапно встал и, бряцая шпорами, зашагал по шелковым одеялам. У самого края супы он остановился. Тешабай, сняв башмаки, влез на супу и встал рядом с ним. Переводчик узбек встал с другой стороны, Гиясиддин аглям, молодой бай Хакимджан, Садык амин, Асад кари и вся остальная свита, почтительно сложив руки на животе, расположились неподалеку от хокима. По-

сдадь от супы, под тенью тутовника, на верандах, у лавок, вытянувшихся вдоль глухой стены мечети: стояли кишлачники. В смутном предчувствии грядущей бури, настороженные и недоверчивые, они холодно и хмуро разглядывали хокима, его рыбыи глаза, блестящий козырек форменной фуражки с двуглавым орлом, золотые эполеты, похожие на нарядный ослиный потник, свешивавшиеся с плеч аксельбанты, сшитый из заморской дорогой ткани яркий мундир, торчащую из блестящих нощен саблю с рукоятью, усыпанной драгоценными камнями.

Царила глубокая тишина.

Прошла минута. Первое самое сильное впечатление стало ослабевать. В толпе зашептались. Кое-кто, не скрывая усмешки, стал переглядываться с соседом. Но были и восхищенные взгляды и разинутые рты...

Не один хоким, дородный и высокий, привлекал внимание окружающих. Не оставался незамеченным и Тешабай. Стройный, чернобровый и черноглазый, аккуратно подстриженный, в сюртуке из китайской чесучи, с искусно намотанной ослепительно белой чалмой, в мягких ичигах, он резко отличался от свежеиспеченной знати и жирных неповоротливых купцов.

Когда молчание стало тягостным, хоким крикнул:

— Мингбаши!

— Да, таксыр! — отозвался Мадумар, представ перед вельможные очи. Он замер с почтительно сложенными на животе руками и умильной улыбкой на широко расплывшемся лице.

Хоким через переводчика сурово спросил:

— Все ли у вас в порядке?

— Под вашим мудрым правлением и благодаря всевышнему, у нас все благоденствует.

— Как налоги, сборы?

Вопрос хокима заставил мингбаши задуматься. Он почувствовал себя меж двух огней. Скажет: «Есть недоимки», последует вопрос: «Почему не взимал?» Скажешь: «Нет должников», потребуют: «Покажи документы». И так нехорошо и эдак плохо. Но, рассудив, что на спине народа выезжать и безопаснее и выгоднее, он ответил:

— Есть должники, таксыр.

Хоким, словно он только такого ответа и ждал, сразу же извергнул целый фонтан бранных слов, среди которых были и немецкие.

Этот прусский барон, сын баварского коннозаводчика, приученный к мысли, что Херсон, Николаев — это «Германия у Черного моря», попав в Россию Николая второго, чувствовал себя как в родовом имении своей прабабушки. И хотя он поедал хлеб русского мужика и кое-как изъяснялся по-русски, но под сенью российского императора правил одним из уездов Туркестана по-прусски:

— Я вас всех в Сибири сгною, свиньи,— кричал он.— Всех, кто не платит налоги, сжирает царский хлеб. Накажу, как собак. К черту!

Затем он обернулся к мингбаши.

— А ты куда глядел?

Мингбаши задрожал, казалось, он лишился речи.

— Говори!— грозно крикнул хоким.

Наконец, мингбаши, заикаясь, не смея поднять глаз, заговорил:

— Таскыр, правду сказать, недоимщиков много. Ну одного накажешь, другого накажешь, третьего... Э, таксыр, вон они все, взгляните сами! Разве с ними совладаешь?

— Так значит, сил не хватило?— вздернул брови хоким, а затем, обернувшись, крикнул:— Есаул!

Подбежал есаул, звеня шпорами. Придерживая рукой саблю, он, казалось, готов был выхватить ее и тотчас же пустить в ход. Выслушав хокима, есаул звонко стукнул каблуками и отчеканил:

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

После его слов всем показалось, что усатый исполнительный есаул немедленно отрубит мингбаши голову. Очевидно, так подумал и сам мингбаши. Он втянул голову в плечи и попятился назад. Но ворон ворону глаз не выклюет.

Хоким, не обращая внимания на мингбаши, приказал есаулу:

— Выстроить солдат!

Есаул еще раз отчеканил: «Слушаюсь, ваше сиятельство!», отдал честь, звякнул шпорами, круто повернулся и скомандовал:

— Стройся!

Мгновенно появились двадцать пять солдат с винтовками в руках и саблями на боку. Солдаты остановились около суфы. По команде есаула, они повернулись лицом к толпе и взяли ружья наизготовку. Народ, придя в движение, качнулся, заголовоался.

Хоким, кивнув на вооруженных солдат, обратился к мингбаши:

— Вот — сила! Ну, так кто же покушается на казну царя? Отвечай.

Наконец-то настал час показать свою власть всем этим баламутам, не уважающим закона. Мингбаши начал перечислять недоимщиков.

Он никого не пощадил, никого не скрыл. Он назвал всех, вплоть до Хасана суфи и Матковула. Долго перечислял мингбаши недоимщиков и, наконец, закончил:

— Вот они, эти мошенники, покушающиеся на казну его величества. Мы вверяем их вашей воле...

Рыжие усы хокима дрогнули, нахмуренные брови сошлись на переносице, глаза остановились. Сквозь стиснутые зубы он произнес:

— Бунтовщики!.. Недоимки внести сегодня же или... я прикажу вас расстрелять, а дома ваши спалить!

На площади воцарилась зловещая тишина. Затем из толпы, опираясь на посох, вышел вперед Хасан суфи. Его всегда светлое, улыбочивое лицо сейчас было нахмурено. Твердо и решительно шел он навстречу направленным на толпу винтовкам и остановился на виду у солдат.

— Убить нас, поджечь наши дома — дело не трудное, — спокойно произнес Хасан суфи, помолчал и, вдруг подняв посох, с ожесточением ткнул его в землю. — Хоким! Этот мир — древний мир! Видали мы и кровь и огонь! Да! Этим нас не удивить и не возьмешь! Налоги, сборы, деньги, деньги и деньги! Где их взять дехканину? Где? Земли нет! Воды нет!..

Хоким не дал старику продолжить. Окинув толпу взглядом, он крикнул:

— Пусть недоимщики выйдут вперед!

Через несколько мгновений почти все, заполнявшие гусар, переместились в свободный полукруг и примкнули к Хасану суфи.

Как палач, привыкший, не моргнув глазом, сечь головы, хоким бесстрастно произнес:

— Если не расплатитесь, сейчас же расстреляю!

Всколыхнувшаяся толпа загудела:

— Стреляй! Лучше сразу умереть, чем постепенно подыхать.

— Вшами, что ли, расплатимся?

— Земли нет, работы нет. Чем нам расплатиться?

— Три года гибнем без воды!

Хоким снова крикнул:

— Расплатитесь?

— Нет!— послышалось из толпы.

— Буду считать до трех,— предупредил хоким.— Если и после этого услышу «нет» — пеняйте на себя! Есаул!

— Слушаю, ваше сиятельство!

Народ стоял в напряженном ожидании. Откуда-то из гущи людей протиснулись вперед Гулямджан, кузнец Кудрат, Заман, Барат-палван и Матковул. На площади воцарилась зловещая тишина. Каждый переводил свой пылающий ненавистью взгляд со смертоносных ружей на хокима. Лица солдат побледнели. Словно стыдясь этих оборванных, бедных, но мужественных людей, солдаты отводили взгляд куда-то в сторону. Как удар бича, прозвучал над площадью голос хокима:

— Раз!..

— Два!..

Не успел хоким скомандовать «три», как раздался мощный голос Кудрата:

— Стойте, друзья! В кого будете стрелять? В братьев, у которых другой язык, но одна с вами душа? Разве вы не обездолены, как и эти бедняки? Не стреляйте!.

Так и осталось неизвестным, чем окончилось бы обращение Кудрата к солдатам, если бы в тот самый момент не произошло нечто совершенно удивительное и неожиданное. Прибывший вместе с хокимом зять мингбаши Тешабай, известный всем богач и ростовщик, вдруг выбежал вперед, стал между солдатами и народом. Обратив к хокиму поднятые вверх руки, он заговорил:

— Ваше сиятельство! Господни хоким! Умоляю вас, простите недоимщиков! Ведь это мои земляки! Все не-

доимки уплачу я. Мне хотелось бы помочь этим несчастным беднякам, помочь им провести воду на заброшенную высохшую землю. Умоляю вас, ваше сиятельство, позвольте мне помочь этим бедным людям.

Хоким, казалось, был не очень удивлен неожиданным вмешательством Тешабая. Не раздумывая, он дал команду:

— Отставить!

Есаул повторил за ним:

— Отставить!

Солдаты приставили ружья к ноге. Замеревший народ теперь пришел в движение. Люди, готовые к самому худшему, облегченно вздохнули.

Слух о земле и воде вселил в них какую-то надежду, но одновременно и смутную тревогу. Ведь все хорошо знали, что для Тешабая нет ничего дороже копейки. Если бы кто-нибудь сказал, что завтра наступит конец света, то этому поверили бы больше, чем словам Тешабая, известного своей беспримерной жадностью. Но сейчас, когда Тешабай так открыто и смело перед всем миром встал на защиту своих земляков и сам просил хокима разрешить ему помочь им, народ, простодушный и доверчивый, так возликовал, что даже искушенный и проницательный Кудрат заколебался. С минуту он стоял растерянный, не веря своим ушам, а потом все больше стал поддаваться всеобщей радости. Он, Кудрат, посвятивший себя борьбе за счастье, сейчас невольно поверил в милость богача. И хотя он не смог вспомнить, чтобы в прошлом еще какой-нибудь бай проявил бы такое же бескорыстие и великодушие, он все же подумал: «Да разве бай не способен на щедрость и милосердие только потому, что он бай? Разве среди богачей не могут быть исключения? Правда, Тешабай — городской торговец, купец, но ведь он не порвал связи и с кишлаком. Ведь он имеет в Карабулаке около ста десятин земли, огромный сад и усадьбу, примыкающие к гузару, но... постой. Его земли ведь тоже нуждаются в воде...»

Так раздумывая, Кудрат скрылся в толпе.

Радовался сейчас и Фосих эфенди. По его собственным словам, он испытывал горделивую радость за Тешабая — опору и благодетеля народа. Среди гула толпы изредка раздавался и его визгливый возглас: «Пусть жи-

вет Тешабай эфенди! Да здравствует цвет нашей нации— Тешабай эфенди!»

Но что стало с мингбаши? Он даже позеленел. Виданное ли дело, чтобы сан мингбаши оказался в таком пренебрежении и даже презрении?

Действительно, вид мингбаши был сейчас так жалок, что мог вызвать только сострадание или смех: его внушительная фигура, всегда гордо вызывавшаяся над супой, сейчас не привлекала ничьего внимания и как будто даже уменьшилась. Блестящее облачение мингбаши, всегда внушавшее трепет, теперь казалось, состояло из ненужных побрякушек и пестрых лоскутков, которые нацепляют на чучело.

А кази Гиясиддин! Выражение сладостного умиления не сходило с его лица. «Ах, как все хорошо! Как все прекрасно!»— казалось, хотел он сказать своим смехом, напомиравшим кашель старого козла. Смеясь, он широко разевал рот, при этом три уцелевших зуба торчали из его пустого рта и словно похвалялись: «А мы все еще целы!»

Среди всеобщего торжества вряд ли кто заметил, как скрестились взгляды хокима и Тешабая. И уж, во всяком случае, никто не мог бы сказать, что означала та едва заметная искорка, которая мелькнула в их глазах...

Хоким обернулся к гудевшему народу и поднял руку. Все стихло.

— Вы обязаны своим спасением Тешабая!— торжественно произнес он и, обернувшись к Тешабая, продолжал:— Изложите ваши условия.

Все с надеждой и нетерпением ждали, что скажет Тешабай. И снова тот удивил собравшихся:

— Никаких условий я не ставлю, господин хоким,— начал он.— Я только хочу помочь моим землякам. Видит бог, у меня нет никакой корысти! Кто сколько задолжал государству, пусть скажет — я уплачу. Это первое. Теперь второе: андижанское землетрясение принесло людям несчастье. Многие лишились воды. Верно я говорю?

Народ шумно и дружно подтвердил: «Верно», «Так!».

Кто да все утихомирились, Тешабай продолжил:

— Мое самое заветное желание провести воду через гору сюда, на наши земли. Если его сиятельство разрешит, дело только будет за вами, люди. Все расходы по

сооружению канала я беру на себя. Деньги, рабочий скот, инструменты — все это дам я. От вас требуется только труд. Ведь хлопок производят две ладони. Не так ли?

Народ снова горячо подтвердил: «Так. Верно! Конечно!»

— Так вот, если вы согласны, то я готов. Ну, а если не согласны, что ж, воля ваша, я на вас не в обиде и вы на меня не обижайтесь, ибо сами знаете, один в поле не воин.

В это время над площадью разнесся и заглушил все остальные звуки густой рожочущий голос. Люди обернулись. Говорил благообразный высокий сухой старик, с пышной седой бородой — дед Алим.

— Можете положиться на нас, бай!— сказал он.— Не бывало еще случая, чтобы народ подвел, обманул кого-нибудь. Правда, народ обманывали многие! Вода прежде всего нужна дехканну! Рыть арыки, каналы, проводить воду— мы умеем. Все это делается вот этим,— и старик несколько раз хлопнул рукой по своей груди.— Добейтесь разрешения, бай, а там уж положитесь на нас. Мы просверлим гору и пригоним воды Таджик-сая! Бай сказал: «Никаких условий не ставлю, помогу бескорыстно», верно ли это? Не вымотает ли он нам потом душу? Платите, мол, за воду, за землю, за то, за се!

— Не бойтесь! — прервал говорившего Тешабай. — Ведь вода нужна не только вам, но и мне. Так не будем же тянуть. Договоримся о главном! Пригоним воду или нет?

— Пригоним!— дружно ответили все.

Тешабай широко улыбнулся:

— Хвала вам! Вот это дело!

Когда гул стих, Гулямджан, подавшись вперед, готовился говорить. Мингбаши, увидев его, встревожился: «Опять оплошал! Мне бы его запереть... И этот миршаб тоже поспешил за мной! Сейчас начнет жаловаться хокиму. Опозорит он меня». Затем, словно между ним и Гулямджаном ничего не произошло, мингбаши заискивающе улыбнулся:

— Мулла Гулям, дружище, каково ваше мнение?

Но Гулямджан, даже не взглянув на мингбаши, обратился к Тешабаю:

— Вы не ставите нам никаких условий, а мы, не зная условий, к работе не приступим!— резко произнес он. Все уставились на Гулямджана, который, тщательно подбирая слова, продолжал:— А наше условие такое: когда вода будет проведена и земля оживет, безземельные и малоземельные бедняки не должны остаться ни с чем! Мы боимся, что после окончания работ появятся непрошенные хозяева и насильно займут срощенные нами земли. Плохо тогда будет. Народ терпелив, но и терпению бывает предел. Обманутый народ может крепко обидеть обидчика. Чтобы избежать этого, чтоб не раскаяться потом, договоримся обо всем сейчас.

Слова Гулямджана понравились простым людям, но свите хокима пришлось не по душе. Тешабай кисло улыбнулся, покачал головой и многозначительно взглянул на хокима. Правитель, поймав взгляд бая, перевел глаза на Гулямджана и сразу же узнал его.

— Э-э, старый знакомый! Я думал ты интересуешься только школой. А ты, оказывается, и за народ болеешь! Значит, ты хочешь народ защищать, а нас обижать? Есаул! Взять его!

Заман, схватив Гулямджана за руку, втянул его в толпу. Со всех сторон раздались возгласы возмущения. Нарастающее недовольство привело Тешабая в замешательство. Он бросился к есаулу, преградил ему дорогу и обратился к хокиму:

— Ваше превосходительство, простите его неразумного, молод он, горяч.

Разгневанный хоким постепенно смягчился и, наконец, взмахом руки вернул есаула на место.

Когда волнение улеглось, кто-то робко спросил:

— Ну, а как все-таки с землей — дадут ее нам?

Хоким вздернул жиденькие бровки, мельком переглянулся с Тешабаем и изрек:

— Тех безземельных, которые будут проводить воду, наделить землей!

Тешабай, широко улыбнувшись, поклонился хокиму:

— Со всей душой! — Затем, обернувшись к толпе, продолжал:— Теперь надо собрать аксакалов, миршабов, эликбаши и посоветоваться, когда начинать работы, откуда проводить воду. Не так ли, мингбаши?— вспомнил он, наконец, тестя.

Мингбаши, занятый своими невеселыми мыслями, обрадовался, что о нем вспомнили, и поспешно отозвался: «Конечно!» На душе у него скребли кошки: дело было обдуманно и состряпано без него. Но больше всего мингбаши терзало не уязвленное самолюбие, не равнодушие хокима, не обидно-пренебрежительное отношение зятя. Мучила неопределенность. Не явился ли Тешабай в образе покровителя и кормильца народа для того, чтобы занять его, Мадумара, место? Мингбаши терялся в догадках, тяжело вздыхал. Тешабай же, в отличие от мингбаши, был весел. Пошептавшись о чем-то с хокимом, он с радушной улыбкой обратился к людям, стоявшим на солнце:

— О, да вы совсем изжарились. А ну, проходите в тень!

Когда все затененное пространство заполнилось людьми, Тешабай сказал:

— Сегодня вечером мы все почтим нашего дорогого гостя веселым празднеством.

И снова приятная весть обрадовала людей, совсем недавно стоявших перед устремленными на них ружьями.

Глава одиннадцатая

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Жара уже несколько спала, но духота и зной все еще были невыносимы. В оцепенении замерли деревья, не было ветерка, способного поколебать даже паутину. И так каждый день. Иссущены арыки, запорошена пылью листва. Небо затянуто серым туманом, словно пронесшийся над Карабулаком ураган оставил висеть облако пыли. Неприглядно, тошно.

И в это-то время, когда все живое укрылось в тени, по улице, нестерпимо накаленной солнцем, быстро шел Матковул. Каждый, кто увидел бы, как он спешит, несомненно предположил бы, что у него дома в казане уже давно жарится кусок бараньего сала, который вот-вот может пригореть.

Матковул стремительно прошел через большую, как вход в пещеру, дыру в заборе, где некогда была калит-

ка. Миновал маленький, с пятачок, без деревца и кустика, двор, он направился к хибарке, односторчатая прогнившая дверь которой была раскрыта настежь. Определить возраст хибарки вряд ли смогли бы и сами владельцы, но по забору, как по заплатанной одежде, по крыше, обожавшей свое прогнившее камышовое нутро, было видно, что домику уже немало годков. Матковул перешагнув порог темной хибарки и взволнованным голосом позвал:

— Мать! Мать! Ты здесь?

Полное имя жены Матковула — матери девяти детей — было Салтанат-биби, но и это простое имя казалось слишком пышным для женщины, погрязшей в беспросветной горькой нужде. Ее называли попросту — Салтанбу...

Салтанбу, вертя свое кустарное допотопное веретено сидела на старой шкуре в полутемном помещении. Ниши в хибарке были пусты, потолок черен от сажи и копоти, а стены не оштукатурены. Ни сундука, ни одеял, ни подушек. От скрипа и жужжания веретена Салтанбу не сразу расслышала взволнованный голос мужа.

— Жена! Мать! Знаешь, какие дела? — бросился он к Салтанбу.

Возбужденный голос мужа, его восторженный вид чуть не до смерти напугал женщину.

— Горе мне! Что случилось?— воскликнула она, полагая, что мингбаши, как обещал, ссылает мужа в Сибирь.

— Ну и дела!

— Да что случилось, говорите же?— умоляла Салтанбу, сажая на колени истощенного ребенка с тоненькими ножками и большим животом, тотчас же припавшего к ее груди.

— Великое дело!— снова как-то неопределенно и многозначительно произнес Матковул. Это была его обычная манера сообщать приятные новости. Чтобы продлить удовольствие и насладиться эффектом, он всегда вот так тянул, выражался туманно, высокопарно, заставляя себя упрасивать.

— Да скажите вы, наконец!— чуть не закричала Салтанбу, исчерпав все терпение.

— Дела лучше не надо!.. Во-первых, дом у нас никто не отберет.



— Неужели? Вот счастье!

— Но это только во-первых. А теперь, во-вторых, в Сибирь меня никто не сошлет.

— Слава богу!

Никакими другими словами не смогла бы она выразить большей радости, большего счастья. Шутка ли сказать! Ведь муж сообщил ей что и он, и она, и все их дети, стоявшие на краю пропасти, куда их вот-вот должны были низвергнуть, спасены. Салтамбу так обрадовалась, что воскликнула чересчур громко, совершенно позабыв о своей тринадцатилетней больной дочурке.

Но лежащая в углу девочка уже перестала стонать, с трудом подняла головку и увидела нечто совершенно необычное: оживленную мать и отца с широкой, до ушей, улыбкой. Радость, охватившая Матковулу и Салтамбу, казалось, осветила хибарку, но так только казалось. Радость, заглянувшая в хибарку, не смогла скрыть страшной нищеты живущих здесь горемык. Эта нищета преждевременно старила детей, лишала их счастья, надежды, здоровья. Одни заболели рахитом или сжигались туберкулезом, другие, спасаясь от лютого голода, уходили из дому к чужим людям в подпаски, на побегушки... Все сглодала, вытянула, иссушила жестокая бедность. Зимой она мучила стужей, летом — зноем. И никто не мог сказать, когда же, наконец, несчастья оставят этих обнищенных судьбой людей...

Больная девочка, глядя на родителей, сама расцвела улыбкой, хотя никак не могла понять причину столь редкой в этом доме радости. «Наверно, отец принес с базара сдобные лепешки»,— решила девочка и простонала:

— Мама, отец лепешки принес? Дайте мне кусочек...

— Откуда быть лепешкам, миленькая! Отец принес весть, хорошую весть.

Но хорошей вестью голода не утолишь, и девочка уронила на подушку голову, глаза ее померкли.

Матковул, не пропустив ни одной подробности, рассказал все, что произошло на гузаре: как хоким приказал стрелять в недоимщиков, как заступившийся Тешабай

вызволит их, как он обещал внести в казну долги всех бедняков — все, все рассказал Матковул и закончил:

— Решили провести воду в кишлак, и нам дадут земли — так велел сам хоким! Не буду я больше ночным сторожем, теперь и мы станем хозяевами. Засеем много пшеницы, джугары, фасоли, дынь, арбузов.

Матковул заклебывался от восторга. Улыбалась Салтанбу. Радовалась и больная девочка, представляя себе душистые теплые лепешки. Все ожили, словно вот уже сегодня их темная хибарка наполнится зерном, пищей, словно уже сегодня в их казане закипит шурпа, жирная, ароматная.

— Папа, а хлопок тоже посеем?

— Почему ты, доченька, о хлопке спрашиваешь? — удивился Матковул.

— Одеял у нас нет, — прошептала неподвижно лежащая девочка.

— А-а, вот оно что!.. Конечно, посеем. Обязательно посеем хлопок, моя беленькая, — успокоил девочку отец. — Кто же, как не мы, должен сеять хлопок. Какой же ты дехкань, если не сеешь хлопок. Хлопок обязательно посеем. А ты будешь собирать, и мама твоя, и братишки, и сестренки — все будем собирать. Потом сошьем одеяла, большие и маленькие. Хорошо? А там посеем пшеницу, испечем теплые румяные лепешки, приготовим лагман, маньы, самсу...

Матковул припоминал все эти редкостные кушанья для того, чтобы порадовать свою дочь. Но перечисляя эти диковинные блюда, он так возбудил свой аппетит, что язык его стал заплетаться. С трудом произнеся «самса», он так и не упомянул про плов — это излюбленное блюдо.

Чувство, переживаемое Матковулом, мог бы понять только тот, кто так же, как и он, терпел лишения, бедность и голод. Кто так же, как и он, с обливающимся кровью сердцем изо дня в день наблюдал, как болеют и угасают дети. Ведь если в доме Матковула дневной свет сменяется ночной тьмой, а летний зной — зимней стужей, то бедность, жестокая, страшная, никогда не покидает его. Но кто же виноват в этом? Не хозяин ли дома? Или, может быть, его жена? Не в том ли Салтанбу виновата, что всегда голодная, она только и делает, что

бесконечно чинит свои лохмотья, своих детей, обстирывает богачей и выгребает за ними грязь, часами сидит за веретеном, выхаживает больных детей, мучаясь их болезнями, страдая их болью? Или, может быть, повинны дети уже хотя бы тем, что родились, не спросясь, от рождения несчастные, дети без детства, не подозревающие о существовании игрушек, лишённые школ, отгороженные от знаний? Может быть, они виноваты?

Но разве Матковул может считать себя виноватым, если в каждодневной отчаянной борьбе за существование своей семьи он напрягает до предела силы! И разве в Карабулаке только одна эта семья обездолена? Не потому ли деды называли кишлак Карабулаком, то есть Черный родник, что в нем испокон века родится нищета и голод? Разве семья соседа Матковула, Хасан суфи со своими пятью детьми живут лучше? А другой сосед — Самандар? Разве не голод и нужда выгнали его из кишлака и превратили в вечног скитальца в поисках хлеба насущного для своей голодной семьи? Хасан суфи, лёд Алим, Заман. Разве сосчитаешь всех несчастных, всех обездоленных?..

Правда, Матковул, подобно многим своим землякам, не уходил в поисках хлеба в далекие города и кишлаки. Не уходил потому, что быстро уразумел простую истину — «петухи везде одинаково кричат». В самом деле: если в тех, других местах, люди живут сытно, в тепле и довольстве, а работы там хватит на всех, то разве все бедняки Карабулака уже давным-давно не перекочевали бы в те благословенные края вместе со всеми своими семьями и скорбом? И разве бедный люд забредал бы в нищий Карабулак в поисках работы, вместо того, чтобы спешить в те райские места... Видно, во всех кишлаках и во всех городах горемык полным-полно, а Матковул — только маленькая капля в этом огромном море нужды и страданий.

Матковул, как и его отец, родился в бедности, да всю свою жизнь так и прожил, хотя отчаянно боролся с бедностью. Эту борьбу он начал еще до женитьбы на Салтанатхон, которая была на два года старше его. Как у каждого любящего мужа и семьянина, у него было заветное желание: выбиться из нужды. Он не жалел своих молодых неистраченных еще сил на обработку десятины

землицы, доставшейся молодой Салтанатхон, или по-теперешнему Салтанбу, в наследство от отца. Он надеялся создать себе жизнь со своим собственным маленьким солнцем, маленьким хозяйством. Осуществление своей мечты он видел в будущих урожаях.

Двадцать три года назад до описываемых событий Матковул в какие-нибудь четыре дня мощными ударами своего кетменя разрыхлил землю. Когда земля была готова, Матковул засеял полдесятины пшеницы и полдесятины хлопка. Урожай того и другого был на редкость изобильным. И нищий Матковул, сын нищего Мадраима, с великой радостью перетащил урожай пшеницы в дом, а хлопок продал баю. Помнится, как он явился к Салтанатхон с подарками и блестящими звонкими целковыми за поясом... В казане жарилось мясо... Вероятно, это и были самые светлые мгновения в жизни Матковула. Они остались в его памяти как самые счастливые прожитые дни. В тот год Матковул справил себе и жене одежду, купил необходимый скраб. Матковул и зимой не знал покоя. Он смастерил соху и деревянную борону. Заняв денег в счет будущего урожая у Латифджанбая, купил лошадь. Он прямо из кожи лез, чтобы лучше обработать землю, получить урожай повыше. Но, как говорится, собака достанет бедняка и на горбу верблюда. Была ранняя весна. Однажды утром, еще до восхода солнца, Матковул отправился в хлев и увидел там свою лошадь с непомерно вздутым животом, с покрытыми пеной губами и застывшим мутным взглядом. Матковул чуть не заплакал от отчаяния и горя. Если бы он хоть успел ее зарезать... Лошадь издохла... Но, оказывается, не только это испытание готовила ему судьба. Лишившись лошади, он вышел в поле, словно с подрезанными крыльями. И хотя еще не пришло время, он взялся за кетмень. Он взмахивал им с такой свирепой яростью, как будто кетмень или лежащая перед ним покорная земля были повинны в гибели лошади, в том, что рушились и гибли мечты Матковула. Когда солнце было в зените, Матковул почувствовал боль в правом боку. Но он не обратил на это внимания и продолжал все так же яростно работать. К вечеру Матковул уже не мог поднять рук и едва доплелся домой. Всю ночь ныл и горел бок. Правая рука едва шевелилась. Под мышкой появился огромный чирей.

Несмотря на это, Матковул и на другой день вышел в поле. Но одной рукой много ли наработаешь? После этого Матковул лежал десять дней не в силах шевельнуться.

Время посевных работ проходило, а Матковул никак не мог излечиться от все новых парывов и чирьев. Когда Матковул окончательно убедился, что работать не может, он, посоветовавшись с Салтанбу, отдал землю в пользование одному из своих друзей. Поздно засеянные пшеница и хлопок, несмотря на все усилия Матковула, уродились плохо, и вырученные деньги даже не покрыли долгов. Так с первых же шагов самостоятельной жизни Матковул по уши залез в долги и уже больше никогда вылезть из них не мог. Затем пошли дети. Каждый из них приносил новые заботы, новые трудности.

У бая занять, что в болоте завязнуть. Конец один! Едва вытащишь из болота одну ногу, как вязнет другая, начнешь вытаскивать ее, глядишь, застряла первая. Вот такое случилось и с Матковулом. Не успел он вернуть деньги, занятые для покупки лошади, как появились новые долги, а эти потянули за собой другие. В конце концов долги, словно железными тисками так сжали его, что он вынужден был отдать землю. Но и это не избавило его от долгов. Наконец пришел день, когда он превратился в чайрикера — издольщика Латифджанбая. Теперь Латифджанбай водил его, словно бычка на веревочке. Бедный Матковул работал без передышки круглый год и с урожая получал только одну четвертую часть. Но и эта четвертая часть не принадлежала ему целиком... Одна десятая часть отходила мечети — налог ушр, потом подушная подать — фитыр. Как не дать имаму? Можно ли обойти мираба? А налог государству на строительство мостов, дорог, за воду, за то, за се, за пятое-шестое и еще черт знает за что... И все с одной жалкой четверти бедного чайрикера! Остается только вопить, да и то без всякой пользы. Вот и попробуй в таком положении прокормить девять человек детей. Попробуй-ка побаловать жену ситчиком, себя — новой тубетейкой! Ухитрись-ка после этого хоть изредка положить в свой кипящий казан кусок мяса или масла... Подобные испытания может выдержать только человек, который безнадежно погряз в бедности, задавлен под-

негольным трудом, жестокой нуждой, человек с помутившимся от беспросветной жизни взором.

Жизнь чайрикера Матковула, ухудшавшаяся из года в год, была окончательно разрушена памятным анджанским землетрясением. Эта страшная катастрофа лишила кишлак воды, а Матковула, как и многих других — работы. Теперь он был свободен от всего. Он мог идти куда угодно и добывать пропитание как угодно... Сперва он в разных местах, у разных людей батрачил. Наконец с помощью таких же, как он, бедняков Матковул получил должность ночного сторожа и за три года работы ничего, кроме долгов, не нажил.

Судьба Салтанбу не отличалась от судьбы Матковула и всех остальных бедняков. Салтанбу в большой нужде растила девятерых детей и, подобно другим женщинам, была обречена на жизнь замкнутую, беспросветную. Она была проста и доверчива, считала, что эта качества присущи каждому человеку. Если кто-нибудь вздумал бы ей сказать: «Вон там, у базара, продырявилось небо!» она искренне поверила бы.

Она без памяти любила своих детей. И если иные многолетние женщины, вконец измученные, иногда кричали на своих детей «чтоб бог прибрал вас, окаянных», то Салтанбу это казалось невыносимым. Порою ей на ум приходили слова упрека, но только в свой адрес. Случалось, что кого-нибудь из ее детей обижал байвачча, и тогда она горевала до слез. «Такова уж наша судьбина, дитя мое. Явились мы на свет, чтобы били и ругали нас», — утешала она обиженного, еще более расстраиваясь и плача.

Салтанбу иногда посещала свадьбы или другие какие-нибудь торжества, но, глядя на яства, она вспоминала своих голодных детей. Когда бай звали ее стирать, а пришедшему ее навестить ребенку бросали, как шенку, корку, ее слезы смешивались с мыльной пеной. И уже никогда более она не переступала порога этого дома.

Вот и сегодня кичливая жена мингбаши позвала ее помочь приготовиться к встрече хокима. Салтанбу уже почти согласилась, но вдруг до нее донеслись слова Беггаим: «Пусть не приводит с собой своих щенят», и Салтанбу не пошла. Много в жизни было у нее отнято, но никто не мог отнять ее безмерной любви к детям. И

не любовь ли делала эту кроткую добрую женщину сильной и стойкой в горе и бесконечно терпеливой в монотонном изнурительном труде? И когда, гонимые нуждой и голодом, четверо ее любимых детей, четыре куска ее любящего сердца, покинули родное гнездо, чтобы пойти в услужение к людям, разве опять-таки не та же любовь неделями, месяцами исторгала из ее глаз горькие, неутешные слезы? Словно жар-пламень, это прозрачное, как родник, скрытое под лохмотьями человеческого сердце не способны ни увидеть, ни оценить все те, кто прикрывает свои черные сердца позолотой, серебром, шелками, бархатами, пудрой, сурьмой. Чтобы узнать сердце Салтанбу, надо обладать таким же чистым сердцем!..

— Мать!— вне себя от радости произнес Матковул.— А что если я достану немного муки, и мы разожжем под казаном огонек?

— Если бы вам удалось достать, отец! — Кивнув на больную дочь, Салтанбу добавила:— Бедное дитя с утра просит поесть.

Матковул был счастлив. Быть сегодня огоньку под казаном! Хотя он еще не знал, что будет вариться в нем и будет ли вообще что-нибудь вариться, он радовался так, словно уже наступило то блаженное время, когда будет жариться и аппетитно шипеть мясо. Он взял с колен жены рахитичного мальчика и расцеловал его бескровное, худенькое, как у старичка, лицо. Играя с сынишкой, он и сам забавлялся, как ребенок.

— Ну, брат, теперь все пойдет по-другому,— говорил он.— Дела лучше быть не могут. Быть огоньку под нашим казаном! Ты тоже будешь сегодня кушать! Будешь есть, палван. Будешь, а? И сестра Лобархон будет кушать, и все мы. Сегодня у нас большой праздник...

Глава двенадцатая

ДОБРЫЙ БАИ

Матковул вышел на улицу и остановился в раздумье: куда пойти, к кому обратиться? Его восторженное настроение стало постепенно исчезать. Запустив пальцы

под заплатанную тюбетейку, он почесал затылок, затем направился в сторону гузара.

Гузар, как в казане, жарился под июльским солнцем. В чайхане, обмахиваясь грязным платком, сидел подручный чайханщика. Матковул, шлепая босыми ногами, пошел к базару. Здесь он надеялся достать в долг или за какую-нибудь работу немного муки. Но, когда он проходил мимо настержь открытых ворот мингбаши, на его пути возникла неожиданная опасность: изнутри двора ему наперерез шел миршаб. Он был еще далеко, и поэтому, надеясь уйти незамеченным, Матковул ускорил шаг. Но не успел он пройти и десяти шагов, как вслед ему раздалось:

— Эй!

Матковул остановился. Миршаб был сильно не в духе: брови насулены, лицо сумрачно. У Матковула засосало под ложечкой. «А вдруг мингбаши доложил хокиму о моем поведении на гузаре и теперь...» Это действительно было бы ужасно. У Матковула даже потемнело в глазах.

— Поди сюда! — закричал миршаб, словно перед ним был не взрослый человек, а мальчишка.

Матковул приблизился к миршабу. Сердце его учащенно билось. Миршаб кивнул на широкий двор мингбаши:

— Войди. Работа есть.

Матковул вошел в политый двор. Хоким, Тешабай, кази Гиясиддин и другие гости, обмахиваясь, сидели на сури¹ в густой тени ветвистого карагача. Неподалеку солдаты поили лошадей. Все это почему-то испугало Матковула. Он пошел было обратно, но в это время из дома показался Фосих эфенди. Увидев растерянного Матковула, он поманил его пальцем.

— Что вы смотрите, мой эфен... — начал было он, но осекся. Фосих эфенди и на этот раз нашел выражение «мой эфенди» не одобряющим при обращении с людьми, одетыми подобно Матковулу. Поэтому он, не закончив фразы, сразу же на ходу исправил свою оплошность. — Что ты пялишь глаза, лентяй! Поди, помогай солдатам таскать воду из колодца!

¹ Сури — широкая деревянная кровать.

Матковул поспешил к колодцу. Он взял из рук одного солдата ведро, привязанное к толстому аркану.

Колодец находился неподалеку от сурри. Высокий гость, полулежа, курил сигару. Остальные, храня почтительное молчание, сидели, подогнув ноги. Мингбаши то исчезал в ичкари, то снова появлялся. Он явно был чем-то встревожен. Когда Матковул опорожнил второе ведро, из ичкари с дастарханом появился Сали савук. Фосих эфенди, взяв дастархан, накрыл им сурри. Слуги вынесли блюда с яствами. Фосих эфенди разложил их на дастархане, скромно отошел в сторону и сложил руки на животе. Мингбаши, усевшись на краешек сурри, стал упрашивать гостей отведать угощение. Гиясиддин, как всегда, не заставил себя долго ждать. Смакуя ягоды черного тутовника, он взглянул на Тешабая, многозначительно покачал головой и заговорил. Слушали его все, но поняли его лишь очень немногие. Обычно, когда к знатоку шариата Гиясиддину агляму кто-нибудь обращался, пусть даже с житейским вопросом, ученый богослов, демонстрируя свою образованность, уснащал свой ответ таким количеством арабских и персидских слов и изречений, что он становился непонятным даже для улемов и кази. Не изменил Гиясиддин своему обычаю и сейчас.

Тешабай, не поняв обращенных к нему слов, недолго посмотрел на кази. Мингбаши, язвительно улыбувшись, произнес:

— Что с вами, таксыр? Уж не клюнула ли вам ворона в язык? Ничего у вас не поймешь.

Кази, мотая своей большой головой, захихикал. Затем исподлобья метнул взгляд на Асада кари. Тот понял, чего от него хотят, и принялся перекладывать учено-витиеватые выражения агляма на язык житейской прозы.

— Кази домля очень доволен высокой милостью уважаемого Тешабая. Мы все, а особенно простой народ, поражены его благородством и щедростью.

Кази поспешил подтвердить слова имама.

— О да, да.

Хоким, осведомившись у переводчика, о чем идет речь, улыбнулся Тешабая.

Матковул, доставая воду из колодца, невольно поглядывал в сторону сидевших и жадно ловил долета-

ние до него обрывки фраз. Услышанные слова о бедняках заставили его напрячь все свое внимание.

Тешабай двумя пальцами взял ломтик дыни, не спеша поднес его ко рту и обратился к кази:

— Таксыр, вы сказали правду. Благородно наше желание. В Карабулаке много заброшенных нетронутых земель. Вот если мы объединим их, то достанется и хокиму, и нам, и, конечно...— не окончив, Тешабай положил в рот кусочек дыни, пожевал его, проглотил и только после этого продолжил:— И, конечно, народу. Поэтому сейчас нечего политику разводить. Сейчас главное — приохотить людей к работе. А для этого что нужно? Быть внимательным к ним, вежливым, интересоваться здоровьем, семьей, расточать похвалы родителям...

— О да, да, таксыр,— заерзав на месте, произнес Асад карн,— хорошим словом можно змею из гнезда выманить, а плохим словом — нож из ножен.

— А господину хокиму что? Захотел он — и мог бы расстрелять,— рассуждал Тешабай — И ни единый волос хокима не пострадал бы. А что толку? Какая нам сейчас польза от наказаний? Никакой. Только народ против себя настроим. Лаской! С народом надо ласкою. Тогда он поверит, тогда он и будет работать. Тогда и польза будет.

— Золотые слова!— произнес кази Гиясиддин, мотнув головой.

Тешабай положил в рот новый ломтик дыни и продолжал:

— Вот так, таксыр. Желание наше благородно. Одну сторону носилок попридержим мы, а другую — народ. Если мы на обводненных землях засеем хлопок, то вслед за этим мы на месте вот этого лошадиного базара поставим хлопковый завод. Но работать на нем буду, конечно, не я. Нужны мардикеры, батраки.

— ...И мардикером будет народ, эфенди мой,— проворно отозвался Фосих эфенди.

Тешабай, то ли не расслышав его слов, то ли не считая нужным обратить на них внимание, положил в рот еще один ломтик дыни, посмаковал его, затем, утирая губы, сказал:

— Конечно, все это влетит в копейчку. Но что поде-

лаешь. Без расхода не будет прихода. Мы же торговые люди, затрат мы не боимся, была бы прибыль. Ну, а если...— Тешабай, внезапно умолкнув, посмотрел на ворота. Там какая-то женщина громко спорила о чем-то с миршабом. Тешабай выразительно посмотрел на тестя. Тот встrepенулся и закричал в сторону ворот:

— Э, что там за крик?!

Миршаб Миркосим, преградив женщине дорогу, ответил:

— Говорит, что жалоба к господину хокиму. Никак не отстает.

Обратились к хокиму. Тот, прежде чем ответить, взглянул на Тешабая. Затем кивком головы приказал впустить женщину.

Все глаза обратились к вошедшей. Путаясь в старенькой парандже, она не шла, а почти бежала, будто боясь, что ее вернут. Еще не приблизившись к сури, женщина закричала на бегу:

— Вай-дод, спасите от мингбаши! Проклятый арестовал моего сына! Вай-дод!

— Не реви ты, ведьма! Ну что ты вопишь?—заволновался мингбаши, сходя с сури.

Женщина, скрытая паранджой, не переставала горько плакать:

— Моего сыночка вот уже целую неделю гноит в подвале ни за что ни про что! В чем он виноват? Оклеветали его! Оклеветали! Если не верят, то пусть они призовут Каромат и спросят ее...

Хоким через переводчика спросил у мингбаши:

— Кто ее сын?

— Мальчонка,— ответил мингбаши, побледнев.

— В чем он виноват?

Мингбаши несколько помедлил. Затем неопределенно ответил:

— Он много натворил.

— Сколько человек арестовано?

— Несколько, господин.

— Приведите всех до единого.

— Слушаюсь, господин.

Миркосим привел арестованных. Их было четверо. Очутившись на свету, они жмурились. По указанию миршаба они выстроились рядом в нескольких шагах от сури.

Среди них был и мальчик лет одиннадцати. Женщина, увидев пожелтевшего исхудавшего сына, запричитала:

— Сыночек мой милый! Мальчик мой! Что с тобой сделал этот деспот!

Хоким начал с допроса мальчика.

— Ты что натворил, стервец?

Маленький узник растерянно посмотрел на мингбаши. Он еще не забыл его пинков и пощечин Сали савука, которые он получил после того, как был пойман Джуманом-тихоней. Утерев нос рукавом рубахи с ви-сящей бахромой, он взглянул на мать и пропищал:

— Яблоки взял.

— Откуда?

— Из сада мингбаши...

— Много взял?

— Полную пазуху.

— С деревьев сорвал?

— Не... которые на земле лежали.

Желтые усы хокима дрогнули, он заорал:

— Ты грязный сарт, еще не вырос, а уже воруеться?

Мальчик в страхе замер. Мать, глядя на сына, растерянного, слабого, как тростинка, готового, кажется, сломаться от дуновения, с плачем обратилась к хокиму:

— Милостивый господин, он не лазил в сад, он взял только яблоки, валявшиеся на улице. Как он может перелезть через высоченный дувал! Лежали яблоки на земле, вот он и взял их по своей мальчишеской глупости. Разве можно из-за этого... добрый господин!

«Добрый господин» приказал миршабу:

— Надери подлецу уши!

Миршаб вцепился в ухо оцепеневшего мальчика. Закрыв глаза, с перекошенным от нестерпимой боли лицом мальчик безмолвно и покорно вытянул шею. Мать, как будто трепали не ухо сына, а ее собственное сердце, рыдая, порывалась к мальчику. Сидевшие на суре смеялись над мальчиком, который извивался, подобно прищемленному червю. И, хотя его уши пылали, а лицо побледнело, ни единый звук не вырвался из его груди. Раздраженный мингбаши закричал миршабу:

— Эй, что ты там? Тяни сильнее!

Миршаб повиновался. Мальчик пронзительно закричал. Хоким, а вслед за ним мингбаши и кази весело рас-

смеялись. Мать подбежала к миршабу, судорожно вцепилась в его руку и отчаянно закричала:

— Ах, чтоб сгорел твой дом! Отпусти!.. Оторвешь уши!.. Отпусти, говорю тебе!!!

— Хватит! — обратился Тешабай к миршабу. И, когда тот отпустил мальчика, сказал рыдающей женщине.

— Это ему наука, чтоб не трогал яблоки мингбаши. Иди, поблагодари хокима за доброту и убирайся со своим оборвышем.

Мать и сын, плача, удалились.

Хоким взял в рот недокуренную сигару, вынул из кармана маленький черный револьвер и, положив его на ладонь, несколько раз подбросил. Все уставились на оружие: иные со страхом, другие с любопытством. Особенно струхнул кази Гиясиддин. Он почему-то захихикал, хотя причин для этого не было.

Хоким, вперив свой взгляд в человека со спутанной рыжей бородой и вспухшими веками, прикоснулся своим холеным пальцем к курку. Один из арестованных выскочил вперед и заслонил рыжебородого своей широкой грудью.

— Не смей! — закричал он. — Почему ты хочешь застрелить этого человека?

Хоким, не обратив внимания на крик, нажал курок. Из черного дула вырвался красный огонек. Рыжебородый вскрикнул. Хоким засмеялся, улыбнулся переводчик, скалил зубы Тешабай. Хоким прикурил, затянулся, выпустил дым и снова засмеялся. Фосых эфенди, взглянув на кази (тот с перепугу поплевывал на свою грудь), перевел глаза на арестованных и сказал:

— И с чего вы испугались? Глушцы! Ведь это же зажигалка господина хокима. Ах, какая остроумная штука. Очень смешно! А они испугались.

Хоким внезапно прервал смех, насутился:

— Это сделали специально для меня, — хвастливо произнес он, играя зажигалкой, а затем, хлопнув рукой по маузеру, висевшему у него на поясе, многозначительно добавил: — А вот это — для вас!.. Если будете отвечать правду, если признаете свою вину, он останется в кабуре, а если нет... Худо будет!

Наступило тягостное молчание. Невинные люди по-

чувствовали себя беззащитными перед этим всевластным самодуром.

— А ты в чем провинился?— спросил хоким, уставившись на арестованного в войлочном колпаке.

Тот заморгал узкими глазами:

— Не виноват я...

— А если не виноват, почему посадили?

— Я стерег табун додхо и не заметил, как жеребенка карабаира зарезал волк.

Хоким посмотрел на мингбаши.

— Так ли?

— Врет!— отрезал мингбаши.— У этого мошенника-киргиза одно и то же повторяется. Волк здесь ни при чем. Это он сам сожрал жеребенка!

— А ты что сделал?— спросил хоким у крепкого рослого человека.

— Я что сделал?— переспросил тот и, удивленно пожав плечами, начал рассказывать:— Пашу я на быках с утра и до самого вечера. Быки, конечно, не мои. Как-то гнал я их с поля, а один из этих проклятых быков возьми да и провалился в дыру на мосту. Сломал себе ногу. Вот и держат меня. Уплати, мол, за быка.

— Уплатишь?— сердито спросил хоким.

— Э, таксыр, если бы у меня хватило денег на быка, разве стал бы я наниматься на работу!

— Слушай меня, Сарымсак!— вмешался мингбаши.— Если не можешь покрыть убыток деньгами, так почему ты отказываешься возместить его работой.

— Э, таксыр, на вас хоть тысячу лет работай, все равно не скажете «хватит»! Пока с баем расплатишься, шею свернешь! А вот я вас спрошу. Если для вас бык дороже человека, почему вы не почините мост? Ведь по этому мосту все время едут — и зимой и летом. А по нему не только скотина — человек еле пройдет. В прошлом году один конный, проезжая по мосту, свалился в овраг. На мост, на дорогу вы с народа денежки собираете, а куда их деваете?..

— Хватит! Распустил язык! Да я бы того, кто произвел на свет такого говоруна...— и мингбаши выругался мерзкими словами.

Хоким ничего не сказал, ничего не спросил, ничем не поинтересовался. Он молча разглядывал арестован-

ных. Наконец он остановил свой пристальный взгляд на старике в рваном халате. Подслеповатый, с тусклыми глазами, с открытой костлявой грудью он едва держался на слабых ногах. Казалось, сама смерть смотрела его глазами. Не успел хоким раскрыть рот, как молодой Хакимбай опередил его, тыча пальцем в сторону старика.

— Этот нечестивец вот уже десять лет не возвращает мне долга! Когда умирала его жена, он попросил у меня пять пудов пшеницы. Что ж, думаю, свой киш-лачный, надо ему помочь. Пожалел я его на свою голсуву. Я ему пшеницу дал, а он не возвращает. Все водит меня за нос. Совсем я с ним измучился, таксыр! Пусть расплатится, или я его сгною...

Хоким спросил через переводчика: верно ли то, что сказал Хакимбай.

Тешабай приблизился к старику:

— Не тревожьтесь, ата, я буду просить хокима за вас.

Старик, опершись о посох, выпрямился, глаза его загорелись обидой.

— Вернул я ему пшеницу — и не пять, а вдесятеро больше. Десять лет я, как собака, работаю на него, а все, оказывается, не отработал. Ах, таксыр, проклятая моя старость.

Лицо у старика исказилось так, словно чьи-то грубые руки стиснули его сердце. Он скорбно продолжал:

— Не знал я счастья в молодости; несчастен я и в старости.

Никого не тронули слова старика, снова опустившего голову.

— Есаул! — крикнул хоким. Но тут вмешался Тешабай. Он вышел вперед, встал перед хокимом и почтительно стал упрасивать:

— Простите и этих. Пожалейте их. Я уплачу все их долги. Пусть только выдадут мне расписку: дескать, я, такой-то, взял у господина Тешабая взаимобразно столько-то денег.

Старик, подняв голову, воскликнул:

— Нет! Я скорее умру, чем дам расписку! Ты не только меня, но и детей моих хочешь закабалить? Нет, нет! Фишман, как всегда, когда гневался, сразу позабыл

все русские слова. Он что-то прокричал по-немецки, а затем, несколько успокоившись, обратился к Тешабаю...

— Там на гузаре я вас послушал. Там так было надо. Теперь меня хотят скушать. Я знаю, что мне надо делать. Есаул! Наручники!

Несколько солдат окружили арестованных. Есаул надел на них наручники.

— Сегодня же отправить в город,— сказал хоким,— я с этими подлецами сам поговорю.

Коренастый Сарымсак стоял не двигаясь. Он переводил ненавидящий взгляд с мингбаши на хокима. Есаул подтолкнул Сарымсака, но тотчас же едва не свалился от удара головой в переносицу. Подбежавшие солдаты схватили Сарымсака, повели. Невольный свидетель происшествия, Матковул стоял у колодца, едва сдерживая слезы. Тешабай что-то шепнул хокиму на ухо. Есаул, подождав мингбаши, строго наказывал ему:

— Отправить их после наступления темноты переулками незаметно, когда весь народ будет на гузаре. Понятно?

Глава тринадцатая

В СЕМЬЕ МАТКОВУЛА

В калитку Матковула проворно юркнула какая-то женщина. Это была Хаёт.

Очугившись в ичкари, она сбросила с себя чапан и устремилась в темную хибарку. Хаёт была очень взволнована. Салтанбу, увидев ее, даже испугалась. Так может выглядеть человек, когда в доме умирает близкий или происходит другое, не менее страшное событие.

— Ой, милая, что случилось?— вскрикнула Салтанбу, а про себя подумала: «Неужели скончалась старуха Мастан?» Потом она спросила:

— Как поживает ваша бабушка? Она здорова?

Хаёт кивнула, затем, едва двигая запекшимися губами, попросила воды.

— Сейчас, миленькая! У меня как раз ключевая есть. Вода в бассейне мечети позеленела вся, черви завелись, в рот не возьмешь — такая вонючая!

Светясь и болтая, Салтанбу принесла ваты в черном от времени, вышербленном деревянном черпаке. Несмотря на то, что черпак неприятно пахнул каким-то маслом, Хаёт опорожнила весь черпак. Затем, тяжело и прерывисто дыша, спросила:

— Ваш муж ничего не говорил о Гулямджане?

— Нет. А разве что-нибудь случилось с Гулям каря?

— Ой, тетушка милая, случилось! Дочь проклятого мингбаши хотела вскружить ему голову, а он не поддался. Вот она теперь и мстит ему.

— Джура пошша, что ли?!— всплеснула руками Салтанбу.

— Да. Заставила собирать меня рассыпавшиеся бусы, а сама спустилась к Гулямджану. А Гулям кари, сами знаете, какой человек! Честный. Он не послушался ее. Так она и мингбаши засадили его. А я у них, пропади они, сижу себе и ничего не знаю. Вдруг входит Каромат-апа и все мне рассказывает. Так я забыла все на свете и побежала во двор Гулямджана узнать. А их никого нет. Вот и решила зайти к вам, думаю, может, дядя Матковул слышал что-нибудь.

У калитки послышался ворчливый голос старухи Мастан:

— Эй, Салтан, Хаёт не заходила к вам?

Хаёт и Салтанбу быстро вышли во двор.

— Вот я. Что вы хотите, съесть меня, что ли?— раздраженно произнесла девушка.— Ходите за мной как тень.

Старуха ударила посохом о землю.

— Ах ты, девка проклятая! Ну и хожу. Ну и что? Убудет тебя? И как только бог терпит такую своенравную. Чем пялить глаза на этого голого сокола, согласилась бы на богатого ворона. Ведь рядом же он. Тогда я не ходила бы за тобой, не мучилась бы с тобой. Проказа тебя возьми. Вбила себе дурь в голову, старая девка! Помни, что ты, дура, дочь ходжи Мадаммина!

— Ой, не надо ругаться. Вы лучше, тетя милая, зайдите в дом,— пригласила Салтанбу.

Хаёт, закрыв лицо, зарыдала.

— Бабушка, за что вы меня мучаете, почему оскорбляете? Разве я виновата, что родилась дочерью ходжи? Почему я не родилась дочерью карача? Вышла бы замуж

за слепого, за плешивого, лишь бы не слышать ваших упреков...

Обняв Хаёт, Салтанбу прижала ее голову к груди.

— Не надо, миленькая, не плачьте. Ведь вас же ругает не кто-нибудь, а ваша родная бабушка, ведь она же все это делает любя.

Не успела Салтанбу успокоить Хаёт, как старуха Масган снова заворчала:

— Несчастливая ты, богом проклятая. Ведь был же у тебя жених. Почему из Мекки не вернулся? Видать не очень-то ты ему нужна.

Хаёт, не сумев сдержать обиду, горько произнесла сквозь слезы:

— Зачем губите меня? Живую хороните...

Старуха хотела еще что-то сказать, но, взглянув на внучку, несколько секунд помолчала, затем пожевала губами и неожиданно произнесла:

— А у мингбаши сегодня светопреставление. Игрок поймал свою развратную жену да так избил ее, что она еле дышит.

У калитки появился Матковул. Хаёт поспешно закрыла лицо.

— Пожалуйста, пожалуйста, гости дорогие, прошу, входите. Вот я достал муки, попируем вместе,— радушно приговаривал он.

Но старуха, поблагодарив, ушла. Ушли в дом и супруги, а Хаёт осталась во дворе. Она ждала вестей от Гулямджана.

Наконец Салтанбу вышла и сообщила:

— Гулямджан у Кудрата в кузнице. Там еще несколько человек и среди них бродячий кукольник.

Хаёт выбежала на улицу.

Когда Салтанбу вошла в хибару, Матковул рассматривал принесенную муку. Лежавшая в углу больная дочь, приподняв голову, обратилась к отцу.

— Папа, это кукурузная?

— Нет, доченька, пшеничная, настоящая пшеничная!— ответил отец. Затем смочил шепоть муки слюнями, размял между пальцами и снова подтвердил:

— Вот! Пшеничная, да, да! Ты знаешь, доченька, чья это мука? Гулямджанова, дай бог им счастья. Тетя Хадича дала. Я и рта раскрыть не успел, а она мне дает

муку. Просто удивительно. Пророк да и только! Женщины-пророк!

Салтанбу, набравшая в чугунный кувшин воды, пошла к муке, все еще удивленная так, словно перед ней была не мука, а яйцо сказочной птицы анка. Четыре пары детских глаз тоже заворожила эта темная с отрубями мука.

Матковул, не переставая блаженно улыбаться, спросил:

— Что бы нам такое из нее приготовить, а?

— Сколько же ее? Наверно, фунтов пять!

— Я думаю побольше!— произнес Матковул так, словно он достал, по меньшей мере, целый пуд.— Можем сварить лапшу, можем — лагман. Мало ли что! Мы все можем! Вот только для лагмана нужно мясо.

Хозяйственно-бережливая Салтанбу, всегда оставлявшая на следующий день кусок от своей лепешки, ласково, но твердо упрекнула мужа:

— И лапшу вам, и лагман, а завтра что будем есть? Вот лучше найдите немного маслица, а я вам такую похлебку состряпаю, что целую неделю будете облизываться.

Больная девочка умоляюще произнесла:

— Mamочка, хоть немножечко сделай нам мунжизы.

— Хорошо, милая, я сделаю. Только бы болезнь твоя прошла!

И снова, словно по волшебству, в хибарке Матковула затеплился огонек радости. Он засветился в улыбке, в глазах больной девочки, на лицах Матковула и Салтанбу.

Хозяйка развела в пиале дрожжи. Затем взяла глубокую глиняную тарелку с отбитым краем, расстелила давно не используемую «мучную» скатерть, отделила половину не просеянной, с отрубями, муки и принялась священнодействовать.

— Не положить ли нам еще немножечко?— спросила она.

Матковул, не зная, что ответить, смотрел то на тесто, то на муку. Скажешь «да»— на завтра останется мало-вато, скажешь «нет»— дети не насытятся и никакого праздника сегодня не будет. Пока он колебался, жена решила:

— Ладно уж, добавим, а завтра, так и быть, пусть хоть болтушка,— произнесла она, взглянув на мужа. Тот, смотря на захваченную женой горсть муки, встревожился:

— Эй, эй, много!

Салтанбу отсыпала половину муки обратно в платок. А Матковул, словно доброе слово могло увеличить тесто, торжественно произнес:

— Если хорошо замесить, тесто дойдет хорошо. Так вздуется...

Жена не ответила. Она старательно работала кулаками.

— Масла достанете?— обратилась Салтанбу к мужу.

Этот вопрос подействовал на Матковула так, как если бы жена ему вдруг приказала: «Пойдите и немедленно купите мне атласную рубаху!»

— Масло?!— ужаснулся Матковул.

— Да, масло. Разве мунжиза без масла бывает? На чем же зажарим лук и что польем сверху?

— Это-то мне известно,— уныло ответил Матковул,— но откуда мне масла взять? Ведь я вот как в долгу перед мясником. Боюсь на глаза ему показаться!

— Что же нам делать?— произнесла Салтанбу, скатывая с рук прилипшее тесто.

Все задумались.

— Мамошка,— раздался голос девочки.— А нельзя ли занять у тетушки Ширман или у тетушки Турсун? Когда у папы будут деньги, он вернет.

— Доченька милая,— со сжавшимся от боли сердцем произнесла мать.— Мы у тетушки Ширман так много взяли, что просто стыдно. А Турсуной не богаче нас: Заману еще труднее, нам бы ему помочь.— Салтанбу замолчала, затем вслух подумала.— Можно бы спросить у Хаётхон, да уж бабушка у нее больно жадна...

Матковул уловил мелькнувшую в словах жены искорку надежды.

— А ты не обращай к бабушке, спроси у внучки — и все.

Салтанбу освободила пиалу от остатков дрожжей и торопливо ушла.

— Принесет, папа?

— Принесет,— бодро ответил Матковул.



Он посмотрел на свою больную дочь, и снова его сердце мучительно сжалось от сострадания и чувства вины перед медленно угасающим ребенком. Не мог он вырвать дочь из когтей беспощадной болезни. «Что же делать, если нет никаких лекарств, нет лекаря. Мулла над ней молитву читал, ишан читал, а недуг не уходит. Была даже знахарка — ничего не помогает», — печалился он. В самом деле, недавно была знахарка. Развела она во дворе большой костер, кружилась вокруг него, била в медный поднос, прыгала, скакала, тряслась, кричала, выла... А чем все кончилось?

Прирезала она единственного петуха, которого берегли и сохранили даже в торжественные дни уразы, смочила его кровью подбородок и лоб девочки, а затем петух исчез у нее в мешочке, на вид небольшом, но оказавшемся весьма вместительным. И девочке несколько не лучше. Кому же теперь жаловаться? У кого просить помощи?

Салтанбу вошла, радостно улыбаясь. Пиала была полна масла.

— На наше счастье старухи не было. Смотрю, сидит на айване Хаётхон. Вышивает и плачет. Ну, думаю, ничего не выйдет, а она увидела меня, выхватила пиалу из моих рук и быстренько налила ее доверху. Дай ей бог счастья...

В маленькой убогой хибарке Матковула, затерянной в огромном мире, началось настоящее празднество. Теперь Салтанбу решила приготовить не мунджизу, а самый настоящий шилпилдок и громко заявила об этом.

Когда казан уже стоял на огне, а тесто раскатывалось скалкой, с улицы явились шустрые сыновья Матковула: пятилетний Урман, семилетний Тургун и девятилетний Рахмат. Полуголые тела ребят были грязны и украшены ссадинами, болячками, но это не умеряло резвости детей.

Проказливый и проникательный Урманджан, уже успевший учуять соблазнительный запах, повис на шее отца и прошептал ему на ухо:

— Какое кушанье готовит мама?

Отец не счел нужным секретничать и громогласно провозгласил:

— Шилпилдок!

Дети захлопали в ладоши. В этот момент Салтанбу вынесла на подносе тонко укатанные, нарезанные кусочки теста.

— Послушай, сынок,— произнес Матковул, подозвав Рахматджана.— Принеси из хауза мечети воды. Полей дворик, а потом разложи подстилку. Будем есть на открытом воздухе.

И хотя Матковул обратился к одному, выполнять его указание бросились все три сына. Один из них вооружился посудой из-под краски, с помощью проволоки превращенной в ведро, другой — глиняным сосудом, третий — чугунной, скажем, вазой, и все три молодца пустились наперегонки.

Сам Матковул с полным сознанием всей важности порученного ему дела начал по одному кидать шилпилдок в кипящую воду. Тем временем хозяйка разогрела масло, затем кинула туда две головки мелко нарезанного лука.

Водоносы были встречены приятным щекочущим позвизгом запаха. Не желая упускать ничего из всех тех удовольствий, что им сулила сегодняшняя великолепная трапеза, даже ее чудесный запах, дети глубоко, со свистом втягивали в себя воздух.

— Ну, молодцы, скоро все будет готово! Начинайте поливать!— скомандовал Матковул сыновьям.

Все трое ретиво принялись за дело. Черви, которыми кишела стоячая, вонючая вода хауза, очутившись на земле, свертывались, извивались... Детей это забавляло. Они смеялись, кричали, прыгали или убегали в притворном страхе. Рахимджан мигом очистил веником дворик, вынес войлочную подстилку, которая по мере надобности превращалась в палас, одеяло, ковер или еще что-нибудь, и постелил ее на самом почетном месте. И сейчас же на нем по праву старшинства сел глава семьи. Затем осторожно вывели больную Лобархон. Ее посадили около отца. Лобархон едва могла сидеть, но то ли от необычно яркого света, то ли от щекочущего ноздри приятного запаха не переставала улыбаться.

Шилпилдок, усыпанный поджаренным луком, во всем своем великолепии был подан на большом подносе. Все руки одновременно потянулись к нему. Из отдельной тарелочки ела Лобархон. Когда поднос был опустошен, Салтанбу снова наполнила его. Кусочки теста, обмакнутые в масло с поджаренным луком, быстро исчезали. В третий раз наполненное блюдо опустошалось уже без спешки, но с прежним прилежанием. Так же дружно, но уже медленно совершали руки путешествие от подноса ко рту и обратно. Наконец участники пира насытились. Урманджан, набив рот тестом, хлопнул себя по лбу и взглянул на братьев. Те ответили ему таким же взглядом. Лобархон доедала уже вторую порцию. Посторонний наблюдатель мог бы подумать: «Что это, дети Юхо¹ или утробы ненасытные?» Ну и пусть. Пусть думают что угодно! Они не дети Юхо и вовсе не обжоры! Это те простые люди, о которых говорят: «Сытость бедняка — его богатство». Ведь вкусная еда для них, всегда голодных, — штука редкая и, как всякий дорогой редкий гость, встречается горячо, с радостью...

И вот, наконец, казан сняли с очага и зодворили на его постоянное место — в нишу.

После прочтения благодарственной молитвы три мальчика снова устремились на улицу, а Матковул отправился на гузар, откуда по всему кишлаку разносился рев труб, возвещавший о начале праздника.

¹ Юхо — мифическое существо, пожирающее людей.

Приближались сумерки. Длинные тени деревьев придавали гузару необычайно привлекательный вид. И хотя ветерка все еще не было, у чайханы уже дышалось легче. Вода, принесенная из мечети, обильно увлажнила землю в чайхане и вокруг нее. Четырем большим факелам по углам гузара надлежало освещать сегодняшний праздник карабулакцев. Яркие ковры, убранные днем, снова были разостланы. На середине супы установили длинный низкий столик и накрыли его цветным дастарханом производства фабрики Морозова. Напротив, шагах в десяти от супы, поставили небольшую деревянную кровать с брошенными на нее старенькими подстилками.

Всеми этими делами по поручению Тешабая руководил Фосих эфенди. Своими оскорбительными окриками: «Растяпа! Глупый!»— Фосих эфенди вызывал у людей ненависть и презрение. И только когда гузар был готов к принятию высоких особ, Фосих эфенди решил наконец заняться своими делами. Приложив перст к нахмуренному лбу и что-то вспоминая, он подозвал чайханщика и, когда тот приблизился, спросил:

— Эфенди, вы случайно не видели моего дружка?.. Ну того, который приехал вместе со мной.

Чайханщик, многозначительно улыбнувшись, осведомился:

— Вы про этого низенького, большеголового, одним словом, с виду очень неприятного?

Фосих эфенди бросил на чайханщика гневный взгляд. Его самолюбие было задето. И пока он придумывал, что бы такое ответить этому наглецу, чайханщик его опередил:

— Если тот самый, то вы найдете его в курильне.

— В какой курильне?— вскипел Фосих эфенди.

— В обыкновенной, среди наркоманов,— уже с явной издевкой отвечал чайханщик.

Фосих эфенди, словно поведение приятеля было для него новостью, изобразил на своем лице крайнее недоумение, а затем грубо приказал:

— Немедленно доставить его сюда!

Чайханщик не торопится исполнять приказание. Он сперва довольно обстоятельно почесал свой затылок и только после этого сказал:

— К сожалению, таксыр, у меня нет посыльного. Но если приятель вам очень нужен, то вот по этой дороге вы прямехонько к нему дойдете. А там уже, если вам захочется, вы можете вместе с ним поблаженство...

— Молчи, выродок!— воскликнул Фосих эфенди и, заметив пробежавших по гузару ребят Матковула, крикнул им:

— Стойте!

Босой Урманджан остановился поодаль, поглядывая на чисто одетого, прилизанного эфенди в очках с зелеными стеклышками.

— Подойди поближе, оборванец!

Урманджан сделал несколько шагов вперед. Фосих эфенди устал на мальчика зеленые стекляшки.

— Знаешь, где курильня?

Мальчик пожал плечами.

— Где наркоманы собираются, ну, понял... болван?

Мальчик кивнул в сторону.

— Так сейчас же беги туда и позови ко мне Мамараима эфенди!

Но Урманджан не захотел звать не знакомого ему Мамараима эфенди и еще меньше склонен был заглядывать в места, пользовавшиеся дурной славой.

— Да ну вас! Чего мне туда ходить. Меня отец заругает...— небрежно ответил Урманджан и показал эфенди свою грязную спину.

— Выродок!— яростно воскликнул эфенди.

А карнаи на крыше мечети все трубили и трубили, сзывая людей на праздник. Люди приходили по одному, группами и постепенно заполнили гузар, уже окутанный вечерними сумерками. Дети, наголо остриженные, босые, а некоторые совершенно голые, в ожидании невиданного дарового зрелища визжали, бегали и суетились в поисках наилучшего места. Чаше всего они усаживались на деревьях. Наиболее взрослые и смелые из ребят взбирались на верхние тонкие ветви, которые, казалось, вот-вот обломятся под их тяжестью. Самые же маленькие и почтя все голые, тесно прижавшись друг к другу, словно ягоды одной грозди, усаживались на нижние ветви.

Люди, пришедшие на праздник, по указанию Фосиха эфенди образовали большой круг. В основном бедняки, не избалованные вниманием, они и сейчас садились прямо на голую землю. Фосих эфенди начальственно оглядел своими бесцветными глазами пестрое шумное собрание. Здесь, казалось, собрался весь кишлак, кроме, разумеется, женщин: дряхлые старики и шустрые мальцы, люди среднего достатка и последние бедняки.

На гузаре, заполненном мужчинами, почти не осталось места, где можно было бы сесть или даже встать. Фосих эфенди подозвал признанного главу курашистов Барата-палвана.

Созвав по просьбе Тешабая всех палванов с окрестных кишлаков, он сейчас договаривался с Фосих эфенди о порядке проведения состязаний. Курашисты, сидевшие отдельной группой, привлекали к себе всеобщее внимание, особенно Абдураим, по прозвищу «шайтан»... Но вот в круг вышел высокий стройный Барат-палван — и на гузаре воцарилась тишина. Он оглядел зрителей и заговорил густым басом:

— Поразмяться бы нам до прихода гостей, а?—В ответ раздались одобрительные возгласы.— Не начать ли нам с молодых петушков?

По гузару снова прокатился одобрительный гул. Особенно бурно выразили свой восторг дети. Паренек лет двенадцати-тринадцати, не особенно высокий, но довольно коренастый, неохотно, несколько смущаясь, вышел на середину круга под поощрительные возгласы своих сверстников. Этот мальчик, с открытым воротом белой рубахи, подпоясанной тоненьким пояском, был сыном Барата-палвана. Тот, увидев сына, шутиливо заметил:

— Ого, Давран, уж не со мной ли ты хочешь бороться?

Давран, казалось, и впрямь готов был сразиться с отцом. Он твердо стоял на своих чуть расставленных ногах. Барат обратился к подросткам:

— Ну, кто еще желает?

В круг одновременно выбежало трое ребят. Каждый из маленьких курашистов хотел схватиться с Давраном. Барат-палван, выбрав самого рослого из них, свел борцов. Ребята обхватили друг друга, продев кисти рук под поясные платки, и приготовились к схватке. Второй кура-

шист был несколько выше Даврана, но уже в груди. Давран был сыном палвана, о котором говорили, что спина его еще никогда не касалась земли, и он наследовал у отца отвагу, силу, многие приемы кураша. Вот и сейчас он вспомнил наставления отца. Обхватив противника, он сжал его в кольцо, притянул к себе и несколько раз резко рванул из стороны в сторону. Борец, не в силах противостоять Даврану, покачнулся...

Зрители захлопали в ладоши, со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Поощряемый криками, Давран, уже испытывший противника, не замедлил перейти в наступление. Он поднял противника и положил на обе лопатки.

Барат-палван одобрительно похлопал сына по плечу. Настал черед сразиться второму из вызвавшихся мальчуганов. Это был босой мальчик, без тубетейки, в одних штанишках, черный от загара. Барат-палван опоясал его платком. Только борцы успели схватиться, как Давран оторвал своего противника от земли и, прижав его к себе, вместе с ним закружился волчком, а затем с размаху положил на землю. Зрители так пронзительно закричали, что третий соперник Даврана предпочел оставить поле боя, не вступая в борьбу. Больше охотников помериться силами с Давраном не нашлось, и в борьбу вступили юноши.

В это время на гузаре появились сановники. Впереди шли хоким и Тешабай. Люди по знаку Фосих эфенди вскочили и почтительно сложили руки на животе. Хоким, ни на кого не глядя, двинулся к супе, не снимая обуви, взобрался на нее и уселся на место, устланное стегаными бархатными одеялами, с грудой пуховых подушек. По одну сторону от него уселся на корточках кази Гиясиддин, тотчас же устремивший свой взгляд на дастархан. И так как столик был пуст, то глаза кази затуманились печалью. Впрочем, увидев хлопотавшего Фосиха эфенди, кази несколько повеселел. И было отчего. По его указанию столик стал покрываться разнообразными фруктами.

Когда Фосих эфенди, уже накрыв дастархан, присел на краешек супы, около него появился его приятель Мамараим.

— Где вы пропадали?— спросил Фосих эфенди, не

находя нужным прибавить почтительное «эфенди». Приятель улыбнулся.— Не скальте зубы. Не забывайте, что здесь большие люди!

Но приятель, не в силах совладать со своим лицом, продолжал щериться. Возможно, что он успел уже кое-чего наглотаться. Фосих эфенди все больше злился.

— Выродок! Позор!— прошипел он так, чтоб его не услышали окружающие. Он хотел еще что-то добавить, но в это время к ним подошел Тешабай. Мгновение тому назад злобное лицо Фосих эфенди скривилось в улыбке, и он начал представлять Тешабаю своего приятеля:

— Этот человек — один из самых рьяных защитников нашей нации Мамараим эфенди...— торжественно начал Фосих эфенди, но вынужден был несколько растянуть свое представление, так как до сих пор не удосужился узнать имя отца рьяного защитника нации.—...Он славный потомок великого, а также известного и притом мудрого...

— Мамасали,— догадался вставить защитник нации.

— Вот именно, эфенди, сын Мамасали,— произнес Фосих эфенди, слегка поклонился и продолжал:— Мамараим эфенди, будучи одним из самых передовых, бескорыстных и благороднейших личностей нашего общества, видит свое призвание в служении нации, а следовательно, и лучшим людям нашей нации,— он многозначительно посмотрел на Тешабая. — Да, эфенди, в служении лучшим людям нашей нации! С этим благородным намерением он и прибыл сюда, готовый служить вашей милости. Благородное желание этого человека достойно всяческой похвалы!

Тешабай довольно холодно спросил:

— Это и есть тот писарь, о котором вы говорили?

— Да, эфенди!— поспешно ответил Фосих эфенди.

Тешабай покачал головой.

Неприятная улыбка растянула рот, собрала в морщины желтое лицо Мамараима эфенди.

В это время на гузаре воцарилась тишина, и послышались голоса хокима и его переводчика.

— ...Собака и та не забывает того, кто бросил ей кость. Так забудете ли вы милости Тешабая? Ведь это он спас должников от неминуемой смерти. Тешабая уважает уездное начальство и даже сам генерал-губернатор

Туркестана. И вы должны его уважать. С завтрашнего дня вы начнете пробивать гору, чтобы повернуть Таджикисай. Его воды хватит на два таких кишлака, как Карабулак. Выходите на работу со всеми имеющимися у вас инструментами: тямками, молотами, кетменями, лопатами. Для тех, кто на время работ захочет жить возле горы, будут кипятиться самовары и казаны. Словом, голодными не останетесь. Порукой этому Тешабай. Он будет опекать вас и руководить всеми работами. Я только хочу предупредить вас об одном: кто будет препятствовать работам, ставить палки в колеса, мутить воду, упрячиться или лениться, тот пусть пеняет на себя. У царя тюрем много, да и Сибирь широка. Есть куда упрятать бунтовщиков и подлецов!— Эту угрозу, повторенную переводчиком, хоким выкрикнул. Его сорочки глазки злобно блеснули. Понизив голос, он угрожающе продолжал: — Все ваши недоимки уплатит Тешабай, но если есть такие, которые думают, что они освободились от налога и им теперь все нипочем, то пусть знают, что радоваться еще рано. Надо сперва пробить гору, оросить высохшие земли! Завтра все мужское население кишлака должно быть у подножья горы! За этим проследят эликбаши! Поняли?

Если бы не угрозы и грубости, то все сказанное нашло бы живой отклик в душе людей. Ведь люди и сами жаждали воды, сами много раз молили мингбаши о том, чтобы тот испросил у хокима разрешения провести ее в кишлак. Однако народ, несколько обескураженный тоном хокима, все же согласился с тем, что тот сказал. Покончив с делом, хоким разрешил приступить к развлечением.

После хокима несколько слов сказал Тешабай.

— Всех, кто будет работать, я обеспечу горячей пищей за свой счет. Вы спросите: почему? А потому, что вы мне не чужие, а земляки, ведь, как говорится, что из-за пазухи выскользнет, попадет в голенище. У некоторых не хватает хлеба. Те, чьи семьи испытывают нужду, пусть возьмут хлеб у меня,— и, обернувшись назад, позвал:— Мамараим!

Мамарим эфенди поспешно выбежал вперед.

— Вот обращайтесь к этому человеку. Он будет вам давать все, что надо. Вот и все! Теперь можете веселиться.

ся. Палван! Начинайте кураш,— и вдруг, улыбнувшись, спросил:— А где додхо? Неплохо бы привлечь к курашу нашего отца. Как вы на это смотрите, Барат-ака?

— Какой же без него может быть кураш? Привлечем, бай. Да он и сам придет. Разве удержится?— улынулся Барат-палван и оглянулся, разыскивая додхо, но того не было видно.

В это время раздались голоса: «Прибыли! Прибыли!» Барат-палван, думая, что прибыл додхо, посмотрел в сторону чайханы, но увидел музыкантов с дугарами, тамбурами, скрипками, свирелями и бубнами. Их вел Гулямджан. Музыканты низко поклонились народу. Один из них крикнул: «Мир и благополучие вам». Это еще больше подняло настроение народа. Раздались хлопки, возгласы: «И вам тоже».

Гулямджан повел музыкантов на то убогое сури, которое для них устроил Фосих эфенди. Впрочем, чайханщик от себя принес и постлал три одеяла. Принес он также хорошо заваренный, крепкий зеленый чай. Чайханщик был радостно возбужден. Шутка ли сказать! Кажется, никогда с тех пор, как существует его заведение, гузар не видел одновременно такого количества музыкантов!

Рядом с музыкантами уселся Гулямджан. Между тем, кураш был в полном разгаре. Одновременно боролись три пары. Крики и хохот привлекли внимание хокима и, чтобы лучше увидеть происходящее, он пересел на край суны. Расположившиеся неподалеку ребятишки, увидев рядом с собой страшного хокима, мгновенно рассыпались в разные стороны.

Хоким, не разбираясь в искусстве курашистов, поглядывал на борьбу с выскомерным любопытством: «Что за возню устроили эти дикари?..» Известный в кишлаке молодой Джура-палван так лихо положил на лопатки брата Хакимбая Хамдам-палвана, что гот сумел подняться только с посторонней помощью и еще долго не мог прийти в себя.

Шайтан-палван вступил в борьбу с любимцем додхо — Қадыром-хвастуном. Они боролись уже более полчаса с переменным успехом. Заметного преимущества никто не добился: оба были сильны и искусны. Қадыр-хвастун был высок, но несколько худощав, между тем

как Абдураим-шайтан, коренастый и широкоплечий, был мал ростом. Наконец Кадыр оторвал Абдураима от земли. Но Абдураим-шайтан оправдал свое прозвище: оказался дьявольски хитрым и ловким. Обхватив противника и крепко прижавшись к нему, он подобрал ноги и замер. По справедливости его можно бы назвать и «Мушук¹-палван», ибо, как ни бросай его, он, как кошка, всегда падает на ноги.

Когда Кадыр-хвастун, не зная, как оторвать противника от себя, вращал во все стороны своими вытаращенными глазами, появился додхо. Вид у него был разбитый. Глаза, словно он долго плакал, распухли и покраснели. Заметив устремленный на себя взгляд хокима, он заулыбался, ибо по опыту хорошо знал, что перед сильными мира сего вешать нос не годится, и ежели твой хозяин — пес, то не забывай его задабривать: ведь от него зависит твоя судьба. Хоким кивнул в сторону борющихся, а мингбаши, увидев своего любимца, закричал: «Кадыр, не сдавайся!» Кадыр, словно только и ждал этого возгласа, бешено завертел Абдураима и бросил его на землю. И Абдураим-шайтан коснулся пола, но... не лопатками, а своими крепкими ловкими ногами. В мгновение ока он оторвал Кадыра от земли и перебросил его через голову. Тот растянулся на земле. Гузар разразился громом рукоплеканий. В единый гул слились хлопки, смех, вопли. Кадыр поспешил покинуть круг. Музыканты сидели, забыв о своих инструментах; общий гул был предвестником начала настоящей борьбы.

Не дав передохнуть Абдураим-шайтану, в круг вышел мингбаши. С не свойственным ему проворством он сразу же бросился на противника и стал его теснить. Говорят, что гнев придает силы. Возможно, что мингбаши распалило поражение друга, возможно, какая-нибудь другая обида. Во всяком случае, он заставил Абдураим-шайтана пятиться целых два круга. Абдураим, ошеломленный, казалось, вот-вот сорвется. Мингбаши сжал его в железные тиски, а пальцы влипли в ребра, словно колья. Быстрыми и ритмичными рывками он потянул к себе Шайтан-палвана. Платок Абдураима пополз вверх. Но мингбаши рывком опустил платок на пояс и с криком

¹ *Мушук* — кошка.

«ать!» поднял соперника на воздух Шайтан-палван очутился на груди противника. Мадумар бросил Шайтан-палвана спиной вниз, но тот изловчился и снова, как кошка, прыгнул на ноги. Вслед за этим Абдураим-шайтан перешел в наступление и вскоре длинные ноги мингбаши замелькали в воздухе. Сердце дохдо дрогнуло от страха. В самом деле, Шайтан-палван хорошо знал слабое место своего соперника, и теперь его победа была неминуемой, уже не сомневались в исходе борьбы ни мингбаши, ни поднявшие отчаянный крик зрители. Их возбужденные возгласы ясно показывали, на чьей стороне симпатии народа: «Нажимай, Шайтан!», «Покажи этому подлецу!», «Пусти из него кровь!» Шайтан-палван все больше подминал беспорядочно отбрыкивающегося мингбаши, еще мгновение и... Но в это время Шайтан совершенно неожиданно бухнулся на землю и очутился под противником...

Поднялся невообразимый шум:

— Подножка!!!

— Подножку дал!

— Неправильно!

— Жулик!

Мингбаши, дав Абдураиму подняться, устремил на людей злобный взгляд. Все притихли. Но Барат-палван молчать не мог. Он был судьей состязания. Он обязан был вынести правильное решение и объявить его народу.

— Не спешите, дохдо,— произнес он и встал на пути мингбаши, покидавшего круг с видом победителя.— Ваша победа нечестная. Вы дали ему подножку. Это заметил не только я. Это заметили все.

— Палван, о чем это вы болтаете?— угрожающе спросил мингбаши.— Таким способом хотите заставить меня бороться с вами?

— Мингбаши! Мне не нужно искать обходных путей, чтобы заставить вас бороться со мной. Но дело не в этом. Вы много лет слывете опытным курашистом. Разве не странно, что вы до сих пор не знаете правил борьбы? Разве вам неизвестно, что в кураше узбеки к подножке не прибегают? Такого позора честный сын не простит даже отцу!.. Если вы сильнее, то побеждайте честно, так-сыр! Ваша победа не засчитывается.

Мингбаши был приперт к стене. Он покраснел при мысли о том, что подумает о нем хожим, если узнает, как и о чем с ним разговаривал Барат-палван.

— Послушай меня, Гзрат!— зло, но сдержанно произнес мингбаши, опустив слово «палван».— Пойдем-ка в круг и посмотрим там, наглец ты эдакий, кто из нас прав.

Барат-палван с удивлением посмотрел на мингбаши. До сих пор он не хотел бороться с ним, ибо знал, что победа над мингбаши может явиться в дальнейшем источником бед для победителя.

— Берите платок, что вы смотрите?— произнес мингбаши, снимая с себя широкий пояс и протягивая его Барат-палвану.

Выхода не было. Барат-палван снял кавуши, надел легкий черный чалан, захваченный им на всякий случай, опоясался длинным платком Шайтан-палвана. Затем бросил на мингбаши взгляд, в котором можно было прочесть: «Ну что ж, пеняйте на себя», повернул к народу свое открытое доброе лицо и прокричал:

— Благословите!

Народ отозвался взволнованным гулом: «Помогай тебе аллах! Пусть будет непобедимой рука твоя!»

Барат-палван подошел к мингбаши, который стоял, выпятив грудь и уперев руки в бока. Шайтан-палван, затаив у борцов слабо повязанные пояса, измерил их ширину. Таков был обычай. Барат-палван, чтобы дать противнику схватить себя, высоко поднял левую руку. Мингбаши пронес правую руку за спину Барат-палвана и трижды навернул на кисть пояса противника. То же самое сделал Барат-палван. Затем левые руки борцов вцепились в платки противника. Два прославленных палвана напрягли свои сильные тела, стали осторожно примираться друг к другу.

Гулямджан, расставшись с музыкантами, подошел ближе к кругу.

Давран, сидевший между кузнецом Кудратом и Гулямджаном, удивлялся: почему это отец не испытывает силу противника обычными рывками. Ведь он всегда так делал. Или он забыл?

Все помыслы, все внимание людей было устремлено на двух знаменитых палванов, которые медленно и как

будто бесцельно двигались по широкому кругу. На взволнованных лицах зрителей нетрудно было прочитать: кто из борцов любим и кто вызывает отвращение.

В разгар кураша Заман, взглянув на Кудрата, чуть кивнул ему и незаметно куда-то ушел...

После того, как курашисты обошли три круга, мингбаши начал, наконец, действовать. Упершись ногами в землю, он потянул к себе противника. Пояс в руках мингбаши вместе с тонким чапаном пополз вверх к лопаткам Барат-палвана. Но спина Барата не согнулась. Он стоял, как слегка наклонившийся крепкий карагач. Мингбаши покачал головой, дескать: «Ого, крепкий чу-гун!» Очередь теперь была за Барат-палваном. Он повторил движение противника. Спина у мингбаши выгнулась, а зад выставился, как курдюк у жирного барана. Вот тут Барат-палван несколько раз и рванул противника к себе. Но тот стоял прочно на своих длинных крепких ногах. И снова борцы принялись ходить по кругу, испытывая друг друга, примериваясь.

Хотя мингбаши уже стукнуло сорок шесть, он все еще был крепок. Все помнят, как на кураше, устроенном в честь большого хаита, он чуть ли не шутя победил нескольких, далеко не слабых борцов. Ревниво оберегая свою славу, он тогда уклонился от борьбы с Барат-палваном, но вот теперь пришлось встретиться.

Тридцатипятилетний Барат-палван обладал огромной силой и не раз удивлял зрителей своим высоким мастерством. Не желая быть победителем мингбаши, он до сих пор предпочитал: как бы не замечать Мадумара курашиста. Ну а теперь уже поздно рассуждать. Бой начался, и надо победить во что бы то ни стало. Надо спокойно и хладнокровно испытать противника и не допустить оплошностей. Ведь один раз промахнешься и... все, позор. Как потом жить опозоренному палвану, как смотреть в глаза людей, веривших в тебя?..

Опять начал действовать Барат-палван. Своими, словно чугуными, руками он потянул мингбаши к себе. Тот уперся коленями в колени Барата, грудью в грудь, и не давал поднять себя, но ноги его начали дрожать, сперва незаметно, потом все сильнее. Зрители заволновались, вскочили с мест. Всем хотелось видеть, как дрожат ноги мингбаши, как исказилось его лицо,

налились кровью его глаза. Но критический момент прошел. И противники ослабили натиск, ослабили мускулы... Фосих эфенди протянул мингбаши чай в пестрой пиале. Додхо, тяжело дыша, утирал правой рукой капившийся со лба пот. Двумя-тремя глотками он опорожнил пиалу...

Борьба возобновилась. Едва только противники взяли за пояса, как Барат-палван с возгласом «О Али!» внезапно оторвал мингбаши от земли, поднял его вверх, чуть не до самого плеча. Все замерли: «Как он kinetic его, куда?» В наступившей тишине можно было услышать жужжание комара. Фосих эфенди и большоголовый Мамараим засуетились, словно хотели предотвратить поражение мингбаши. Уж если тот станет падать, то, по крайней мере, стать его подпоркой. Кази Гиясиддин, вытаращив свои, как у мертвого теленка, глаза, шептал про себя какое-то заклинание. Вскочили с мест и музыканты. Давран задышался от волнения. Он не заметил, как одной рукой вцепился в плечо Кудрата, который, в свою очередь не отрывал глаз от борцов. Но в этот момент произошло нечто такое, отчего весь гузар охнул и замер. Барат-палван под тяжестью грузного мингбаши начал медленно клониться назад. В глазах мингбаши, повиснувшего в воздухе, сверкнула радость. Заулыбался хоким, радостно залопотал что-то кази. Фосих эфенди и большоголовый Мамараим готовы были пуститься в пляс.

И в тот момент, когда сторонников Барат-палвана охватила жгучая тревога, а сторонники мингбаши готовы были торжествовать победу, когда расстояние между землей и Барат-палваном все больше сокращалось и вот-вот должно было исчезнуть, знаменитый курашист, падая, молниеносно перевернулся и, бросив мингбаши навзничь, прижал его к земле. Все это произошло так неожиданно, что мгновение на гузаре стояла мертвая тишина, которая затем разразилась невообразимым шумом. Под бурные ликования Давран подбежал к отцу.

Барат, не отрывая рук от пояса мингбаши, помог ему подняться. Мингбаши так сильно ушибся, что изо рта у него появилась кровь. Он сердито взглянул на Барат-палвана и, тяжело шагая, вышел из круга.

Шайтан-палван взял тибетейку победителя и, как это принято, обошел с ней круг. Простые люди, словно встречая героя, победоносно возвращающегося с поля брани, приветствовали Барат-палвана аплодисментами, торжествующими возгласами и бросали в тибетейку полушки, копеечки, пяточки, гривеннички, а некоторые и больше.

Руководитель музыкантов уста Джалал язвительно обратился к Тешабаю:

— Видимо, подарки для победителей вы грузили на последнюю арбу, которая еще не прибыла?

Тешабай молча отвернулся. Поведение скряги бая заметил Джура-палван. Неожиданным рывком он снял с себя новый шелковый в полоску халат и накинул его на плечи Барат-палвана. Люди снова захопали, но Барат-палван, сердечно поблагодарив Джуру, вернул ему дорогой чапан. Ведь он был преподнесен Джуру тестем в день его свадьбы.

Но Джура-палван настоял на своем.

— Не я надеваю — народ преподносит вам этот дар! Народ все еще шумел, как река в половодье.

Глава пятнадцатая

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Наступила ночь. Бесчисленные звезды замерцали, словно передразнивая коптящие на гузаре четыре факела.

Гузар продолжал веселиться. Раздались удары в бубен — и на середину круга выбежала юная танцовщица. Она казалась стыдливой и скромной, как невеста. На голове у нее была ярко-красная косынка, из-под косынки виднелось множество косичек. Виски в завитках, за ухом — роза, глаза обведены сурьмой, щеки румяны, на шею коралловые бусы. Под жакетом атласное платье облегает ее стройную фигуру, на руках — браслеты, на ногах — лакированные ичиги... Чья это дочь, чья невеста?

Танец удивительно легок и грациозен.

Он пленил весь гузар. Зрители стояли молча. Они словно перенеслись в другой мир, воспетый в старинных сказаниях и легендах.

Даже кази Гиясиддин застыл с растянутым до ушей ртом. Но его душа была очарована не классическим тапцем, похожим на ожившую старинную гравюру. Его душу целиком поглотила исполнительница. Он не переставал шептать про себя:

— Бай-бай, розочка! Услада...— Но заметив на себе взгляд Асад кари, осведомился:

— Кари, чей это сын? Довольно приятный мальчик!

— Таксыр, это же ученик медресе, это младший сын Мамасолик домля,— заговорщически произнес кари и, улыбаясь, добавил:— И еще, таксыр мой, вам в своей худжре, наверное, не раз приходилось принимать плов из рук этой самой «розочки».

— Да-да! Смотрите-ка, совсем выскочило из голубы!— признал кази Гиясиддин.— Значит, это тот самый мальчик?

— Тот, ваш любимец, таксыр...

Когда танцор вышел из круга с полными карманами монет и с ассигнациями, засунутыми под косынку, зрители криками, улюлюканьем, аплодисментами стали просить его станцевать еще раз. Танцор не сразу согласился. Наконец он пошептался с музыкантами и те взяли в свои руки инструменты. Теперь над гузаром поплыла медленная нежная мелодия. Танцор уже не носился вихрем. Он передвигался то пятками, то носками, словно медленно плыл над землей. Взлетают брови, смеются глаза, рука уходит назад или порхает ко лбу, в такт мелодии мелко дрожат плечи...

После того, как был исполнен танец, все приготовились слушать певцов. Неожиданно на середину круга вышел Фосих эфенди, он держал какие-то листки.

— Господа!— произнес он и поднял руку, призывая к тишине, хотя все и без того молчали,— стихи, господа, могучая сила, пробуждающая высокие чувства, вы это сейчас почувствуете. Я прочитаю вам свое стихотворение «Прекрасная родина». Внимание, господа, я начинаю!

Фосих эфенди выставил вперед правую ногу и, заглядывая в листок, стал нараспев восхвалять привольную жизнь в Туркестане, который, по его словам, усилиями ханов превратился в земной рай с молочными реками и кисельными берегами, где, оказывается, весь народ живет в изобилии и довольстве, где большие (так Фосих эфенди

в своих стихах называл баев) трогательно заботятся о маленьких (бедняках), а маленькие терпеливы, послушны и покорны большим, где люди не знают, что такое грабеж, обман, насилие... Далее Фосих эфенди перешел к описанию красот и богатств страны. В садах Туркестана наливаются соком все существующие на свете фрукты, в горах полным-полно золота, на полях зреют невиданные урожан. Амбары дехкан, по его бумажке, ломились от зерна, а их сундуки — от добра. Затем Фосих эфенди перешел к восхвалению цветов, которые растут на его родине. Что за форма, расцветка, аромат у них! После этого он коснулся воды, которая стремительно течет, бурлит и разливается, преумножая счастье и веселье дехканина...

Фосих эфенди декламировал уже около получаса, а конца края его поэме все еще не было видно. Поэт только начал входить во вкус, между тем как слушатели все больше теряли терпение. Трудно сказать, долго бы он еще читал, если бы не одно маленькое происшествие. В то время, как Фосих эфенди с большим чувством декла-мировал:

Райский уголок его сады —
Только где сады такие есть?
Там арыки полные воды,
Только где вода такая есть?

неожиданно раздался мальчишеский голос:

— Смотрите, эфенди, кто к вам прыгает!

Фосих эфенди взглянул себе под ноги. Сперва он ничего не заметил, но затем вздрогнул. Прямо к его ногам прыгала большая лягушка. Фосих эфенди пришел в ужас, словно она могла прыгнуть ему за пазуху. Он смертельно боялся лягушек.

— Кто ее бросил сюда?

— Она сама! — раздался в ответ тот же озорной голос. — Ей надоела наша вонючая вода в хаузе, и она прискакала узнать, где журчат воды!

Все захохотали. Фосих эфенди хотел назвать слушателей невеждами и грубиянами, но заметив, что смеются и высокопоставленные лица, включая самого хокима, растерялся. Из затруднительного положения его вывела все та же лягушка. Она высоко подпрыгнула, и Фосих

эфенди, метнувшийся в сторону, счел этот момент наиболее благоприятным для отступления. Он негромко воскликнул: «Выродки», «Позор»,— и ретировался.

Заиграли музыканты. Справедливости ради следует отметить, что нашелся человек, который высоко оценил поэтическое дарование эфенди. Это был Мамараим, он об этом заявил, как только принял в свои распростертые объятия выскочившего из круга поэта. Но его дифирамбы прервал подошедший Тешабай. Он засыпал Мамараима кучей неотложных поручений.

В это время появился Заман. Кудрат, заметив довольное лицо, обрадовался.

Затем Гулямджан исполнял свой любимый напев «Даль».

Вступил я с мукой в этот мир, свою любимую ишу,
Не изумруд и не сапфир — свою любимую ишу...

Не потому ли эта песнь так трогала сердце людей, что певцу представлялась его любимая Хаётхон. Она как жизнь была с ним всегда и во всем. Он помнил о ней каждый миг. Он думал только о ней и искал только ее — и в затаянных мыслях, и во вдохновенных песнях. Вот и сейчас, выражая свою любовь в напеве, он душой стремился к Хаёт! Если бы она слышала этот тоскующий и страстный голос!

«О, когда исчезнет непроницаемый покров, разделяющий любимых! Когда избавятся от тисков их измученные души! Когда засияют счастьем вечно скорбные черные глаза?!»

Песни окончились, начались приготовления к кукольному представлению. Эти приготовления были несложны и вызвали в народе веселое оживление. Все в предвкушении интересного зрелища ждали с нетерпением начала спектакля. Что покажет карабулакцам этот маленький бродячий театр, в котором один только живой человек и множество маленьких смешных и трогательных кукол?

Наконец появился Хайдар. Люди, увидев его, затихли. Редко кто не знал и не любил мастера кукольных представлений. Это был много повидавший человек, обошедший со своими куклами столько городов и кишлаков! Зимой и летом он носил один и тот же чапан, так как

другого у него не было. Он жил одной мыслью с народом, одной с ним заботой. И случилось же так, что Хайдар проходил через Карабулак именно сегодня. И так как у его мингбаши (были и кукольные мингбаши) сломался меч, то Хайдар пошел за помощью к кузнецу Кудрату. Тот пошутил: «Если у ваших кукол есть лошадки, то я гораздо охотнее их подкую, чем буду чинить мингбашу, а тем более его меч». Но меч Кудрат все-таки починил, а потом долго беседовал с Хайдаром.

— Дорогие мои!— начал Хайдар.— Куклы мои торопят меня: поскорее, мол, открывай занавес, это значит, они хотят с вами поговорить по душам. Потому что они хоть и куклы, но думают, как мы с вами, и чувствуют, как чувствуем мы, да и разговаривают, как мы, только иной раз слишком откровенно. Если их кто обидит — они обижаются; когда они голодны — охают, ахают, ну прямо-таки, как мы с вами! Послушаешь, как они говорят, да и подумаешь: «Уж не передразнивают ли они нас, людей, эти маленькие человечки?» В их речах есть и смысл и толк. Недаром ведь говорится: «Слушайся старших, но не будь глух к малым». Вот и слушаем младших. Интересно, что они скажут. Кто знает, а может быть, от них услышишь такое умное, чего старшие не говорят или, может быть...— хотел было продолжать свою речь Хайдар, но, оборотившись к стоявшей рядом с ним миниатюрной сцене с занавесом, прикрикнул:— Сейчас, сейчас! Имейте терпение!— и, повернувшись к народу, продолжал:— Ну, хватит разглагольствовать. Прошу прощения, друзья, но если я не замолчу, не выпущу моих кукол, то они поднимут рев.

Эти вступительные слова развеселили всех. Хайдар низко поклонился зрителям, и, приподняв с одной стороны занавес, надел на себя сцену-театр, с четырех сторон которого опускались занавесы в аршин шириной и полтора аршина высотой. Тотчас же над занавесом появилась кукла и заревела в карнай, а две другие по углам, глядя на зрителей, широко улыбались и призывно махали руками, приглашали людей на представление, которое вот-вот начнется. За занавесом, украшенным золотистыми блестками, послышалась веселая кукольная возня, радостные восклицания. Затем занавес раздвинулся — и кукла-конферансье обратилась к народу:

Не обходите, люди, нас,
Не отводите, люди, глаз!
Мы куклы — детская игра,
Но мы с душою тоже,
Желаем людям мы добра,
Особенно хорошим!
Хороших воспеваем мы,
А подлых проклинаем мы!
Друзья-товарищи, итак,
Внимайте нам внимайте,
А если что ни о, да не так,
Вы нас не осуждайте!

Зрители встретили конференсье неистовыми аплодисментами, а он обратился к музыканту:

— А ну, старик, что-нибудь веселенькое!

Старый музыкант неожиданно полувивший приказание, взял в руки бубен и заиграл первое, что пришло в голову. На сцену миниатюрного театра вышли джигит и девушка и начали танцевать. Они ушли со сцены пятясь, под шумные аплодисменты. После этого послышалось жалобное мычание быка — и через мгновение появился худой, жалкий, с торчащими ребрами бык, запряженный в деревянную соху. За сохой шел не менее худой, оборванный пахарь. Он грозно размахивал прутиком, кричал:

— Шагай проворнее, дурень! Что ты волочишь ноги, как мертвый, тварь ты этакая! Соображаешь ты, чье ты имущество, чья скотина?

Бык повернул к пахарю свою голову со сломанным рогом и, тараща слезящиеся глаза, промычал человеческим голосом:

Хозяина звать моего мулла Хол,
Ох же и скряга он, старый козел!
Корм его «сытный» живот мне подвел,
Где же силу взять, не пойму!

Люди оглушительно захохотали. Бык, нагнув голову, тщетно пытался сдвинуть с места соху, а пахарь то и дело понукал:

— Мне до этого нет дела, тяни соху, а не то мне попадет от бая. Ну! Шагай быстрее!

Наконец бык зашевелился, задвигался, но не вперед, а назад, зрители хохотали, а пахарь злился:

— Ну, куда же ты!— кричал он на быка.— Что за напасть! А ну-ка, давай попроворчей!

Бык, повернув голову, опять жатобно промычал:

Честно тружусь я все дни напролет,
Он же мне травку гнилую дает
И на мороз выгоняет: ты скот,
Где же силу взять, не пойму!

Пахарь вышел из себя:

— Не болтай чепухи, бестолковый! При чем здесь травка? Лентяй ты эдакий. Быстрее!

Но бык, подобрав задние ноги, уселся, опершись на передние, и прямо-таки простонал:

Живу я, не делая зла никому,
За что же страдаю я так, почему?
Да, бык я, конечно, видать по всему...
Где же силу взять, не пойму!

Когда кукла произнесла «бык я», люди захохотали Пахарь, несмотря на возражения быка, грозил:

— Хватит, не умничай много! Время уходит! Тяни, говорят, проворнее!

Бык, неожиданно оскалив зубы, засмеялся, как человек, затем обернулся к пахарю:

Ну бык я! А ты кто, дехканин, скажи?
Ты человек иль скотина, скажи?
Молча влачишь ты проклятую жизнь,
Где же силу взять, не пойму!

Услышав этакое, пахарь растерянно развел руками.

— Ия!— произнес он, смотря то на быка, то на людей.— Вот это отрезал! Так-так, ну а еще что скажешь? Что у тебя еще есть? Выкладывай! Говори все сразу, чтобы не жалеть потом!

Бык продолжал жаловаться:

Баем запряжены в плуг мы вдвоем,
Рядом по полю устало бредем...
Нет у нас счастья ни ночью, ни днем!
Где же силу взять, не пойму!

Пахарь, почесывая голову, так и сел. Бык продолжал:

Слезы от горя ручьями текут,
Кто оценил наш безрадостный труд?
Платит сполна нам хозяина кнут!
Где же силу взять, не пойму!

Пахарь печально посмотрел на быка. Чуть не плача, он произнес:

— Правильно говоришь, брат, жизнь наша одинаково нищенская!

А бык жалостливо пахарю:

Чем ты похвалишься — рваной кошмой?
Весь ты в заплатах, босой и худой,
Черствый кусок запиваешь водой!
Где же силу взять, не пойму!

Пахарь не стерпел. От жалости к самому себе он начал всхлипывать, а затем, заикаясь, обратился к быку:

— Спасибо, тысячу раз спасибо тебе! Теперь я понял, что моя жизнь ничем не отличается от твоей, скотской! Спасибо тебе, друг, что ты открыл мне глаза.

Бык, словно сочувствуя своему другу, посоветовал:

Ты человек, а не скот на цепи!
Кровью ты байских полей не кропи!
Так, просыпайся скорее, не спи!

Пахарь подбежал к быку, обнял его за шею и заплакал навзрыд...

Народ, выражавший свое одобрение криками, смехом, аплодисментами, к концу смолк и насторожился. Он все больше и больше начинал понимать, что боль и обида кукольного пахаря — это его боль, его обида. Люди стали серьезны. Блестящими глазами смотрел на сцену Кудрат. Когда представление окончилось, он обернулся к сидевшему рядом с ним Гулямджану и крепко пожал ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо вам за то, что вы сказали народу устами этих маленьких деревянных человечков.

Гулямджан, взглянув на Кудрата, произнес:

— Таков наш долг.

Открылся занавес, и на сцене снова появился конфетансье.

— Дорогие мои друзья! Мы часто встречаемся с нашим любимым поэтом Мухаммед Амин ходжа Мукими и хорошо с ним знакомы. Само собой разумеется, что мы его знаем гораздо лучше, чем он нас... Однажды Мукими домля, навестив нас, доставил нам великую радость. Зот уже прошло три года, как мы принимали у себя нашего дорогого, уважаемого учителя. Сейчас я хочу припомнить, как он пришел к нам и что он сказал.

Народ выслушал эти слова с большим интересом. Хотя немногие могли похвастаться, что видели Мукими, но не было, кажется, ни одного человека, который не слышал бы о нем, а то и не знал бы на память его прекрасных газелей, юмористических и сатирических стихов.

Тихо раздвинулся занавес — и на сцене появился маленький человек в полосатом чапане, с аккуратно накрученной чалмой, чернобородый, чернобровый, черноглазый. У него было умное пронизательное лицо, чуть насмешливое и немного грустное. Он низко поклонился народу. И словно появился сам Мукими, весь народ ответил почтительным низким поклоном. В это время из другого угла сцены появился мингбаши в парчовом халате, с мечом на ремне, с пером, воткнутым в чалму, с плеткой в руках. Это был прямо-таки вылитый додхо Мадумар, только меньше настоящего. Все разом закричали:

— Мингбаши! Мадумар мингбаши!

Кукла Мадумар додхо, совсем как живой мингбаши, со злобным укором посмотрела на зрителей.

— Додхо мой! — обратился Мукими голосом, полным иронии и осуждения.

Мингбаши сердито обернулся. Мукими обратился к нему с нескрываемым презрением:

Додхо, додхо, порядки-то ты знаешь.
Но никому без взятки не внимаешь.

Народ засмеялся. Усы додхо дрогнули, брови насупились, глаза, казалось, полезли на лоб, но все-таки он продолжал стоять, не двигаясь. Рядом с ним очутился бай в суконном чапане. Появился также бедняк в старом чапане, но, боясь приблизиться к додхо, робко жался в сторону. Мукими продолжал:

Шел человек в халате жлатотканном.
И повстречал другого, в платье рваном.

И Мукими указал на бедняка. Бай, поклонившись мингбаши, исчез, а мингбаши, гордо выпятив грудь, стал расхаживать перед бедняком.

Мукими:

Умерь свой пыл! Кичиться не спеши,
Худоярхан ты, что ли, мингбаши?

Судя по тому, как зрители все больше и больше смеялись, видно было, что слова Мукими доставляют им огромное удовольствие. Но на куклу-мингбаши не действовали ни ядовитая насмешка прославленного народного поэта, ни презрительный смех людей. Он, как прежде, стоял гордый, спесивый. Тогда Мукими принялся щеко-тать его сильнее.

Оружием ты, додхо, обвешая весь,
Проклятие народа ты привеси!

Над гузаром снова прокатился хохот. Он превратился в восторженный рев, когда на сцене, путаясь в полах халата, появился мулла, в огромной, как казан, чалме, подошел к мингбаши и начал с ним целоваться. Когда смех бесколько стих, Мукими продолжал:

А вот другой, с мощны не сводит глаз —
Кази и первый взяточник Гияси!

Упоминание хорошо всем знакомого кази Гиясиддина явилось для зрителей таким неожиданным сюрпризом, что по площади раздалось единодушное «Вах!!!» Совсем только недавно, когда кукла — Мукими — разоблачала и клеймила мингбаши, живой кази, выставив три желтых зуба, беспечно смеялся. Теперь, услышав свое имя, он вскочил так стремительно, словно в него воткнули иголку. Он что-то говорил, жестикулировал, но шум и гул народа поглотили его голос.

Над ширмой появилась еще одна кукла, изображавшая одного из стоявших обособленной группой баев. Зрители уставились на Мукими. Что он скажет? Народный поэт был краток. Указав на куклу, он проскандировал:

На волосок от смерти я, взгляни!
Избавь меня от них, о Мукими!

Гузар наполнился хохотом, криком, торжествующим ревом, которые внезапно оборвались, словно кто-то отсек их.

— Стой! Ни с места!..

Неистово крича, размахивая саблей, на гузаре появился Миркосим. Вслед за ним прибыл хоким в сопровождении своих людей. Он не переставая выкрикивал какие-то немецкие слова. Взобравшись на супу, он бросил в толпу:

— Бандиты проклятые!

Народ оцепенел. Никто не знал, что произошло. Что взбесило хокима. Фишман через переводчика все объяснил:

— Подлецы! Кто отбил трех арестантов, которых я послал в город?! Кто перевязал конвойным руки и ноги, кто набил им рты тряпьем?! Кто? Сознаться!! Если сейчас не выдлите подлецов, пушу в ход сабли.

Народ безмолвствовал. Некоторые из тех, что стояли сзади, поспешили незаметно скрыться. Кудрат, стоявший впереди, отыскал глазами силача Барата, Замана и подмигнул им...



Часть третья

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ





Глава первая

НАЧАЛО БИТВЫ

Задолго до утренней зари почти все мужское население Карабулака тронулось к горе. Люди двинулись на сражение за воду. Они шли на битву за изобилие и счастье, окрыленные, полные светлых надежд.

Они не думали об оставшихся дома женах, детях, обеде, одежде, ночлеге. Все мысли были о воде — и только о ней. Люди намеревались провести воду, продлить ей путь, даже если бы для этого пришлось просверлить гору из железа. Ведь они, как и высохшие окаменевшие земли Карабулака, тоже пострадали по воде.

Молодые, пожилые, старые двигались к горе верхом, на арбах, пешком. Они пели, шутили, смеялись. Вода! Желанная вода! Вековая мечта узбекского народа... Люди шли, не думая о трудностях работы, шли беспечно, словно их ждали не тяжкие испытания, а веселый праздник.

По мере того, как они приближались к горе, все чаще под ногами и колесами скрипели камень и гравий.

Уже давно рассвело. Небо, как всегда, было безоблачно, чисто, от горы, к утру прохладной, в лицо и грудь веяло свежестью. Радуюсь рассвету, наполнившему мир солнечными лучами, пели и носились в небе жаворонки. Вдали и вблизи приветствовали утро разноголосые пев-

цы. Царь пернатых, усевшийся на вершину высокого скалистого утеса, хищным горделивым взглядом озирает хлопочущих внизу людей.

А они, словно армия, готовящаяся к осаде крепости, копошились у подножия горы, разбивали палатки, тащили камни, кирпичи, лопаты, молотки, ломы... Может быть, было бы легче колодец прорыть иглой, чем этими орудиями просверлить гору. Но об этом никто не думал. Чтобы дать воде дорогу, люди, казалось, готовы были прокладывать ее голыми руками, ногтями, зубами...

Гора, у подножья которой собирались теперь люди, называлась Ледяной, возможно, называлась она так потому, что некогда по ней стекали воды с ледников, хотя теперь она была лишена даже признаков льда не только летом, но и зимою.

С вершины, напоминающей горб верблюда, удивленным глазам предстают два непохожих мира: правый склон горы, обмываемый полноводной рекой — там густые кущи зеленых деревьев, разнообразные, как многоцветный чапан дервиша, тугайные поля, — и северный склон, переходящий в долину, покрытую облаком пыли, мертвую, лишенную зелени и жизни. На одной стороне — изобилие, яркость, цветение. На другой — убогость, скудость, серость. Одна сторона не может помочь другой. Между ними гора! Таджик-сай течет мимо, сворачивает на запад и с ревом беспечно катит свои воды в Шарихан-сай, одну из рек в Ферганской долине. Сколько лет, сколько десятилетий течет она так мимо Карабулака без всякой пользы и все потому, что кишлак отделен горой от реки. Нужно во что бы то ни стало просверлить гору, пустить воды реки в Карабулак.

Весь простой люд уже давно собрался, а начальства все еще не было. Его высматривали, выбегая на дорогу, подымаясь на гору. В ожидании горячо обсуждали предстоящие работы. Одни говорили: «Лишь бы гору просверлить. И Таджик-сай наш!», другие сомневались: «Как сказать! Нельзя предвидеть, что вылупится из яйца под наседкой: то ли петух, то ли курица, а может быть, вообще яйцо тухлым окажется!» Дед Алим, уверявший вчера, что народ согласен просверлить гору, сейчас говорил:

— Канал надо рыть не против горы, а на три-четыре

версты выше по течению. Иначе вода не поднимется по туннелю.

В ответ на это Хасан суфи, оглядев обе стороны горы, покачал головой:

— Вода-то поднимется, но ровно настолько, чтобы напоить земли баев, а нам ничего не достанется.

Дед Алим посмотрел своими еще молодыми глазами под белыми густыми бровями на восток. Он долго осматривал ту и другую стороны, наконец, медленно обернулся к Хасан суфи и сказал задумчиво:

— Суфи, не кажется ли вам, что лучше, хоть это и дальше, взять воду из реки Акбуры, которая течет со стороны Оша?

Хасан суфи посмотрел на восток. Посмотрел и, словно здесь уже протекали воды Акбуры, улыбнулся.

— Мне тоже так представляется, аксакал, хоть это и дальше, но вернее. Если бы мы пригнали сюда не половину Акбуры, а хотя бы четверть, то стал бы наш кишлак озером, а сами мы — утками! Вот тогда бы мы и землю оросили и.... Вы правы, аксакал!

Внезапно снизу раздался шум. Дед Алим и Хасан суфи посмотрели вниз. Несколько всадников спешили среди обступивших их людей.

— Хоким! — произнес дед Алим.

Хасан суфи, тряся своей козлиной бородкой, засмеялся.

— До чего же преображается человек от радости! Взгляните, аксакал, народ, только вчера готовый загрызть хокима, сегодня вон какие почести ему оказывает!

— Народ все равно, что доверчивое незлобивое дитя, — улыбаясь, произнес дед Алим. — Все из-за воды. Вы только посмотрите: прослышали бедняги о воде и места себе от радости не находят.

Очень скоро хоким, Тешабай, мингбаши, аксакалы, эликбаши взобрались на гору. Не обращая внимания на присутствие деда Алима и Хасана суфи, они начали говорить о предстоящих делах. Тешабай, указывая тестю на подножие горы, произнес:

— Начнем вот здесь. В Карабулаке есть два амина, один будет руководить работами со стороны кишлака, а другой — со стороны реки. Если не будем прорывать од-

повременно с двух сторон, то и работа ратянется и многие люди останутся без дела.

Мингбаши, покорно слушая Тешабая, произнес:

— Чем сверлить гору, может быть, сверху продолжить ее?

— Об этом вас не спрашивают,— грубо прервал его Тешабай.— Ваше дело объяснить аминам их обязанности и следить за ними, одним словом, наострить глаза и уши! Понятно?

Мингбаши ничего не отвечал. Он стоял истуканом, не решаясь возразить Тешабаю.

Хокиму, понитересовавшемуся происшедшим разговором, Тешабай перевел предложение мингбаши — сверху продолжить гору. Хоким так решительно поддержал Тешабая, будто был с ним в сговоре:

— Нет, нет! Ни в коем случае!

Тут подошел дед Алим и, поделвшись своими соображениями, скромно добавил:

— Добрый совет делу не помешает.

Но Тешабай грубо одернул старика:

— Видимо, старость расстроила ваши мозги, да и глаза тоже! Что мне — тридцать верст воду профордить, тридцать лет с вами мучиться? Нет, аксакал, приберсгите ваш совет для своей старухи, а мы еще, слава богу, не рехнулись!

Огорченный старик умолк. Оскорбительный ответ был для него полной неожиданностью. Ведь так уж повелось, что старики подают разумный совет, а молодые пожинают его плоды. Дед Алим молча стошел.

Тешабай хорошо знал, что делал. Еще до своего появления в кишлаке, он вместе с хокимом побывал здесь. Все продумано и осмотрено. И если они решили провести воду в Карабулак этим способом, а не другим, значит так им нужно.

Тешабай принадлежал к торговому племени, и в искусстве превращения рубля в десятку он, как говорят, съел собаку. Он хорошо знал, что если ему придется ежедневно варить двух баранов для работающих, то этот убыток в десять раз меньше ожидаемой прибыли. Тешабай хорошо помнил завет своего отца: «Если дело сулит прибыль, не бойся затрат».

Ну а что же его сиятельство уездный начальник хо-

ким Карл Фишман? Ведь он, как и надлежит слуге царя, в Карабулаке обещал беднякам свою помощь, поддержку и милость. Но ведь Карл Фишман тоже человек, которому надо есть и пить... Вот поэтому-то он, коснувшись рукоятью плетки живота мингбаши, заговорил:

— Мингбаши! В уезде не должно остаться ни одного человека, который не вышел бы на работу! Если кто-нибудь будет укрываться от работы, я тебя самого заставлю сверлить гору! Поглядывай за этим делом! Для них ты — мингбаши, а для меня — так... Вот то-то! Крепко держи своих аминов, пусть элликбаши следят и называют тех, кто отлынивает от работы, понял? — произнес он и грозно оглядел всех окружающих его сановников. Все они, как по команде, поклонились ему.

Хоким закричал собравшимся внизу людям:

— Начиная с сегодняшнего дня, будете прорывать гору! Кто станет уваливать от работы, пойдет в Сибирь! Погоню с кандалами на руках и ногах, поняли? Хлеб будете есть свой, а варить похлебку станет Тешабай. Теперь дальше: работа идет с рассвета до наступления темноты. Салык амин со своими людьми будет рыть со стороны кишлака, а люди Салим амина — со стороны реки. Рыть придется примерно с версту, но если даже придется и десять, то будете рыть и десять. Понятно? Вот и все!

Хоким и не мог дать иного приказа, так как хоким Фишман и коммерсант Фишман были на деле одним лицом. Хоким Фишман гнал людей на работу для того, чтобы коммерсант Фишман получил прибыль. Неожиданная жалость хокима, забота и доброта Тешабая свалились на голову карабулакцев, как снег на голову. Ведь Тешабая давно известно, что плодороднейшая земля бесплодна только потому, что она иссушена, а после андижанской катастрофы и вовсе превратилась в пустыню. Почему же именно сейчас Тешабай проявил такую не свойственную баям заботу о своих живущих в нужде земляках? Почему прижимистый и скупой Тешабай будет каждый день резать двух баранов и кипятить два казана ради воды, которая еще неизвестно когда появится? Почему было приказано проводить воду через Ледяную гору от Таджик-сая, а не от Акбуры, что многим казалось целесообразней?

А произошло это потому, что хоким и Тешабай, решившие последовать примеру владельцев больших земель и хозяев хлопкоочистительных заводов, договорились прибрать к своим рукам пустующие земли, провести туда воду и на орошенных нетронутых землях посеять хлопок. Осуществление своих далеко идущих планов они задумали начать с Карабулака. По взаимному уговору новые земли, да и вода, которая их оросит, становятся собственностью Тешабая, а Тешабай, получив в этом районе урожай хлопка, тутового шелкопряда, и шерсти до последней грамма, и коробочки должен продавать все дельцу Фишману, который, в свою очередь, все это добро, полученное тяжким трудом тысяч бедных крестьян, будет посылать на текстильный комбинат своего брата Фрица Фишмана в Баварию. Вот этим и объясняется то рвение, с каким хоким и Тешабай претворяли в жизнь свой замысел.

Что же касается способа проведения воды, то и на это была своя причина. Район реки Акбуры и все прилегающие к ним земли входили в сферу влияния крупного бая Симхаева, с которым наши дельцы тягаться побоялись. Волей-неволей пришлось сверлить гору... Народ обо всем этом, конечно, не знал и при всех своих сомнениях и колебаниях готовился приступить к работе, тем более, что на этот раз приезд хокима ознаменовался приятным событием.

За все время существования кишлака не наблюдалось случая, чтобы приезд хокима или другого высокопоставленного лица не сопровождался арестами, слезами, горем, бедой. О взяточничестве и произволе Фишмана дехкане говорили:

Был у нас хоким Фишман,
Чтобы черт его побрал!
У кого пустой карман —
Он врагом своим считал.

А теперь этот самый Фишман никого не наказал, никого не арестовал и, что особенно всех удивило, оставил в покое даже Кудрата, обращение которого к солдатам не стрелять нужно было бы расценить как «подстрекательство», «бунт» или еще что-нибудь в этом роде. Что все это означает? Кто знает?

Воздух еще не накалился, а тучный хоким уже расстегнул все пуговицы на груди и отчаянно обмахивался. Мингбаши хорошо знал: нельзя допускать, чтобы у хокима испортилось настроение. Поэтому он приказал вертешемуся рядом Сали-савуку:

— Подите к берегу реки и приготовьте там прохладное местечко для хокима.

Сали-савук препоручил это дело Джуману-тихоне.

— Джуманбай, возьмите ковер внизу и бегите за мной!

И оба прихвостня бросились в разные стороны.

Когда мингбаши вернулся к сановникам, Тешабай, хмурясь, слушал Садыка амина.

— Сверлить-то с двух сторон мы будем, ну а если коридоры не сойдутся?— спрашивал Садык амин.

Тешабай сердился:

— Амин, ведь вы не свои глаза будете сверлить! Так чего же вы боитесь?

Бесцеремонный ответ задел Садыка амина.

— Я боюсь, таксыр, — ответил он не смущаясь, — как бы люди не мучались напрасно.

— А это зависит от вас, — несколько поостыв, ото-звался Тешабай.

Садык амин задумался. По правде сказать, он и сам хорошенько не знал, как вести работы. Но в это время к нему подошел дед Алим, разговаривавший в стороне с Хасан суфи. Увидев погруженного в размышления Садык амина, он обратился к нему:

— Это дело нетрудное, аксакал. Нужны только пять-шесть шестов по два-три аршина каждый. Их тут же можно сделать.

Садык амин сперва удивился, затем, посоветовавшись с Тешабаем, сказал:

— Хорошо, сделайте. Посмотрим!

Вскоре появилось нужное количество шестов, и дед Алим начал искать кратчайшую прямую линию для будущего подземного канала. Снабдив двух людей длинными шестами, он поставил их в местах, откуда примерно должно было начаться прорытие встречных коридоров. Затем посередине между ними был поставлен третий человек с шестом покороче.

— Эй, сынок, тебе виден дальний шест?

Джигит стветил утвердительно. Старик с таким же вопросом обратился к другому джигиту. Это было не так-то легко, ведь обоих людей с шестью разделяло расстояние в километр... Затем начались довольно сложные манипуляции, во время которых связные по указанию деда Алима перебегали от одного человека к другому. Люди что-то кричали друг другу, застыв на месте, втыкали шести в землю, вынимали их и, переместившись, снова ставили где-то рядом.

Хоким, собравшийся было укрыться в приготовленное Сали-савуком тенистое место, с интересом следил за происходящим, хотя ничего в этом понять не мог. Европейский коммерсант дивился тому, что этот одетый в рванье неграмотный азиат без всяких оптических приборов так уверенно и, по-видимому, точно определяет линию будущего подземного канала.

Салим амин, наконец, повел своих людей в сторону реки. По обеим концам будущего канала сгрудился народ. Люди, держа в руках кирки, молоты, клинья, лопаты, чувствовали себя сильными, могучими...

Древний, с белой бородой и усами, старик поднялся на ясно видимое с обеих сторон возвышение и, воздев руки, произнес подобающие случаю слова. Его голос был ясно слышим всеми людьми, застывшими в глубоком молчании.

— Пусть бог вдохнет в вас силу! Кто будет идти по пути народа, петься о нем, того рука да будет могучей. Боритесь! Будьте тверже камня! Сокрушайте его! Но не сокрушайтесь сами! Аминь!

Со времени своего возникновения гора Ледяная не слышала такого шума голосов, какой раздался в ответ на доброе напутствие седого патриарха. К небу Карабулака никогда не возносились столь торжествующие возгласы. Народ готовился к походу за хлеб против голода, за счастье против бед и горя, за жизнь против смерти.

Заман ликовал не меньше других. Он был обут в подаренные Кудратом старые сапоги, в руках держал тяжелую кувалду, величиной чуть ли не с голову. Полы его черного чапана были заткнуты за пояс, а лицо горело от возбуждения. Теперь он напоминал собою Фархада¹. Но

¹ *Фархад* - герой поэмы Навои «Фархад и Ширин».



это был не Фархад, прибывший на поиски прекрасной Ширин, это бедняк из Карабулака пришел добывать живительную влагу.

Барат-палван находился рядом с Заманом, также готовый приступить к работе. Чуть поодаль стояли Матковул с каким-то дехканином, вооруженные носилками, кетменем и киркой. Когда кончилась благодарственная молитва, Заман подошел к скале и в намеченном месте ударил своим молотом. Камень разлетелся, сверкнули искры...

Глава вторая
ВОРОНОЙ КОНЬ

Хоким, Тешабай и мингбаши Мадумар возвращались в кишлак. Прохладное местечко, приготовленное Салисавуком у берега реки, так и не понадобилось. Мингбаши выглядел бодрым и довольным. Он всю дорогу шутил со своим зятем. Теперь он совершенно не походил на вчерашнего мингбаши Мадумара, напуганного и растерянного. Он понял, что грозный тон и грубость хокима по отношению к нему были только показными, что целью хокима было вчера посеять страх в сердце народа. Теперь, когда нет чужого глаза, чужих ушей, хоким мило, дружески шутит и смеется.

Слуги мингбаши для первого раза тоже были посланы на работу, поэтому всадников встретили Фосих эфенди и Мамараим. Один пошел навстречу хокиму, другой—Тешабая. Учтиво подхватив гостей под руки, они помогли им слезть. Потом отвели коней в хлев, сняли уздечки и бросили коням свежего клевера. Не успел Мамараим справиться с этой новой обязанностью, как был ошарашен зовом мингбаши. Додхо, вручив ему поводья, приказал:

— Привяжите в хлеву и задайте клевера!

Мамараим эфенди пришлось увести и коня мингбаши.

Гости направились прямо в гостиную, где были растелены шелковые одеяла и положены пуховые подушки. Хоким, позвав есаула, приказал ему готовиться в путь. Когда есаул вышел, он обратился к мингбаши:

— А кто на коне поедет?

Додхо хорошо знал, о каком коне идет речь, хоким имел в виду вороного, благодаря которому додхо Мадумар остался в чине мингбаши.

— А почему бы на нем не поехать вам?

— Нет, не подойдет,— покачал головой хоким.— А что люди скажут? Вот, мол, додхо Мадумар дал хокиму взятку и благодаря этому... Нет, не годится.

Опасения хокима несколько не тревожили мингбаши, он чуть заметно улыбнулся, дескать: «теперь мне все ни-почем», и сказал:

— Коль плов заработан честно, можешь есть и на улице.

Тешабай рассмеялся. Хоким промолчал. На помощь пришел Фосих эфенди, находившийся здесь же. Он услужливо предложил:

— Если мне позволит господин хоким и уважаемый додхо, поскольку я без коня, то на этой лошадке мог бы проехаться.

Хоким, раскуривая толстую сигару, сделал вид, что не расслышал слов Фосих эфенди. Мингбаши молчал, за него ответил Тешабай.

— Превосходно! В городе как раз есть дело для вас. Вы знаете уста Бахрама?

— Нет, к величайшему сожалению,— согнулся пополам Фосих эфенди.

— Он живет на Лягушачьей улице. Узнайте, располагает ли он временем. Сейчас из горы выворачивают подходящие для стройки камни. А мне как раз надо кое-что пострить. В городе нет более искусного мастера, чем уста Бахрам. Кстати, вы не знали мирзу — приказчика моего покойного отца!

— Ашура мирзу?

— Да.

— Мне он хорошо известен.

— Так вот, уста Бахрам является свояком этого порождения ада.

Вошел есаул и доложил, что все готово к отъезду. Хоким встал, потянулся и вышел во двор. Мамараим привел коня и учтивейшим образом помог хокиму сесть. А вороной, на которого мингбаши возлагал все свои надежды, вымытый, расчесанный, сейчас приплясывал на месте с Фосих эфенди на спине.

Когда последний солдат скрылся за поворотом, Мадумар додхо, словно с плеч его свалилось тяжелое бревно, облегченно вздохнул.

— Слава аллаху!

Было сказано только два слова, но они вполне выражали сейчас все его чувства. Начиная с ночи, когда прискакал гонец, мингбаши чувствовал себя на волосок от гибели. Он ждал ее с минуты на минуту, измучившись, как собака. Только теперь он, наконец, успокоился. Мингбаши захотелось без передышки пробежаться до ичкари и там похвастаться перед женой. Он оглядел себя, словно хотел еще раз убедиться, что символ его власти — сабля

и пояс — на месте. Ведь он привык считать, что подобно тому, как необходимы человеку руки, ноги, глаза и уши, так и неотъемлемым атрибутом мингбаши является сабля. Да, все было на месте.

— Слава аллаху!

Мадумар додхо, или как справедливо и торжественно назвал его Фосих эфенди, уважаемый додхо, побежал в ичкари и, увидев на айване жену, растянул в улыбку свой рот и в третий раз воскликнул:

— Слава аллаху!

Бегнаим, по-змеиному хитрая и проницательная, взглянув на мужа, мигом поняла, что осталась госпожой мингбаши.

— Слава аллаху! — отозвалась она и положила голову на грудь мужа.

Так и стояли они несколько минут — мингбаши со своей супругой, упиваясь счастьем. Затем они вошли в большую комнату, где вчера выбирали подарки для хокима. На мягкой постели из шелковых одеял и пуховых подушек лежал кто-то, накрывшись с головой. Жена и муж, подойдя на цыпочках, остановились возле постели. Мингбаши, нагнувшись, приподнял край одеяла. Там лежала Джурахон, бледная, с разбитым, в ссадинах лицом, с растрепанными волосами. Сейчас она совершенно не походила на ту красавицу, что вчера обольщала Гулямджана. Бешеный Азим потратил немало сил, чтобы лишить ее внешности пери. Мингбаши снова накрыл дочь и вопросительно взглянул на жену.

— Сейчас уже ничего. Просит есть. Я ей дала мясо с рисом, заправленное остреньким. Теперь, бог даст, поправится.

Мингбаши задумался. Затем, нахмурив брови, спросил:

— А как ты поступила с этой подлюгой служанкой?

Жилистое лицо Бегнаим исказилось:

— Я прогнала ее вон!

— Так и надо. А ты не узнала, куда девался этот игрок?

— Чтоб он едох, — ответила Бегнаим.

— Ах, собака! Ведь мы же пригтели его! Ну постой! Не будь я мингбаши Мадумар, если не поймаю его и не всыплю! Из-под земли за уши вытяну, с неба за ноги стащу! Не скроется он от меня!

— Как она упрашивала, как молила,— причитала Бегиаим:— «Не бейте! Каюсь! Больше не буду!» А как плакала!.. Ах, чтоб ты черной кровью изошел, тиран проклятый! Так избить за взгляд, брошенный на сопляка, с которым дружила когда-то!— горевала Бегиаим, стеноя и охая, а затем, переменяв тон, набросилась на мужа:

— Во всем вы виноваты! Не за человека, за дьявола выдали вы ее, чтоб сгорела могила этого проклятого!

— Не болтай, ведьма!— злобно огрызнулся мингбаши.— Ведь он дал ей тройной развод!¹ Найдешь ей теперь муженька по своему вкусу!

Глава третья

КУДРАТ

Когда Кудрату минуло семь лет, он осиротел. Хорошо еще, что его тетка по отцу была замужем за состоятельным торговцем тканями. Они приютили Кудрата. Но богатей-дядюшка не очень обрадовался лишнему едоку. Он сделал племянника подметальщиком громадного деора-ташкари. Мальчишка, надрываясь, таскал воду, поливал, выгребал мусор; вечером, когда батраки возвращались с поля, он вместе с ними резал клевер, а поздно ночью, обессилев, валился с ног и засыпал мертвецким сном. Утром, когда куры еще не слезали со своих наместов, Кудрата поднимали, и он снова принимался за работу.

Хотя Кудрат не может точно припомнить: сколько лет он был подметальщиком, поливальщиком, сколько он вынес пинков, толчков, но одна история крепко засела в его памяти. Торговец-дядя каждый день, поручив лавку старшему сыну, уходил для намаза домой. До его прихода двор должен был быть выметен, вычищен, полит. И вот однажды, когда мальчик поливал двор, верхом на палке-лошадке появился младший сын хозяина. Конь был резвый, норовистый, богато разукрашен разными цветными тряпками... Всадник, пустив коня вскачь, поскользнул-

¹ *Тройной развод* — развод, после которого по шарнату нельзя восстановить брак.

ся в луже, которая образовалась от только что политой воды, и упал. Разозленный мальчишка, подскочив к Кудрату сзади, дал ему пинка. Кудрат с ведром в руке от неожиданности чуть не полетел на землю. Сердито взглянув на более старшего двоюродного брата, он отшвырнул ведро и бросился в драку. Тут внезапно появился торговец. Он не вмешивался, наблюдал издали. Но когда Кудрат усеялся верхом на нахального мальчишку, из носа которого показалась кровь, торговец не стерпел. Стремглав подбежал, схватил Кудрата, скрутил ему руки назад и приказал сыну.

— Бей! Бей крепче, не стесняйся! Ну!

Тот осыпал Кудрата градом ударов. Кудрат, на лице которого появились ссадины, сперва крепился, но потом не выдержал и горько заплакал от обиды и боли. В ташкари не нашлось никого, кто бы мог заступиться за избиваемого ребенка.

На следующий день Кудрат ушел от тетки. Три дня он бродил по городу в поисках пищи и пристанища. На четвертый день он поступил в услужение к русскому торговцу керосином. Два года он вдыхал и распространял запах керосина. Зато к пятнадцати годам уже прилично знал русский язык. Так как магазин торговца находился в новом городе, то Кудрат познакомился и сдружился с русскими мальчиками, работавшими учениками в депо, и, наконец, сам поступил туда учеником. Проработав в депо шесть лет, он в двадцать один год стал помощником мастера по ремонту вагонов. В этом помогли ему русские друзья. Они же научили Кудрата ненавидеть ту несправедливость, зло, которые он раньше не замечал или считал естественными. Он вступил в подпольный кружок, стал втягиваться в революционную работу, но через некоторое время его арестовали. В тюрьме он узнал многое. Она стала для него настоящей школой. Тюрьма разлучила его с работой в депо, но не могла разлучить с приобретенными друзьями. Напротив, она только скрепила дружбу. Выйдя на свободу, Кудрат поступил на работу на хлопкоочистительный завод Симхаева. Там было много рабочих таджиков и узбеков. Кудрат читал им листовки, беседовал с ними на их родном языке. После андижанского землетрясения местные рабочие завода Симхаева бросили работу и потребовали повышения заработной платы,

человеческого отношения к себе. Забастовка не прошла безрезультатно. Требования, хоть и не полностью, были удовлетворены. Но Кудрата снова начали преследовать. Новый арест грозил ссылкой в Сибирь. Перед Кудратом встал вопрос: либо быть сосланным в Сибирь и, таким образом, на несколько лет выключиться из революционной борьбы, либо скрыться на время, запутать следы. Кудрат, по совету товарищей, поселился в Карабулаке...

Он вернулся в родной кишлак не только с окрепшей грудью и сильными руками, которые десять лет тому назад могли орудовать только кетменем. Теперь он вернулся с волей тверже железа, с большим жизненным опытом. Если он раньше думал, что горе, невежество, в которые погружен родной кишлак,— результат бедности, то теперь он хорошо знал, откуда и как берут свое начало те шупальца, что оплели его несчастный кишлак: его глаза видели теперь глубже и дальше. Поэтому он жил заботой не о себе одном. Он печалился о своем несчастном, угнетенном народе.

Собрав вокруг себя людей, подобных Гулямджану, Заману, Барат-палвану, он с их помощью, по мере своих сил отстаивал права и достоинство угнетенных, делил с ними их горе и несчастье. На протяжении последних десяти лет не было дня, чтобы он не заступился за бедняков, не воевал с баями. Хорошо зная, что приезд хокима грозит бедами не только кишлаку, но и ему, Кудрату, он тем не менее вчера не удержался, чтобы не крикнуть в присутствии хокима. «Не стреляйте!» Когда вчера хоким крикнул народу: «Кто отбил арестантов?!»— он знал, что этот вопрос относится прежде всего к нему, Кудрату, тем не менее не испугался, не дрогнул, не попятился под злобыным взглядом хокима. Больше того, до самой полуночи он, не разлучаясь с товарищами, находился на гузаре на виду у хокима. Вернулся он домой только после того, как хоким, бранясь и угрожая, покинул гузар.

Не успел Кудрат лечь, как явился Миркосим.

— Идем!— приказал он.

Сердце тревожно екнуло. Ничто не выдавало его волнения, хотя Кудрат прекрасно знал, зачем явился Миркосим и куда он его звал.

— Куда?— притворно удивился Кудрат.

— К хокиму.

Пропустив Кудрата вперед, миршаб выдернул из ножен саблю:

— Побежишь — зарублю!

Кудрат и не помышлял о побеге. Он знал, что этим самым он только выдаст себя. Проходя через гузар, он украдкой посмотрел на чайхану — там уже никого не было.

Миркосим привел Кудрата к мингбаши. Около калитки стояли на страже два солдата. Кудрат прошел между ними, ничем не выдавая своей тревоги. В ташкари под висячим фонарем сидел Тешабай и разговаривал с Фосих эфенди и Мамаранмом. Кудрат, заметив, что хокима нет, почувствовал некоторое облегчение.

Тешабай встретил кузнеца, улыбаясь.

— Пожалуйста, уста Кудрат.— Тешабай пригласил кузнеца сесть рядом с собой.

Кудрат сел на край сури и вопросительно посмотрел на Тешабая.

— Не бойтесь, уста. Я не собираюсь допрашивать вас, как вы помогли бежать арестованным.

Кудрат внешне был невозмутим. Он засмеялся.

— Если гончие хозяина потеряли нюх, то, видимо, бог наказал их насморком!

Кудрат посмотрел на Фосих эфенди, тот нервно заерзал.

— Что вы на меня смотрите?!

— Почему же нельзя смотреть, таксыр? Вы сами видели, что я от гузара не отходил ни на шаг. Надеюсь, вы сможете это засвидетельствовать.

— Отходили или не отходили, дело не в этом,— серьезно произнес Тешабай.— Хорошо, что солдат не тронули: если бы они не вернулись невредимыми, с оружием и конями, тогда э-ге-ге, будь у вас свидетелем не один Фосих эфенди, а целая тысяча Фосихов... Впрочем, оставим этот разговор. Я позвал вас по другому делу. Люди на рассвете выйдут прорывать гору. Чем они будут ее свелить? Есть ли инструменты? Если нет, можно ли их изготовить? Вот об этом я хотел поговорить с вами. Что вы скажете?

Кудрат ответил не сразу.

— Если бы карабулаковцы когда-нибудь прорывали гору, то какие-нибудь инструменты сохранились бы. Но

ведь этого не было. Впрочем, все в наших руках. Что было под силу другим, то сможем сделать и мы. В прошлом наши деды и прадеды немало тоннелей прорыли, пророем и мы. Нужны кирки, молоты. Носилки найдутся.

— Есть ли такие инструменты в кишлаке?

— Нет.

— Изготовить их можно?

— Конечно, но нужно железо.

— Имеется у вас оно?

— Откуда, таксыр? Старыми подковами да разным ржавым железом обхожусь.

Тешабай, прикусив губу, задумался.

— А что, если из города привезти?

— Это можно.

— Так, может быть, вы привезете?

— В течение ближайших нескольких дней мне некогда будет даже голову почесать. Дед Алим и Хасан суфи просили, чтоб я смастерил несколько больших молотов. Без них не обойтись. Если я их не сделаю, работа действительно остановится.

— Тогда пошлите кого-нибудь другого за железом.

— Хорошо.

— Да, кстати,— заулыбался Тешабай,— а что, если послать Гулямджана? Ведь он как будто сообразительный.

— Можно, но позволит ли мингбаши?

— Позволит... Я устрою.

Когда карабулаковцы готовились идти к горе, Гулямджан вышел из кишлака и двинулся по ухабистой дороге, ведущей в город. Луна еще не взошла. Издалека доносился лай собак, вой шакалов. Справа и слева раздавалось непрерывное верещание кузнечиков. Настойчиво и звонко кричали перепела. Свое страстное, призывное «ваг-ваг, бит-билдак» они вплетали в симфонию ночных звуков, славящих жизнь.

Когда Гулямджан достиг мощенной камнем дороги между Ошем и Андиганом, он взобрался на одну из арб, везущих в город хлопок. Хлопок, плотно набитый в большие мешки-канары, ключьями торчал из распоротых швов. Гулямджана не удивило то, что сейчас, задолго до

сентября, когда на полях еще не раскрылись коробочки, хлопок везли на заводы. Возможно, на его месте кто-нибудь другой спросил бы у арбакеша:

— Скажи-ка, брат, у кого это в июле хлопок раскрылся?

А арбакеш, взглянув на простодушного путника, ответил бы:

— Э, браток, хоть костер разводи под каждым кустиком, все равно в июле хлопку не поспеть. Это урожай прошлых лет.

Тогда протак задал бы новый вопрос:

— Удивительное дело! Не успеет хлопок созреть, а из-за долгов и авансов у нашего дехканина его как будто уже нет. Так кто же эти избранные богом люди, у которых сохранились запасы хлопка не только за прошлый, но и за позапрошлые годы, и почему они продают его не тогда, когда все, осенью, а сейчас, летом?

На этот раз арбакеш взглянул бы на своего наивного спутника сердито и насмешливо, дескать: «Ну и дурак же ты, братец!» Возможно, что он не стал бы больше разговаривать и отвернулся, а может быть, если он терпеливый и добродушный, объяснил бы:

— Это хлопок Каландарбая. Не так уж он голоден, как мы с вами, чтобы съедать свой урожай на корню. А что касается того, почему он хлопок продает летом, а не осенью, то здесь расчет простой. Мы, дехкане, истощаемся уже к весне и рады, если нам удастся занять один пуд зерна с обязательством вернуть втрое больше. Так? А заводчики летом, когда старый хлопок кончается, нового еще нет, чтобы не останавливать предприятия, готовы уплатить за сырье вдвое дороже. Вот ту-то и вылезает наш Каландарбай. Осенью он по дешевке скупает у бедняков хлопок и забивает им свои сараи, а летом превращает грош в алтын...

Но Гулямджан ничего не спрашивал. До города еще было далеко, и, удобно устроившись на мягких мешках с хлопком, он лежал, устремив глаза в небо. Легкие толчки, мерный скрип колес убаюкивали Гулямджана. Гулямджан заснул крепким, здоровым сном молодого усталого человека, благо арбакеш не спрашивал его, кто он такой, откуда, куда едет... Ведь у арбакеша хватают своих забот, возможно, что арба, на которой он едет,

принадлежит не ему, а баю. Трудно узнать, что думает и чувствует этот поникший, усталый человек. Да и он, в свою очередь, догадывается, что происходит с Гулямджаном, какой чудесный сон он сейчас видит.

...Гулямджан работает на горе Ледяной. Народу — что муравьев в муравейнике. С каждым ударом молота Гулямджана валятся огромные глыбы, люди с торжествующими криками перетаскивают свороченные им камни. Вдруг люди начали кричать: «Царица пришла! Ширин пришла!» Тут Гулямджан кладет молот рядом с собой, вытирает пот со лба и, очарованный, не может оторвать взгляда от ангела в белом одеянии, с закрытым лицом. Ангел берет Гулямджана за руку и ведет на вершину горы. Гулямджан думает: «Йе, люди говорят: «Ширин пришла!», а это кто?» Гулямджан спрашивает: «Вы кто?? Не ангел ли?» Ангел голосом, похожим на голос Хаёт, отвечает: «Нет места на земле, где я ни искала бы вас! Наконец, слава богу, нашла!» Ангел поднимает покрывало, закрывавшее ему лицо, и Гулямджан бросается с криком: «Хаёт моя! Хаёт, вы ли это?!» А Хаёт гладит лоб Гулямджана и говорит: «Бедный мой, сколько вы терпели из-за меня! Вот, наконец, мы нашли друг друга, теперь никто не разлучит нас. Пойдемте вон в тот сад», — и уводит туда Гулямджана. Потом они сидят среди цветов на берегу речушки и весело разговаривают. Вдруг откуда ни возьмись, над ними появляется старуха-колдунья: «А-а-а, попалась!» — визжит она и отбрасывает черное покрывало, закрывавшее ее лицо. А это, оказывается, старуха Мастан. Гулямджан вскакивает с места, чтобы схватить старуху, но колдунья дунула — и он, перевернувшись семь раз, отброшен назад. Старуха хватается за волосы плачущую Хаёт и вместе с ней уносится ввысь. Гулямджан хочет подняться, побежать, но не может.

— Эй, друг, вставайте, приехали!

Гулямджан вздрогнул, проснулся, посмотрел вокруг. Арба стояла около хлопкоочистительного завода Симхаева. Гулямджан слез. Арба въехала в заводской двор, а Гулямджан повернул назад.

Уже давно рассвело, улицы были полны народу. Каждый торопился по своему делу — в мучной ряд, на клеверный или дровяной базар. Гулямджан шел по тенис-

тому тротуару широкой улицы, обсаженной с двух сторон высокими тополями. Проезжая часть этой улицы, когда-то мощенная, теперь была грязна и покрыта рытвинами. Кругом были видны следы страшного землетрясения: повалившиеся дома, извилистые, опрокинутые заборы.

Сегодня, должно быть, был базарный день. Огромные, высокие, как на ходулях, двухколесные арбы, влекомые лошадьми, небольшие арбы, запряженные ишаками, были гружены распиленными на дрова деревьями урюка, тутовником, тополем, ворохами сучьев, бревнами тала, гузапаей, травой, саманом и многим другим добром. То и дело попадались огромные вороха соломы, травы, неизвестно кем движимые, так как ишачок был совершенно погребен под кладью, которая едва уместилась бы в целую арбу. Неискушенному зрителю могло бы показаться, что кладь сама шагает на четырех собственных ногах.

По улицам проворно шлепали босые грязные мальчишки с петухом или курицей под мышкой, с кувшином молока на голове. Трудно было различить, какие это дети: городские или кишлячные. Внешне они почти ничем не отличались друг от друга. То и дело слышались выкрики бродячих торговцев галантереей: «Нитки! Иголки! Наперстки! Мыло душистое!» Иногда эти голоса заглушались могучим ревом: какой-нибудь ишак, увидев своего сородича, внезапно останавливался и начинал радостно его приветствовать. Распространяя душистый запах только что снятых с тандыра лепешек, бегали, чуть не стучаясь носами, продавцы с огромными плоскими плетеными корзинами на головах. С удивительным искусством, без помощи рук удерживая на голове корзины, они метались по базару, красноречиво расхваливая свой товар: «Со сливками! С маслом! Отведаете — спасибо скажете! Не отведаете — пожалее!» Иной из них вдруг на ходу ловко сбрасывал плетенку себе на руки и, не переставая расхваливать товар, подносил его к носу прохожего.

В городе Гулямджану бросилось в глаза большое количество разного рода нищих, оборванных людей. Сердце Гулямджана сжалось, когда он увидел седого, как лунь, старика, в рваном халате с пустым рукавом, в

штанах с висящими, как сосульки, лохмотьями. Он был без губетейки, бос, лицо, руки, тело грязны, ребра выпирали, как у худущей лошади, глаза под седыми бровями были тусклы, борода, бог весть когда стриженная, закрывала всю грудь; он едва держался на ногах, голос его, как у больного ребенка, был слаб и дрожал. Он стоял, вытянув единственную руку. Гулямджан начал рыться в карманах, хотя знал, что подаяние, каким бы щедрым оно ни было, не способно было извлечь старика из пропасти отчаяния и нищеты. Гулямджан вытащил все свои капиталы — полтангы — и положил их в ладонь старика.

Не доходя до высокого железнодорожного моста, перекинутого через улицу, Гулямджан остановился у маленького домика, отворил одностворчатую калитку и вошел во двор. Европейский домик с верандой был обращен окнами во двор. Хотя дворик перед домом был невелик, но от огромного количества цветов казался большим цветником. Двор и веранда были пусты. Гулямджан слегка кашлянул. Дверь, ведущая из комнаты на веранду, открылась, и на пороге появилась русская женщина лет двадцати пяти, стройная, светловолосая, с большими голубыми глазами, тонкими бровями. Увидев Гулямджана, она приветливо заулыбалась и обратилась к нему на правильном узбекском языке:

— О Гулямджан! Добро пожаловать!

Гулямджан пожал протянутую руку и после нескольких, обычных при встрече, вопросов спросил:

— Все в порядке?

— В порядке. А в кишлаке?

— Не совсем, Ольга Петровна!

— А что?— насторожилась Ольга Петровна, озабоченно нахмурив брови.— Что-нибудь серьезное? Что же это я вас так встречаю...— спохватилась она.— Входите!

Оба вошли в большую комнату с окнами на веранду.

Посредине комнаты стоял накрытый белой скатертью круглый стол с вазой душистых, ароматных цветов, вокруг были расставлены венские стулья, в простенке между окнами чуть ли не до самого потолка красовалась триома, направо от двери сверкало черным лаком пианино, а рядом — этажерка с ногами. По обе стороны дивана с горкой маленьких подушечек стояли два

книжных шкафа; обращал на себя внимание большой портрет молодого человека в морской форме с красивым лицом, черной бородой. В этой комнате, привлекавшей строгой красотой и уютom, Гулямджан был не в первый раз. Поэтому, не ожидая приглашения, он запросто сел на диван. Ольга Петровна опустилась в кресло.

— Ну?— обратилась она к Гулямджану.

Гость подробно рассказал о событиях в кишлаке. Ольга Петровна слушала сосредоточенно. Когда Гулямджан окончил, она спросила:

— Но что же он все-таки сказал или сделал, когда Кудрат-ака обратился к солдатам?

— В том-то и дело, что ничего.

— Никого не наказал, никого не посадил?

— Никого.

— Здесь что-то кроется,— произнесла Ольга Петровна, поднимаясь.— По-моему, они обманом хотят заставить людей работать. Если хоким никого не арестовал, особенно Кудрата, то только для того, чтобы не напугать людей, не охладить их пыл к работе. Эта хитрая лиса знает, что делать. Боюсь, что свое истинное лицо он обнаружит после того, как проведут воду. Не исключено, что людей, которых он сейчас оставил в покое, после окончания работ засадят в тюрьму. Мы должны быть настороже... Как бы там ни было, вода ведь действительно нужна народу. Нужно сделать так, чтобы вода, добытая потом и кровью народа, не попала в руки богачеев. Будьте начеку. Как бы обводненные земли не захватил Тешабай. Надо заранее добиваться распределения земли между бедняками. Это очень важно... Ну, еще какие новости?

Гулямджан, порывшись в кармане, вытащил сложенную бумагу и подал ее Ольге Петровне.

— Это послал вам Кудрат-ака.

Ольга Петровна быстро пробежала письмо.

— Просит помочь вам приобрести железо,— сказала она.

Гулямджан с удивлением посмотрел на нее, Ольга Петровна сразу почувствовала это:

— Вы чем-то удивлены?

— Там ничего больше не написано?

— Нет, а что еще должно быть?

— Рассказывая о кишлаке, я не рассказал вам об одном удивительном деле. Думал, что об этом написано в письме. Значит, не написал?

— А что за дело?

— Хоким послал под конвоем трех арестованных в город, а Кудрат-ака и еще несколько человек отбили их.

Ольга Петровна весело засмеялась:

— Ну разве можно сообщать о таких вещах в письме?

Гулямджан смущенно пожал плечами.

— Ни в коем случае. Представьте себе, что письмо попадет в руки жандарма... что тогда будет?

— Значит, сам себе набросил бы петлю,— ответил Гулямджан, смущенно улыбаясь.

— Ну конечно!— согласилась Ольга Петровна.— Такие вещи передаются только устно, и то через человека верного. Так как же отбили арестованных?

— Когда состязание борцов было в полном разгаре, из ворот дома мингбаши выехали двое конных. Они гнали перед собой трех арестованных. Руки их были в наручниках. Посредине шел Сарымсак, справа от него — старик, слева — киргиз-чабан. На улицах кишлака было тихо, только во дворах лаяли встревоженные чем-то собаки.

Старик брел, спотыкаясь, сдерживая рыданья. Изредка он шептал: «О боже, чем так унижать, лучше бы лишил меня жизни!»

Но конвой запрещал обращаться даже к богу. «Молчи!» — то и дело раздавался угрожающий шепот, и штык касался его спины. Сарымсак сердито ворчал на конвойных. Это все, что он мог сделать. Двигались тяжело, свесив головы. Арестованных страшила неизвестность, конвойных — предстоящий длинный путь. В последнее время было тревожно, и не только в городах. То в том, то в другом кишлаке бедняки поднимали бунт, поджигали на байских полях урожай, дома. Все чаще на дорогах появлялись разбойники. Конвойным все это, видимо, было известно, они двигались с опаской, пугливо озираясь. При малейшем шорохе они вскидывали винтовки и кричали: «Кто идет?»

Луна поднялась высоко. Кишлак остался далеко позади. Самый опасный отрезок пути кончался. Только бы

миновать овраг, перевалить через холм, а там уж начнется безопасная шоссейная дорога до самого города. Но что это?!

— Караул! Спасите! Разбойники!!

Из-за холма выбежали две женщины. Конвойные перетрусили до смерти. Они остановили арестованных и направили винтовки на женщин.

— Стой! Не подходи! Стрелять буду! — закричал бородатый солдат.

Но женщины продолжали приближаться. При лунном свете ясно было видно, что они в паранджах и никого больше, кроме них, нет. Это несколько успокоило конвойных. Женщины, плача, подбежали и бросились прямо к ногам лошадей.

— Разбойники напали! Спасите! Караул!

Бородатый солдат с грехом пополам спросил по-узбекски:

— Где разбойники?

— За холмом, там, спаси нас, солдатик миленький, бородатенький!

— Много их?

— Немного, милый, всего три. И ружей нет у них, одни только ножи. Мы ехали из кишлака Мирпустина с невесткой, а они напали на нас, начали грабить.

Бородатый солдат скомадовал арестованным: «Марш! Вперед!» Тронулись, но тотчас же лошади конвоиров споткнулись и, вытянув шеи, грохнулись на передние ноги. Бородатый солдат очутился под конем, другой тоже полетел на землю...

Упав перед лошадьми, женщины ухитрились опутать их ноги бечевками, а затем, когда лошади тронулись, сильно дернули оставшиеся в руках концы. Лошади упали, из оврага выскочило несколько мужчин, и они вмиг обезоружили солдат.

— Давай ключи от наручников! — сказал один из мужчин, видимо вожак, бородатому солдату, дрожавшему от страха.

Солдат покорно отдал ключ. Тот же мужчина отомкнул замки наручников, снял их с арестованных и надел их на конвойных. Затем мужчины усадили солдат на лошадей, повесили им за плечи ружья и огрели коней

илостью. Животные, словно догадавшись, чего от них хотят, пустились галопом...

...— Так благодаря Кудрату трое невинных людей спасены,— закончил свой рассказ Гулямджан.

Ольга Петровна, обычно сдержанная, сейчас не могла скрыть радостного возбуждения:

— Ах, какой молодец! Когда вернется в кишлак, крепко пожмите ему руку от меня.

— С удовольствием.

Глава четвертая

«ХОРОШАЯ БАРЫШНЯ...»

— Я вас ненадолго оставляю — пойду узнать насчет железа,— сказала Ольга Петровна и вышла из дому.

Гулямджан сидел, восхищаясь убранством комнаты. Затем, вспомнив одну историю, улыбнулся. Когда он еще учился в медресе, Кудрат как-то ему сказал: «Если хотите изучать русский язык, то я могу найти вам учителя», а затем Гулямджана привел к Ольге Петровне.

— Вот вам учитель,— обратился Кудрат к юноше, знакомя его с молодой женщиной.

Хотя Ольга Петровна была на несколько лет старше Гулямджана, выглядела она прелесной девушкой лет двенадцати. Гулямджан несколько смутился. Ничего предосудительного он не подумал, но ему показалось странным, что его будет обучать такая молодая женщина.

Гулямджан начал усердно учиться русскому языку. Ольга Петровна была опытной учительницей. Через несколько месяцев Гулямджан стал довольно сносно читать и писать. Он был доволен своей учительницей, однако в ее присутствии чувствовал себя неловко. Дело в том, что Гулямджан не знал, как называть учительницу. В самом деле, не обращаться же к ней «отинбуви», «ханум» или «муаллима»¹. А между тем Гулямджан порой испытывал неодолимую потребность подчеркнуть свое уважение к ней. Чтобы разрешить свои сомнения, Гулямджан обратился к Кудрату.

¹ *Отинбуви, муаллима* — учительница в старой религиозной школе.

— Про себя вы можете называть ее «муаллима», а вслух, обращаясь к пей, просто «Ольга Петровна»,— ответил Кудрат.

Когда Гулямджан, вспоминая это, улыбнулся, вошла Ольга Петровна.

— Гулямджан, я договорилась о железе. Завтра вы его увезете. А сейчас у меня к вам другое дело. Если у вас нет ничего срочного, пойдемте со мной.

— С удовольствием, но куда?

— Сейчас объясню. В Самарканде живет революционер Морозов. Вы его не знаете. Это один из руководителей РСДРП в Туркестане. Недавно он через парочного дал нам специальное задание: вовлекать, как можно больше, детей мусульман-бедняков в русско-туземные школы. Поэтому мы решили в нашей школе организовать еще один класс, но уже не для детей купцов и баев, а для детей бедняков. Вот для них-то мы сейчас готовим парты. Мастер, который изготавливает эти парты, почему-то не является вот уж целую неделю. Инструменты здесь, а его самого нет. Наверно, заболел. Я бы хотела навестить его. Это уста Бахрам.

— Так бы сразу и сказали! Я его хорошо знаю.

— Превосходно. Значит, проводите меня?

— Еще бы! Ведь я и сам намеревался отправиться к нему прямо от вас. Да вы не утруждайтесь, я один схожу.

— Нет, нет, я обязательно должна пойти.

— Обязательно?

— Обязательно,— улыбнулась Ольга Петровна,— меня ведь, знаете, женщины-узбечки, да и мужчины, называют «доктор-апа».

Удивленный Гулямджан невольно воскликнул:

— Ольга Петровна!

— В детстве я часто болела и теперь немного помню, как меня лечили. Говорят: только тот настоящий табиб¹, кто сам обращался к табибу. Вот так и я. Могу лечить кое-какие болезни. В городе больных много, а врачей — кот наплакал. И потом, не каждый может уплатить врачу, купить лекарство. Вот я и помогаю кому могу и чем могу. За это меня величают «доктор-апа».

¹ Табиб — лекарь.

— А в кишлаке у нас еще хуже! — печально произнес Гулямджан. — Сколько бедняков там гибнет только из-за отсутствия самой простой помощи.

— Да разве только в кишлаках, милый мой Гулямджан. Такое же положение и в России... Ну что ж, отправились?

Уста Бахрам жил в махалле Бакакурулдок, где-то в районе Аяр. Туда и направилась Ольга Петровна вместе с Гулямджаном по пыльным, раскаленным полуденным зноем кривым переулкам и закоулкам. Обливаясь потом, наглотавшись пыли, они прибыли в Бакакурулдок и постучали в одностворчатую калитку из ссохшихся от солнца досок.

Калитку открыла милостивая девочка лет шести, да так быстро, словно она ждала кого-то.

— Какая прелестная девочка! — воскликнула Ольга Петровна.

Девочка была черноброва, черноглаза, с беленьким личиком, ровной, почти до бровей, челочкой, на голове ее сидела красиво вышитая цветная тубетейка. Ольга Петровна быстро нагнулась, погладила девочку по головке. Затем она присела на корточки и, обняв ребенка, притянула его к себе. Потом достала из сумки горсть конфет и положила их в ладони девочки, красные от сока черешни. Девочка приняла конфеты так же невозмутимо, как до этого встретила гостей. Она пристально смотрела в лицо Ольги Петровны, а когда та спросила ее имя, девочка с не свойственной ее годам серьезностью ответила:

— Тути. Тутикиз.

— Тути! Таня! Татьяна! — переименовала Ольга Петровна. — Какое у тебя красивое имя!



Гулямджан дивился столь искренней радости Ольги Петровны.

Тути по-прежнему серьезно сообщила:

— Я мамина дочка.

Гулямджан и Ольга Петровна весело рассмеялись.

— Да-а! — словно осенило Ольгу Петровну. — А как же твою маму зовут?

— Мама, — ответила Тути.

Взрослые снова рассмеялись. Поцеловав девочку, Ольга Петровна спросила:

— Твой отец уста Бахрам?

— Нет, это отец Дилшода-ака.

— А кто Дилшод?

— Сын тети. Мой братишка.

— В этом же дворе живут?

— Вот в том, — произнесла Тути, указав на калитку сбоку, которая в этот момент со скрипом отворилась. Оттуда вышел мальчик лет девяти со смеющимися глазами. Тути указала на него.

— Вот мой Дилшод-ака!

Дилшод поздоровался с пришедшими. Тути и Дилшод очень походили друг на друга. Сестра протянула Дилшоду половинку конфет. Дилшод не захотел их взять, но Тутикиз сунула ему конфеты в ладонь.

— Бери, мальчик, не стесняйся, — ласково сказала Ольга Петровна, но тот еще больше смутился. Чтобы рассеять его смущение, Гулямджан спросил:

— Отец дома, сынок?

— Дома, лежит больной.

Ольга Петровна посмотрела на Гулямджана: «Так и знала!» — и обратилась к Дилшоду:

— Иди, мальчик, скажи папе, что пришла Ольга Петровна из школы и хочет его видеть. Можно ли к нему зайти!

Дилшод убежал, но скоро вернулся и, словно Ольга Петровна была ему хорошо знакома, взял ее за руку и повел к отцу. Туткиз, следуя примеру брата, повела Гулямджана.

Как большинство городских домиков, дом уста Бахрама состоял из двух комнат и веранды, выходящей во дворик, посаженный цветами. По арыкам маленькой струйкой, лениво журча, протекала вода. Дворик был



подметен, опрятен, полит водой. Невольно создавалось впечатление, что здесь живут люди небогатые, но опрятные, хозяйственные. Все было на месте, все блестяло.

Уста Бахрам лежал на айване. Увидев гостей, он хотел было подняться, но Ольга Петровна остановила его.

— Не надо! Не надо!

— Да это как же! — смутился уста Бахрам. — Вы пришли, а я должен лежать?

Гости уселись. Ольга Петровна, посмотрев на похуdivшего за несколько дней уста Бахрама, на его запавшие глаза, обратилась к Гулямджану по-русски:

— Наверно, дизентерия. — Затем попросила больного показать язык. И хотя ей все стало ясно, она все же спросила:

— Что с вами, уста?

Уста Бахрам подтвердил ее предположение. Оказывается, Бахрам вот уже пятнадцать дней, как болел. Табиб велел ему есть недожаренную печень барана, посыпав ее семенами дикой фисташки. Но от этого Бахраму стало хуже. Пил он сок вываренной джиды, настой перца — стало еще хуже. Наконец, как-то вернувшись с работы, он слег.

Ольга Петровна вытащила из сумки лекарство и, отдав его уста Бахраму, подробно рассказала, как его надо принимать, чего нельзя, что можно есть, в каком виде.

Когда после чая гости собрались уходить, уста Бахрам обратился к Гулямджану:

— Мулла Гулям, переночуйте у нас. Приходите, как освободитесь.

Гулямджан обещал вернуться.

На улице гости увидели Тутикиз с девочкой чуть постарше. Тутикиз познакомила их:

— Это Туфа, подружка моя. Она умеет петь!

Ольга Петровна одарила детей конфетами, поцеловала на прощанье в лоб и ушла вместе с Гулямджаном, несколько раз обернувшись, словно ей трудно было расстаться с этими милыми детьми.

Тутикиз проводила Ольгу Петровну точно так же, как она провожала свою мать, когда та уходила надолго.

— Какая хорошая барышня! Правда? — обратилась Тутикиз к подружке. Этими словами она выразила то смешанное чувство симпатии и восхищения к внезапно полюбившемуся человеку, на которое так щедры только дети. Разве можно не любить барышню, которая ласкала чужую девочку, как родную дочь, назвала ее незнакомым красивым именем «Татьяна», подарила конфеты.

Тутикиз устремилась в дом. Девочка, задевшая в Ольге Петровне какие-то глубокие душевные струны, обратившая на себя внимание Гулямджана, несколько задержала и нас. И так как настанет день, когда мы с ней и порадуемся и погорюем, то уж давайте, читатель, познакомимся поближе с ее надеждами, желаниями, мечтами.

Глава пятая

«ПАПА ОСТАВИЛ НАС...»

Дворик, где жила Тутикиз, точь-в-точь походил на двор, где рос ее брат Дилшод. Дворы были чистые, украшенные цветами, в обоих протекали маленькие журчащие струйки воды, стояли двухкомнатные домики с верандами. И там и здесь росло по тутовому дереву, черешни у заборов... Словом, эти два дворика, отделенные низким дувалом со специально пробитым отверстием для прохода, ходили друг на друга, как близнецы.

Тутикиз подбежала к матери, которая, сидя на айване, вышивала. Это была молодая женщина, чуть полная, с выражением грусти в красивых глазах. Мать Тутикиз жила в постоянной тревоге. Весь день она вышивала для продажи тюбетейки, поясные платки, сюзане, чтобы прокормить себя и свою маленькую Тутикиз. Очень рано эта молодая женщина осталась одинокой, без помощи.

Тутикиз подошла к матери, та, отложив тюбетейку в сторону, прижала дочку к груди.

— Мама, посмотрите, что у меня есть! — воскликнула Тутикиз и разжала кулачок.

— Ах, какие красивые конфеты! Кто их дал тебе, козочка моя?

— Барышня, — Тутикиз, загадочно улыбнувшись, склонила голову на бок.

— Ой, какая же это барышня, Тухтон, дала тебе столько конфет? — искренне удивилась мать.

— Хорошая барышня.

— Но где же эта барышня? Покажи мне ее.

— Она ушла. И махала платком. Почему она махала, мама?

— Это она, наверно, прощалась с тобой, хотела сказать: до свидания, хорошая девочка! Ты ее на улице видела, маленькая?

— Я видела ее у Дилшода-ака. Она дала лекарство нашему дяде, а потом ушла и помахала мне платком.

Мать Тути решила, что к уста Бахраму приходил врач. Тути продолжала рассказывать:

— Обняла меня и поцеловала. От нее так хорошо пахло, я даже подумала, что у нее за ухом цветок. Посмотрела — а цветка нет. Что же это такое?

— Она побрызгала себя духами.

— А что такое духи?

— Вода, которая пахнет, как цветок, но только сильнее.

— Эта вода течет в арыках?

— Нет. Она в маленьких бутылках бывает.

— А у нас есть?

— Нет.

— Почему?

— Потому что она стоит денег, а денег у нас нет.

— А почему денег нет?

— Потому что папа от нас ушел.

— А куда он ушел?

— В Мекку.

— А что это такое Мекка?

— Несчастье вот таких горемычных, как мы.

— А что значит «несчастье» и «горемычные»?

— Покинул нас наш папа — вот и значит несчастье.

— А почему покинул?

— Мекка ему больше понравилась.

— А нас не любит?

Мать, прижав к себе дочурку, заплакала. Своими бесхитростными вопросами девочка бередила раны матери. Вот уже три года, как уехал в Мекку муж, а вестей от него все нет. И прибывшие из Мекки нигде не встречали его и ничего о нем не слышали. Неужели его поглотило море? Говорят, что по пути в Мекку есть такие моря, которые поглощают людей и даже большие пароходы. Кто знает: может быть, и Ашур Мирзо потонул и его тело сожрала рыба?

Отец Тутти, как и каждый преданный слуга, слуга по призванию, любил своего хозяина больше, чем родной дом, и готов был отдать свою жизнь за хозяина. Когда погрязший во лжи и преступлениях Болта купас на старости лет решил отправиться в Мекку, чтобы таким образом смыть с себя грехи, Ашур Мирзо не вспомнил ни о своей Джамиле, которую совсем недавно любил так, что не мог себе представить разлуки с ней, ни о своей Туттикиз. Он пожалел хозяина-старика, который одной

ногой стоял в могиле. Покинув любимую жену и дочь, Ашур отправился вместе с баем, чтобы нести его кувшин для омовения...

— Иди, милая моя, поиграй. Я вышью тюбетейку, продам ее, куплю хлеба. Хорошо? — заговорила, наконец, мать, утирая слезы.

Глава шестая

ТУТИКИЗ

Одностворчатые калитки двух соседних домов находились рядом под одной общей крышей. И хотя каждая из них была узка, именовались они почему-то торжественно, как настоящие двустворчатые — «дарвозахона». Низенькая плоская крыша над калитками заменяла Тутикиз балахану. Взобравшись на нее, Тутикиз любила смотреть на улицу. Вот и сейчас она поднялась на крышу. Прямо над ней висели ветки спелых черешен. Тутикиз притянула к себе одну из веточек и начала срывать ягоды, складывая их в тюбетейку. Когда тюбетейка была наполнена, послышался голос Дилшода. Тутикиз посмотрела на улицу. Верно, Дилшод был там.

— Дилшод-ака, хотите черешни? Большие, большие! — закричала Тутикиз и, словно желая показать, как велики черешни, широко раскрыла и без того не маленькие глаза.— Я сейчас кину. Лови!

Дилшод любил черные черешни. Он подставил подол рубашки. Тути высыпала ему всю тюбетейку ягод, которые Дилшод тут же с удовольствием принялся поглощать. После этого Тутикиз улеглась на поросшую травой крышу, и кидая в рот по ягодке, стала смотреть на улицу. Вдруг она увидела старую женщину с открытым лицом, которая шла со стороны мечети. Женщина, тяжело дыша, держала на голове тарелку с яствами, а в руках — объемистый узел. Тутикиз сразу узнала ее: во время празднеств она обычно распоряжалась на женской половине. При этом старуха всегда прогоняла детвору, не давала ей приблизиться к угощению. Однажды Ходжихола, так звали старуху, без всякого стеснения выгнала и Тутикиз, хотя та настойчиво твердила: «Моя мама гостя на этой свадьбе». Вот такая это плохая,

драчливая старуха! Тогда Тутикиз не заплакала, но про себя подумала: «Постой же, вот я вырасту — и покажу тебе!» Не по злобе так решила Тутикиз, нет, а от обиды. И вот сейчас Тутикиз представился случай отомстить. Зажав между двумя пальцами скользкую косточку черешни, девочка взяла на прицел дорожку, по которой шла старуха, и, когда та приблизилась на пять-шесть шагов, пальнула, да так метко, что косточка угодила ей прямо в лоб. Должно быть, косточка здорово щелкнула старуху. Отскочив назад, женщина едва удержала на голове блюдо. Внимательно оглядевшись, старуха увидела Дилшода: он стоял у своей калитки и преспокойно ел черешни. Ходжихола подумала: «Ах, чтоб огонь опалил твое лицо! Притворяешься ты не хуже, чем стреляешь. Погоди же!» Ей хотелось побежать за ним, поймать, надрать уши, но, прекрасно понимая, что ей не угнаться за быстроногим сорванцом, по обыкновению, пустилась на хитрость. Она ласково обратилась к Дилшоду:

— Эй, мальчик, иди-ка сюда. Поддай мне этот узелок повыше. Все сползает, проклятый!

Прямодушный, чистосердечный Дилшод, ничего не подозревая, живо подбежал и словно наступил на раскаленные угли, тотчас же в этом раскаялся: не успел он дотянуться до узелка Ходжихолы, как ее цепкие пальцы больно вцепились ему в ухо.

— Ах, чтоб ты сдох, щенок! Попался-таки! — злоратно произнесла она. — Кто тебя, проклятого, научил стрелять косточками в лоб почтенных женщин, а?

Ходжихола, продолжая поносить мальчика, тянула его за ухо вверх.

Но как ни болело ухо, Дилшод не плакал. Он только кричал: «Я не стрелял!»— и все больше и больше вытягивал вверх шею, но жестокая старуха, торжествуя и злобствуя, продолжала тянуть Дилшода за ухо. Тот все больше вытягивался, наконец, встал на цыпочки. В это время в нос старухи, круглый и красный, как редиска, угодила вторая косточка. Ходжихола испугалась еще больше прежнего. Она невольно отпустила ухо Дилшода, схватилась за нос, должно быть, для того, чтобы проверить, не отвалился ли он. Она ощупывала нос основательно и очень долго. Нос был на месте.

— Кто это? Кто стрелял? — воскликнула Ходжихо-

ла, растерянно оглядываясь.— Где этот стрелок, чтоб у него вся кровь вылилась через нос!

Но стрелка нигде не было видно. Дилшод, как будто не у него только что отрывали ухо, звонко захохотал. Ходжихола, так и не обнаружив проказника, поспешила удалиться, злобно ругаясь.

— Тути, слезай! — крикнул Дилшод.

Тутикиз слезла с крыши и, взяв протянутую руку, пошла за ним на айван.

Мать Тутикиз, сидя на айване, беседовала с женщиной, такой же миловидной, как и она сама, но более крупной и высокой. Лицо этой женщины походило на лицо Джамили и Дилшоода своим мягким овалом, точно нарисованными бровями. Одежда обеих женщин была почти одинаковая. На Джамиле было довольно старенькое просторное платье, дешевые кораллы, браслеты и кольца. На другой женщине было такое же простенькое ситцевое платье, а руки и шея были вовсе лишены украшений. Не потому ли она так скромна, так равнодушна к своей внешности, что уже отцвела? Нет, этого сказать про женщину было нельзя. Если мать Тутикиз была цветущей двадцатитрехлетней женщиной, то и другой женщине никто не дал бы больше двадцати пяти лет, как оно и было на самом деле. Это были две родные сестры. Старшую звали Хамидахон. Своей дружбой и любовью они вызывали уважение окружающих. До сих пор Хамидахон — старшая сестра — ни разу не обидела Джамилю, советовалась с нею по любому поводу. Джамилия, в свою очередь глубоко уважала сестру, считала ее своим самым близким и добрым другом. Их дети тоже дружили. Вот и сейчас они приближаются, держась за руки.

— Тетя! — воскликнул Дилшод, подходя к айвану.

— Что Дилшод, что милый? — как всегда ласково отозвалась Джамилия.

Дилшод, бросив взгляд на мать, снова обратился к тете:

— Уймите, пожалуйста, свою Тути!

Необычно серьезный и резкий тон Дилшоода удивил не столько тетю, сколько мать.

— Что же такое наделала наша Тути? — спросила она недоуменно.

— Она человека позорит!— отрезал Дилшод, взявшись за ухо.

Джамия, спустившись с айвана к Дилшоду, присела около него.

— Что она такое сделала, мой милый Дилшод?— спросила она, обняв мальчика.

— Забралась на крышу, сидит там и все стреляет в прохожих косточками,— продолжал Дилшод.— Стреляет-то она, а достается мне. Вот посмотрите, чуть не оторвали ухо.

Сестры посмотрели на ухо Дилшода. Оно и в самом деле пылало.

— О боже!— полушутя встревожилась Джамия.

Тутикиз стояла около веранды и молча посматривала на Дилшода, на мать, на тетю. Она не была из тех хитрых девочек, которые начинают плакать еще до того, как их накажут, в расчете, что их пожалеют. Напротив, отомстив, она была вполне удовлетворена и уж, во всяком случае, никакого раскаяния не испытывала.

— В кого же она стреляла?— спросила Джамия.

— В Ходжихолу,— произнес Дилшод.

— В какую Ходжихолу, ту самую, которая распоряжается на всех тоях?

— Да. Она шла с открытым лицом. Тути ей прямо в лоб и пальнула. А попало за это мне.

Хамидахон, смеясь, спросила:

— Так в дастарханчи пальнула Тутикиз?

— Да,— созналась Тутикиз.— А зачем она прогнала меня с тоя...

Обе женщины дружно засмеялись. Невольно улыбнулся и Дилшод.

— Старуха, по правде сказать, не очень хороший человек... Но все же...— сказала мать Дилшода и, не закончив фразы, обняла Тутикиз, поцеловала в лицо, глаза.

Хотела или не хотела этого тетя, но то, что она сказала, и, главное, как сказала, прозвучало: «Ну и молодец же ты!» Это обрадовало девочку, но вмешательство матери умерило ее радость...

— Но ведь она не только моя дочь, но и ваша будущая невестка,— произнесла Джамия, а Хамидахон продолжила:

— Разве это неверно, Дилшоджан? А раз это так, то следить за своей невестой, унимать ее обязанности.

Нападение с двух сторон сбило с толку Дилшоода. Путь к отступлению был отрезан, тем более, что тетя крепко его обнимала. Дилшооду ничего не оставалось делать, как молчать, краснеть, глядеть в землю да слушать тетю.

— Ведь твой дядюшка, уходя в Мекку, сказал: «Если я не вернусь, то, когда моя Тутикиз вырастет, выдай ее за Дилшоода».

— Это верно,— подтвердила Хамидахон.— Разве тебе неизвестно о сговоре родителей? Так можешь ли ты, Дилшоджан, отказываться от своей Тутикиз? Не бросай ее.

Ее слова окончательно смутили Дилшоода. Если та старуха заставила гореть одно, то теперь мать и тетка заставили пылать оба уха. Бедный мальчик не знал, куда деваться.

Женщины, шутя, говорили правду. В прошлом году Ашур мирзо, отправляясь в Мекку, в присутствии своей жены Хамидахон и уста Бахрама сказал: «Вернусь — сам выдам дочь, а нет — вы». Он заставил Дилшоода надорвать подол рубашонки Тутикиз. После всего этого семьи еще больше сблизилась. Тутикиз еще ничего не понимала. Она относилась к разговорам о помолвке так же, как если бы ей сказали «выпей воды, съешь хлеба». Но более взрослый Дилшод смущался, краснел, с досадой вспоминал дядю, затеявшего то, о чем мать и тетка говорят, как о событии хоть и далекого будущего, но совершенно реальном и неминуемом.

Тутикиз стало очень жалко брата. Она сочувственно смотрела на красные уши Дилшоода. В кармане у нее остались две конфеты. По первому побуждению она даже хотела было их отдать ему, но как-то не решилась.

— Не страдай, Дилшоджан, пожалей хоть Тутикиз. Посмотри только на нее,— произнесла мать, поглаживая Дилшоода.

Мальчик поднял голову. Он исподлобья взглянул в сторону Тутикиз. Та смотрела на брата, готовая заплакать от раскаяния.

«БУДЬ ПРОКЛЯТА ТАКАЯ ЖИЗНЬ...»

Вымыв руки после плова, Гулямджан и уста Бахрам долго беседовали на веранде. Хамидахон вместе с Дилшодом пошла ночевать к сестре. Уста Бахрам лежал на толстом ватном одеяле, а Гулямджан сидел при тусклом свете лампы. Он прислушивался то к монотонному журчанию воды в арыке, то к верещанию кузнечиков. По мере того как взшедшая луна все щедрее изливала свои лучи, в душе Гулямджана росла какая-то смутная тревога. Мечты уносили его в Карабулак, на берег Лунного озера, к ограде из сухих веток. «Что с ней, моей бедняжкой?»

Уста Бахрам, продолжая лежать, несколько раз посмотрел в сторону друга, но лица его разглядеть не мог, так как лампа стояла в нише позади Гулямджана. Уста Бахрам тихонько кашлянул. Но это не подействовало на Гулямджана. Тогда мастер обратился к другу с вопросом, который давно его занимал.

— Милый Гулямджан, вы...— Заметив, что Гулямджан не слышит его, уста Бахрам осекся, а затем, повысив голос, спросил:

— Вы уже женаты?..

Гулямджан поднял голову. Выражение его лица испугало Бахрама: «Как он изменился! Ведь он был таким оживленным, когда дружил с Ашур мирзо».

Гулямджан, покачав головой, печально произнес:

— Нет.

— Что ж, девушка не находится?

Гулямджан горько улыбнулся.

— Девушка есть, но...— Гулямджан, смутившись, смолк, задумался. Уста, глядя на Гулямджана, терпеливо ждал... Наконец тот снова заговорил:— Она недосыгаема для меня... дочь ходжи...

— Ну так что?

— А мы обыкновенные карача, черненькие...

Бахрам рассмеялся.

— Вы тоже хороши. Чем тосковать по дочери ходжи, женились бы на карача — и дело с концом. Ведь говорят же: лучше синица в руках, чем сокол в небе...

Гулямджан, словно впервые увидел Бахрама, пристально посмотрел на него и снова горько усмехнулся.

— Невозможно, уста-ака. В этом мире, кроме трезвого расчета и логики, существует еще и влечение.

Уста Бахрам, неожиданно для себя хихикнул, а затем, словно извиняясь, сказал:

— Так, так, Гулям... Вот и получается: встречаются люди, приветствуют друг друга, едят из одной тарелки, одним словом — друзья, а что у этого друга на душе, так и не поинтересуешься. Таков и я... Гулямджан, расскажите о себе, если, конечно, вы не устали и никаких тайн у вас нет.

Хотя в последнее время Гулямджан и сам жаждал излить свою душу, сейчас, когда это стало возможным, заколебался:

— Да нет же... К чему?.. Нехорошо... — смущенно пробормотал он.

Теперь уста уже настаивал:

— Рассказывайте, мулла Гулям, ничего нехорошего тут быть не может. Болезнь не скроешь, если у тебя жар... Когда вы сказали «есть еще влечение», я сразу понял в чем дело.

Гулямджан впервые в жизни решил поведать о своих злоключениях другому человеку и начал свое повествование.

— Едва ли другой отец так любил своего сына, как мой — меня. Я стал уже джигитом, а он все баловал меня, как малого ребенка. Отправляя утром в школу, он строго наказывал мне, чтобы я не бегал по солнцу, не вступал в драку. Он боялся, как бы меня не хватил солнечный удар, боялся дурного влияния недобрых людей, боялся, как бы меня не изувечили. Он дрожал надо мной и тогда, когда я учился в медресе и уже набрался кое-какого ума. Не без причины родители беспокоились обо мне, поминутно с тревогой заглядывали в мои глаза. Моя мать родила девять человек детей. Восемь из них один за другим умерли. Только я один и остался у них. Должно быть, для того, чтобы держать в постоянной тревоге моих измученных родителей. Когда я родился, счастливые родители окружили меня такой заботой, лаской, любовью, что их хватило бы и на тех восьмерых, которых уже не было. Глядя, как они пестуют меня, я

думал: «Если бы я, как мои братья, умер, то вряд ли бы мои бедные родители больше мучились, чем сейчас, когда я жив. Я был огражден от забот и горя. Только позднее я понял, что еще до моего рождения судьба предопределила мне много мук и унижений. Покойный отец стремился дать мне образование вовсе не для того, чтобы сделать меня настоятелем мечети или приказчиком, знатоком шариа или кази. Нет. Он часто говорил мне: «Сын мой, мир так глупо устроен, что, куда ни оглянись, сердце сжимается от боли. При Худоярхане бедняки жили, истекая кровью. Худояра уничтожил пришедший ему на смену белый царь. Но все осталось по-прежнему. Как и прежде властвуют произвол, насилие, несправие, грабеж. В кишлаках — произвол мингбаши, в городах — хокима... Как избавиться от них, кому жаловаться?.. Ты, сынок, не должен страдать, как мы. Учись! Если научишься — значит твоя возьмет! Получил от жизни затрепину (а ты ее получишь — такова жизнь) — открой книгу, и душа твоя просветлеет...»

Так внушал мне отец, хотя сам он был человеком простым, неграмотным. Да и кто станет отрицать пользу просвещения, знаний? Но где знания? Как их получить?

К восемнадцати годам я прочитал не только тридцать глав корана, но и множество других религиозных книг. Среди моих сверстников не было юноши, образованней меня. Меня прозвали «бульбуль кари»¹. Шли годы, моему пытливному взгляду все больше открывалась подлинная жизнь.

Я начинал понимать, что все законы шариа, невыблемые догматы религии противоречили тому, что происходит в жизни, они толкуются вкривь и вкось. Я увидел, что ишаны, шейхи, кази, имамы и им подобные сосут кровь бедного, простого люда, подобно пиявкам. Пророк учил, что клевета хуже прелюбодеяния. Об этом твердят в школах, в медресе, в мечети, а поборники шариа, подобные Гиясиддину агляму, только тем и заняты, что клеветают и вредят ближнему. То и дело слышишь: «Такого-то кари видели с женой такого-то...» Меня стали одолевать мучительные сомненья. Медресе, в котором я обучался, предстало передо мной грязным за-

¹ Бульбуль кари — подобный соловью.

веденьицем, полным клеветы, лжи и лицемерия. Наконец жизнь в медресе стала для меня невыносимой, и я покинул его. Кое-кто мог бы подумать, что я отказался от веры, стал кяфуром. Это неверно! Я — истинный мусульманин. Но совесть не позволяет мне именем религии, прикрываясь ею, грабить или помогать грабить простых темных людей. Не этому учил меня отец, не для этого он дал мне образование...

Бросив медресе, я вернулся в кишлак и сразу же выложил отцу все, что накопилось у меня на душе. Должно быть, я говорил горячо, с болью, волнуясь. Помню, как во время моего рассказа что-то сдавило мне горло — и пелена застлала мне глаза. Утерев слезы рукавом, я исподлобья взглянул на отца. В глазах отца тоже стояли слезы, он едва удерживался, чтобы не зарыдать. Я бросился ему на шею. Отец поцеловал меня в лоб и, плача, сказал: «Спасибо, сынок! Ты прав. Я обучал тебя не для того, чтобы ты пошел по пути Гиясиддина. Твой путь — вместе с народом, угнетенным, страдающим». Поддержка и сочувствие отца-друга и единомышленника наполнила меня радостью. С того счастливого дня я начал хлопотать об открытии в кишлаке новометодной школы. Отец мой не только сочувствовал мне, но и, как мог, помогал...

Гулямджан рассказал уста Бахраму, как открыл свою школу, как дети бедняков, полюбив ее, с радостью принялись за учебу, как безгранично счастлив был он сам, целиком, без остатка, отдавшись новому делу, и как потом была разрушена его школа.

Гулямджан смолк. Молчал и потрясенный Бахрам. Рассказ Гулямджана вызвал у него целый поток мыслей. На какое-то мгновение ему показалось, что не Гулямджан, а его сын Дилшод поведал ему горестную повесть. Уста Бахрам вздрогнул. Чтобы отвлечь Гулямджана от печальных воспоминаний, он сказал.

— Не горюйте, мулла Гулям. Парты ваши они сожгли, но надежды ваши они сжечь не могли.

Гулямджан поднял голову:

— Мои надежды не из тех, которые можно сжечь. Если человек родится слабым духом и таким же умирает, то лучше ему совсем не появляться на свет. Если нет в твоём сердце надежд, стремлений, любви, если ты не го-

ришь в борьбе за их претворение, то чем же ты отличаешься от камня?

— Хвала вам,— проникновенно произнес уста Бахрам. Не получив ответа на вопрос, заданный в начале беседы, и сейчас услышав слова Гулямджана о любви, он надеялся, что рассказ будет продолжен. Но Гулямджан молчал.

— Ну а что у вас получилось, мулла Гулям, с дочерью ходжи?— осторожно спросил уста Бахрам.

Гулямджан не заставил упрашивать себя, рассказал о своих муках и несчастиях, начиная со встречи с Хаётхон у хирмана и до разговора с ней в лунную ночь.

— Задумаешься над смыслом разделения людей на касты,— продолжал он,— и убеждаешься: все эти перерегородки между ходжой, карача воздвигнуты лицемерами вроде Гиясиддина агляма для одурачивания народа. Разве так уж отличаются карача от ходжи? Неужели людей разделил сам бог? Нет, уста-ака, не так это! Все эти цепи и кандалы придуманы баями и духовниками, чтобы им легче было сосать народную кровь. До тех пор пока не обрушились на мою голову беды, я думал, что все эти законы и запреты не людьми придуманы, что они извечны, справедливы. Я и не подозревал, что они придуманы гиясиддинами и мадумарами ради собственной выгоды и на горе народу. Поразмыслишь и начинаешь понимать: какое великое несчастье, что все эти ложные законы глубоко укоренились в сознании народа...

Чтобы скрыть свое волнение, Гулямджан смолк, а затем, уже более спокойно, продолжал.

— Прошло два долгих мучительных года! За это время я ни разу не смог увидеть Хаёт. Ее бубушка, как колдунья в сказках, держала Хаёт взаперти. Я истосковался по любимой. Девушке исполнилось восемнадцать лет, а мне двадцать два. Отец нет-нет, да заговаривал о том, что мне пора жениться. Я дал понять, что если я и женюсь, то только на Хаётхон. Мои родители очень огорчились. Мое несбыточное желание казалось им таким же капризом, как если бы я потребовал: «Достаньте мне звезду». Отец доказывал, что мое желание неосуществимо, тем более, что сватанье окончилось неудачей. После этого мать заикнулась было о том, чтобы поискать для меня жену в других местах, я ей ответил: «Любовь

не птичка, с ветки на ветку порхать не может». Плакала мать, горевал отец. Я ничего не мог поделаться: я был не властен над собой. Говорят: запретный плод сладок. Чем больше преград возникает между мной и Хаёт, чем больше мы разлучены, тем более крепнет наша любовь.

— Многие люди уважали моего отца за скромность, правдивость, щедрость. Особенно уважал его постоянно пользовавшийся моральной и материальной поддержкой отца Мадамин-ходжа. Этого человека, видимо, угнетала отчужденность, возникшая между ним и отцом после неудачного сватовства. Глубоко страдая, он в беседе с отцом извинялся, сетовал на свою фанатичную мать, на обычаи и нравы, коверкающие жизнь людей.

— Если бы зависело от меня,— говорил он,— я не то что дочь — душу свою отдал бы вам обеими руками. Но что я могу поделаться? Все ходжи меня проклянут, проклянет меня мать. Проклятый, я разгневаю бога. Валиака!.. Пойдемте вместе к кази, попросим его благословения. Ведь и у меня из всех моих детей осталась одна только Хаёт. Разве мне не больно за нее?

— Как видите, от нелепых обычаев ходжи страдают не меньше карача. Связанные по рукам и ногам обычаями, боясь клеветы и подлости недобрых людей боясь гнева аллаха, мук ада, они слепо следуют за Гиясидином аглямом, ишаном Актупе Мадазимом шейхом, обманщиками-знахарями!.. Ах, настанут ли когда-нибудь дни, когда будут выкорчеваны эти корни? Настанут ли светлые дни, когда в нашей стране можно будет жить счастливо, мирно, свободно...

— Многие сватались к Хаёт, но она всем отказывала. «Если я обуза для вас,— говорила она родителям,— то я покончу с собой, повешусь или отравлюсь». И это были не пустые слова. Сердце у нее смелое, отважное... Такая девушка, не дрогнув, может принять яд... И если она до сих пор не сделала этого, терпеливо сносила насмешки и издевательства от таких тварей, как дочь мингбаши, то на это есть веская причина. Она надеялась, что наша любовь победит.

— По мере того, как прибавлялись годы Хаёт, росла и тревога родителей. Это естественно. Ведь наши родители обычно отдают замуж двенадцати-тринадцатилетних девочек. А у бедняжек косточки еще не окрепли, мате-

ринское молоко на губах еще не высохло!.. В таких случаях, как с Хаёт, родители начинают терять голову. Мадамин-ходжа, вначале сочувствовавший Хаёт, впоследствии, когда дочери исполнилось двадцать лет, стал неузнаваем. Когда наши отцы пошли к кази, чтобы просить благословенья, Гиясиддин аглям назвал любовь и влечение молодых людей нелепостью. Он сказал:

— Ходжи происходят от костей пророка, а посему загрязнить священную кровь нашего пророка черной кровью черни — значит свершить тяжкий грех.

— Если в этом нелепом утверждении изворотливого и хитрого агляма есть хоть частица правды, то почему же сами ходжи женятся на девушках из карача? Почему они не боятся испортить кровь пророка? Почему они, переступая запрет Гиясиддина, не совершают тяжкий грех? Как видите, уста-ака, жизнь наша полна несуразностей. Можно ли после этого упрекать Мадамина-ходжу и ему подобных в том, что они безропотно склонили головы перед невежеством? И разве Мадамин-ходжа одинок? Разве он исключение? Разве он не один из тысяч, миллионов униженных, обиженных, заплутавшихся во тьме?

— Мадамин ходжа под влиянием своей деспотической матери дошел до того, что совершенно не стал похож на себя. В последние годы он без всякой причины стал бить дочь, называть старой девой. Со стороны глядя, можно было подумать, что отец из мести решил извести Хаёт-хон.

— Прошлой зимой некоему старому ходже, проживающему в соседнем кишлаке, взбрело в голову взять себе сверх имевшихся у него трех жен еще одну. Он стал свататься к Хаёт. Этот лицемерный дряхлый старец, внуки которого достигли совершеннолетия, утверждал, что хочет взять девушку из милости к ней и таким образом «сотворить богоугодное дело».

— Мадамин ходжа, то ли потому, что в последние годы перестали заглядывать сваты, то ли оттого, что дочери уже давно исполнилось двадцать два, увидев сватов старого богомольного ходжи обрадовался. Ему казалось, что шестидесятитрехлетний жених ниспослан самим богом. Чтобы не упустить, может быть, последнего жениха, Мадамин-ходжа заторopilся, засуетился. Он не стал

откладывать свадьбу, не стал торговаться из-за кальяма, объявил, что свадьба состоится через три дня. Нужно ли говорить, что сговором руководила старуха Мастан? Не появившись к сватам, она то и дело подавала свой голос из-за прикрытых дверей. Она же объявила Хаёт о помолвке. Этот позорный обидный приговор девушка, против ожидания, встретила спокойно. Она не металась, не плакала, как это бывало прежде. Больше того, словно покорясь судьбе, она выслушала весть молча. После этого отец весь день не появлялся, избегал своей дочери. Когда же они столкнулись, он виновато отвел глаза от Хаёт. Потом он бросился к дочери и, рыдая, опустил свою голову на ее плечо:

— Виноват я перед тобой! Прости своего отца, доченька! Что я, бедняк, бессильный червячок, могу поделать?

— Накануне свадьбы весь день падал слепящий густой снег. В этот день я не вышел на улицу. До самого вечера сидел у сандала и слagal газели. Во всем доме, кроме меня и матери, никто не жил. Наступили сумерки. Глаза уже ничего не могли различить. Мать сидела возле сандала, я читал книгу. Вдруг мной овладела какая-то безотчетная тревога. Это чувство заставило меня выйти. Надо было запереть двери, подбросить лошади клеверу, накинуть цепочку на калитку, ведущую во внешний двор. Сойдя с веранды, я заметил на снегу свежие человеческие следы. Они вели от внешнего двора. «Если это мать возвращалась к веранде из внешнего двора, то где же следы туда? Или, может быть, пришел кто-нибудь с улицы?» — подумал я и оглядел веранду. Неподалеку стоял кто-то, прислонившись к стене. Сердце мое бешено заколотилось. «Кто бы это мог быть, — подумал я. — Вор? Нет. Вор так стоять не будет. А может быть, какой-то другой злодей? Так почему же не бросается на меня?..»

— Кто там? — тихо спросил я. Ответа не последовало... Едва заметная во тьме фигура отделилась от стены. Я стремительно подошел к ней. О аллах! Это была Хаёт с обнаженной головой, без пальто, с растрепанными волосами, раскрытой грудью!

— Я снял с себя чапан и накинул его на плечи девушке. Она была холодна, как лед, и казалась безжиз-

ненной. Я положил ей руку на плечо, хотел повести в дом. Она не двинулась.

— Мама!— крикнул я невольно.

Мать выбежала.

— Вай, Хаёт, милая! Что вы здесь делаете, голубушка? Пойдемте в дом. Вай, горе мне. Ведь вы совсем застыли!— произнесла она и, обняв девушку, завела ее в дом и усадила у сандала. С моим чапаном на плечах, с широко раскрытыми глазами на бескровном лице, она сидела неподвижно. Но постепенно она стала оживать. Вдруг, воскликнув: «Ах, что со мной!», она выдернула руки из сандала и закрыла ими свое покрасневшее лицо. Затем она уткнулась лицом в одеяло и, сотрясаясь всем телом, заплакала. Я верил, что у мужчин сильная душа, но горе, свалившееся на наши головы, было столь велико, что я тоже заплакал. Мать гладила мокрые волосы Хаёт и старалась утешить девушку.

Хаётхон рассказала нам, что два дня тому назад ее просватали и завтра состоится свадьба. Произнеся слова «завтра свадьба», она взглянула на меня с укором. Я, как сквозь туман, видел ее невыразимо скорбное лицо. Мать моя застонала.

— Гулямджан-ака!— произнесла девушка неожиданно сурово и решительно.— Достаточно я терпела оскорбления. Или мы сегодня же обвенчаемся — и тогда горе и муки, которые я терпела из-за вас, исчезнут, или завтра вместо свадьбы будет траур. Пришло время выбирать. Третьего выхода нет. Пять лет я терпела — это больше чем достаточно. Если бы я могла — еще терпела бы, но силы мои иссякли. Когда бабушка объявила мне о помолвке, я решила убить себя сегодня. Но я не могла уйти, не простившись с вами, не высказав вам своей любви и уважения. Когда же я увидела вас, во мне снова родилось желание жить. Теперь все в вашей власти!..

— Хаётхон, не убивайте меня, любимая!— сказал я, готовый припасть к ее ногам.— Если позволите, я сейчас же пойду к имаму, пусть обвенчает нас!

На лице Хаёт появилась нежная улыбка. Застывшие в ее глазах слезинки, казалось, осветились счастьем.

Не передать словами радости, охватившей меня. Каким-то чудом сердце не выскочило из моей груди. Я начал быстро одеваться. Мать целовала лицо и глаза

Хаётхон, целовала меня. Не зная, что делать, она кружилась около нас.

Мать надела на Хаёт легкое пальто, круглую кашгарскую шапку, отороченную мехом. Все это она хранила много лет. Хаётхон вытащила спрятанный на груди шелковый платок и, протянув его матери, попросила опоясать меня: «Это все, что смогла захватить ваша беглянка...» — сказала она.

Я облачился в наряд жениха, который бережно хранил. Опоясался платком Хаётхон, надел меховую шапку. Когда я уже хотел пойти за имамом, Хаётхон остановила меня. Смущаясь, она высказала свои сомнения.

— Говорят, что у имама мечети черная душа. Нельзя ли обойтись без него?..

— Какая же ты умница, Хаётхон, — сказала мать, переводя взгляд с меня на девушку. — Золотые твои слова, дитя мое. Сыночек, оставь-ка этого проклятого. Его может заменить муж Дилоры. Ведь он ученый. Беги к Дилоре, милый, позови ее вместе с мужем.

Совет матери понравился Хаётхон.

Когда я тихо вышел на улицу, то заметил двух людей, стоявших на углу. Один из них был элликбаши Сали савук, который, по наущению Джурахон, запер меня в подвал. Когда я проходил мимо и поздоровался с ним, он откликнулся: «Куда вы, кари, направляетесь в полночь?» Я что-то ответил и направился к Дилоре. Она хорошо знала о наших злоключениях. Идя к ней, я вспомнил свою встречу с Хаёт у источника. Ведь Дилора, оказывается, охраняла нас от сварливой бабки Хаёт. Об этом мне позже рассказала сама Дилора. Если мне случалось проходить мимо дома Мадамина-ходжи, Хаётхон в шелку наблюдала за мной. А потом... встреча на хирмане... случайно соскользнувший с головы чапан... Случайно ли? Не знаю. Дилора ничего мне об этом не говорила.

Я привел к нам Дилору и ее мужа. Они шли к нам с радостью, горопливо. Когда же мы пришли... мать сидела в доме одна и плакала! Оказывается, когда я ушел, явилась мать Хаётхон вместе с Сали савуком. Хаёт воспротивилась, но мать сказала, что отец находится при смерти. Она не лгала: отец, Мадамин-ходжа, действительно умирал... Считая себя виновницей смерти отца,

Хаёт горько раскаивалась. Она не переставала твердить: «Бог наказал меня за своеволие». Но причиной смерти отца было не бегство Хаёт, а долголетняя тяжелая болезнь. Много лет она держала Мадамина-ходжу на грани смерти. Непрерывные попреки в снисходительности к дочери, ворчание и укоры деспотичной матери действовали на него, как удары молотом. Последний и самый сильный удар он перенести не мог. Принужденный матерью отдать свою единственную любимую дочь за дряхлого старца, он был окончательно сломлен и, как едва теплившаяся лампадка, от дуновения угас.

На следующий день шестидесятирехлетний жених, явившись на свадьбу с друзьями-ровесниками, оказался на панихиде того, кто должен был стать его тестем. А так как свадьба могла состояться не раньше, чем через год после похорон Мадамина-ходжи, то старец вернулся в свой кишлак ни с чем.

Прошло сорок дней после смерти отца. Хаётхон через моего посланца передала мне, что боится тайного венчания, так как во сне ей привиделось, что, тайно обвенчавшись, мы затем разлучимся навек. Она умоляла простить ее и еще раз попытаться получить разрешение на брак у кази... Если Хаётхон считала, что смерть отца — возмездие за ее грехи, если она боялась тайного венчания, то в этом повинна была не она, а Гиясиддин аглям, мингбаши Мудумар, которые застрашивали девушек рассказнями об адских муках. Виногато, уста-ака, невежество.

Одному я дивлюсь. Ведь я и раньше видел все это. Видел, но... не понимал. Но как говорится: «Тот лекарь — не лекарь, который сам не болел». Так и я. После того как на меня свалились унижения, я довольно скоро стал отличать белое от черного. Очень помог мне в этом Кудрат-ака. Глаза мои открылись, и мир показался мне отворотительным и жалким. Во мне все бурлило и клокотало. Я хотел протестовать, бороться, но против чего и с кем, я еще не знал...

Вот так, уста-ака, я прожил семь месяцев после того свидания с Хаёт, когда, казалось, чуть было не расцвело мое счастье. За это время я несколько раз с унижительной покорностью склонял свою голову перед кази Гиясиддином. Я упрашивал его помочь нам. В последний раз он был со мной оскорбительно груб:

— Кари,— ответил он на мою просьбу,— в медресе, видимо, воспитывали не вас, а осла! Неужели вы не учили: «Дочь ходжи не может быть выдана за карача, ибо сие запрещено шариатом!» Вы выикали в смысл этих слов? Или, может быть, то, что торчит по сторонам вашей головы не уши, а клочки дырявой шерсти?

Сильно я разгневался на кази. Мне хотелось ударить его в буззубый рот, но я вовремя одумался. «Пусть этого негодяя покарает бог»,— подумал я.

В тот праздничный день, когда я встретил Хаётхон на представлении канатоходцев, она была очень взволнована, что ее узнают, уличат, опозорят. Она боялась бабушки, ходившей за ней по пятам. И она была права.

С того вечера, когда она прибежала ко мне, каждый ее шаг был под контролем. Если на празднике мы успели переброситься несколькими словами, то сейчас мы лишены и этого. Я тоскую и мучаюсь.

Гулямджан, закончив свой рассказ, сидел некоторое время задумавшись, затем взглянул на уста Бахрама:

— Теперь подумайте, уста-ака, как я могу жениться, зачем я буду связывать свою жизнь с жизнью какой-нибудь бедняжки, которая никогда меня не видела, не любит меня. Если цель — жениться во что бы то ни стало, не прислушиваясь к голосу сердца, то не превратимся ли мы из людей в животных?.. Ведь если Хаёт отвернется от меня, то я могу дойти до самоубийства. Не дойдет ли Хаёт до такого же состояния, если будет брошена мною? Недаром говорится: «Прежде чем колоть ножом другого, сперва кольни себя».

Гулямджан внезапно смолк и внимательно прислушался. С улицы доносился веселый шум группы молодых людей.

Гулямджан сидел, погруженный в свои думы. Молчал и уста Бахрам.

Глава восьмая

СВЕТ И ТЬМА

Через несколько дней уста Бахрам встал с постели. Все это время, пока он лежал, Ольга Петровна навещала его, приносила лекарства. Она появлялась в доме улыбающейся, в сопровождении Тутикиз и Дилшода, которые

тотчас же примыкали к ней, как только она появлялась. Хамидахон встречала Ольгу Петровну с распростертыми объятиями:

— Ах, Олияхон, миленькая, пожалуйста, пожалуйста.

Подобно тому, как Ольга Петровна, полюбив Тутикиз, переименовала ее имя на свой лад: «Татьяна, Таня Танюшенька», так и новые друзья Ольги Петровны стали называть ее «Олияхон». Каждый раз, услышав приближение Ольги Петровны, Джамия живо выбегала ей навстречу и без всяких церемоний, попросту, от всей души крепко обнимала Ольгу Петровну. Всех, живущих в этих двух домиках, влекло к Ольге Петровне, все были ею покорены. Они полюбили русскую женщину не только за лекарства и подарки, но и за тот новый свет и теплоту, какие она внесла в их жизнь, за доброту, простоту.

Но не только эти две семьи узнали и полюбили Олияхон. Добрая слава о скромной сердечной Ольге Петровне стала распространяться среди близких, а потом и дальних соседей. Все чаще ей вслед несло: «Какая милая барышня», «Пусть счастье сопутствует ей всю жизнь...»

Сегодня малыши, встретившие свою ласковую Олияхон еще на улице, появились во дворе радостные. Они прижимали к себе несколько книжек. Ольга Петровна принесла им сказку, как она сказала, русского писателя Льва Толстого «Три медведя», басни дедушки Крылова и другие книжки с картинками. Дети визжали и прыгали от восторга. Какие же интересные книги бывают на свете! Такие книги с такими картинками не видела не только Тутикиз, но даже учившийся в школе Дилшод. Куда там видеть! Про такие книги они даже и не слышали! Но, может быть, что-нибудь подобное видела мать Дилшода, Хамидахон, читающая книги, которые едва обхватишь? Нет, и она не видела. Не видел таких книг ни уста Бахрам, ни другие отцы и матери. Ну посмотрите же на этих медведей! Отец-медведь, медведица-мать, медвежонок! Вай, какие красивые! Какие смешные! А вот это в очках? Так это же обезьяна! Но разве такие маймуны бывают?

Маймуна кого-то напоминала Тутикиз. Но кого? Ах, да! Ну, конечно... Как-то Тутикиз заболела. Чтобы из-

гнать злых духов, мать повела ее к ишан-аим¹. У ишан-аим было вот такое же морщинистое и безобразное лицо и вот такие же очки. Тутикиз, смотря на изображение и сравнивая его с ишан-аим, насмеялась всласть. Немало веселья принесли книжки и взрослым. Они позабавили всех. Прибежали и подружки Тутикиз. Приятели Дилшода также не остались в стороне. Вскоре двор наполнился гомоном и щебетом детей. Книжечки переходили из рук в руки. Но читать никто не умел. Все наслаждались только картинками.

Ольга Петровна собрала на айван всех ребятшек и стала читать им сказку «Три медведя». Прочитает сперва немного по-русски, а потом все перескажет по-узбекски. После этого картинки показались еще забавнее.

— Это Михайла Иванович — папа маленького медвежонка, — объясняла Ольга Петровна, указав на самого большого медведя.

Дети весело рассмеялись. Затем Ольга Петровна показала девочку, которая, заблудившись, попала в берлогу медведей. Дети зашебетали: «Вай, она не испугалась! Храбрая какая!» Детям все было ново, все интересно. Ведь даже те, которые посещали школу, ничего, кроме абджад и хафтияк — своих учебников, не видели. А если и видели, то где уж там быть таким картинкам? Да что картинки. Бывало иной раз сам начнешь кое-что набрасывать на бумаге, так на тебя тут же заворчат: «Грех! На том свете зачтется. Порви!»

Когда Ольга Петровна кончила читать и объяснять сказку «Три медведя», Дилшод спросил:

— Это чьи книжечки? Ваши? Вы их сами читаете?

— Это моего сына книжки. Их читает мой Миша.

Дети невольно прониклись уважением к незнакомому Мише, который читает такие книги.

— А сколько ему лет? — спросил кто-то.

— Одиннадцать, но эти книги он читал, когда был маленьким — в шесть-семь лет.

— В шесть-семь лет? — удивился Дилшод. То, что семилетний мальчик читал такие книги, ему показалось невероятным. И это понятно. Ведь Дилшоду десять, а как ему далеко до этого Миши.

¹ *Ишан-аим* — знахарка.

— Ну и чудной ты, Дилшод,— произнес шустрый мальчуган Акрам.— Моему отцу семьдесят лет, а покажи ему букву «И», так он спрашивает: это подкова?

Дети засмеялись. Засмеялась и Ольга Петровна. Когда смех смолк, Ольга Петровна спросила у Дилшода:

— Почему ты не умеешь читать? В школу не ходишь?

— В школу хожу, и они вот ходят,— указал Дилшод на приятелей.— Но нас учат не по таким книгам.

— А по каким?

— Сперва абжад, потом хафтих, коран, чортжабу...

— А пению учат?

— Учат.

— Значит, петь умеешь?

— Умею.

— А другие дети тоже умеют?

— Которые ходят в школу, умеют.

— А ну, спойте.

Дети сперва стояли смущенные. Но когда Дилшод запел, к нему присоединились и другие. По двору поплыла печальная мелодия, напоминающая протяжное похоронное чтение кари на кладбище.

Из вения детей Ольга Петровна не поняла ни единого слова. Родители, должно быть, тоже ничего не поняли. Когда дети смолкли, Ольга Петровна попросила их объяснить слова песни, в ответ раздался веселый смех. Дилшод тотчас же объяснил ей причину смеха.

— Да мы сами ничего не понимаем, тетя Олия. Когда мы просим учителя объяснить, что значит то, что мы поем, он отмакивается: «После, после!», но никогда не объясняет.

Слова Дилшода не удивили Ольгу Петровну. Она знала особенности мусульманской школы. Она слышала о том, что зубрят религиозные книги, смысла которых не понимают ни учителя, ни сами дети.

Ольга Петровна, оставив книжки, простилась со всеми и ушла. Но и после ухода Ольги Петровны дети не разошлись у калитки, они все еще рассматривали книжечки.

Дилшод, словно он умел читать, водил пальцем по строкам, бормотал что-то про себя так, что со стороны могло показаться, будто он знает русский язык.

«Чтение» было в самом разгаре, как неожиданно калитка от сильного пинка распахнулась, и на пороге появился худой низенький человек с зелеными стеклышками на глазах и аккуратно подстриженными бороденкой и усами. Это был Фосих эфенди.

— Здесь живет Ашур мирзо? — спросил он, переступая порог.

Дети с удивлением уставились на пришедшего.

— Встать, когда с вами говорит эфенди, бараны безмозглые!

Дети вскочили.

— Что это у вас в руках?

Дилшод испугался. Подавая книжку, он пробормотал:

— Русские сказки.

— Русские сказки? — взвизгнул Фосих эфенди так, словно в руках у мальчика была адская машина, которая вот-вот взорвется. Дети испуганно переглянулись, а затем стали боязливо пятиться.

Фосих эфенди взял книгу. Перелистал. Его брови нахмурились, лицо изменилось, руки дрожали.

— Кто дал вам книги кяфуров?

Дети испугались не на шутку. Проворный Акрам, тихонько проскользнув мимо Фосих эфенди, убежал. За ним последовали другие. Остались только Дилшод, Тутикиз, да еще какой-то малыш. Дилшод шагнул к Тутикизу как бы собираясь ее защитить. Так как ответа на свой вопрос Фосих эфенди не получил, он стукнул Дилшода книжкой по голове и грозно закричал:

— У кого взял, поганый, отвечай!

Глаза Дилшода загорелись обидой.

— Зачем бьете? Разве грех читать книги? — воскликнул он.

— А кто тебе сказал, что не грех читать книги кяфуров? Ублюдки! Позор!

Фосих эфенди гневно скомкал книжки. Тутикиз не вытерпела.

— Вай, медвежоночки мои бедные! — вырвалось у нее.

Фосих эфенди отшвырнул книги. Дети быстро побежали за ними. Фосих эфенди остался один. Он чуть постоял, сожалея, что выпустил детей, не добившись от них

ответа. Затем вышел на улицу и, не найдя там ни детей, ни вышвырнутых книжек, повернул обратно. На этот раз, извещая о своем приходе, он позвякал прикрепленной к калитке цепочкой и громко крикнул:

— Здесь живет Ашур мирзо?

Из ичкари негромко откликнулась Джамиля:

— Здесь.

Фосих эфенди, услышав голос молодой женщины, вздрогнул, как охотник, почуявший дичь, затем присосанился, поправил очки, откашлялся и, наконец, слащавым тоном спросил:

— Вы его благоверная, ханум эфенди?

— Да.

— Гм,— промычал Фосих эфенди, не зная, что сказать.— Гмм... ну, как вы поживаете, ханум эфенди?

Из ичкари донеслось краткое «слава богу!». Фосих эфенди снова упустил нить беседы, так, по его мнению, удачно начатой.

— Гм, это очень хорошо...— произнес он, затем снова кашлянул и продолжал: — Да, да, это очень хорошо. А ваш господин значит, это... как его... уже, кажется, большие года, как уехал, а?

Из ичкари донеслось: «Да!»

— Гм, теперь у вас это самое, как это называется... одиночество, кхе-кхе, черт возьми, простудился я, что ли? Да, вот именно, ханум эфенди, одиночество, очень тягостное для человека, не так ли? Кхе-кхе.

В ответ из ичкари донеслось:

— Что вам нужно? Какое вам дело до того, что мой муж уехал и что я одна? Кто вы такой? Зачем вы явились?

Не очень любезный ответ заставил Фосих эфенди с горечью убедиться, что вся его изысканная галантность здесь не будет оценена по достоинству. Он быстро ретировался за калитку и снова принял такой вид, будто только что ворковал не он, а кто-то совершенно другой.

— Ханум эфенди, мне нужен свояк Ашур мирзо. Меня прислал к нему по срочному делу сын Болта купаса — Тешабай,— сказал он строго, и на тот случай, если бы его нечаянно спутали с тем первым, отошел на приличное расстояние. Кто знает? А вдруг эта строгая ханум выскочит да вцепится в него.

Из ичкари послышался тот же неласковый голос:

— Здесь нет людей, которых вы ищете. И, во-вторых, не забывайте. Думайте, прежде чем говорить. Если вам нужен уста, так скажите. Постучите в соседнюю калитку. Там его найдете.

Фосих эфенди, довольный тем, что его неуместная любезность привела к сравнительно легким последствиям, поспешно отошел к соседней калитке и постучал в нее.

Дилшода не было дома. Поэтому отворить калитку вынужден был сам уста Бахрам.

Хотя уста Бахрам до болезни выглядел богатырем, он никогда не участвовал в борьбе курашистов. Всю свою жизнь он знал только один вид борьбы — за существование. Теперь уста Бахрам чувствовал себя лучше, однако болезнь еще давала себя знать. Глаза впали, длинное, вытянутое лицо все еще отливало желтизной. Губы побледили. Фосих эфенди не счел нужным осведомиться о здоровье хозяина. Сухо поздоровавшись, он сразу же спросил:

— Вы уста Бахрам?

Уста Бахрам ответил утвердительно. Фосих эфенди, важно сдвинув свои лишённые волос дужки бровей, небрежно поигрывая золотой цепочкой, свисавшей с жилетного кармана, приступил к выполнению своей почетной миссии:

— Вы имеете честь видеть меня у себя благодаря почтеннейшей просьбе сына почтеннейшего Балта купаса, отправившегося в сопровождении вашего свояка Ашура мирзо в священную Мекку, глубокоуважаемого Тешабая.

Уста Бахрам, человек простой, услышав такую высокопарную речь, что называется рот разинул от удивления. До сих пор ему не приходилось видеть человека, который прилагал бы столько усилий, чтобы выглядеть павлином. Решив, что перед ним какой-то иноземец или, может быть, очень ученый человек, уста Бахрам вежливо попросил:

— Мулла, вы уж говорите проще. Мы люди неученые, темные.

— Да, это верно,— охотно согласился Фосих эфенди и снисходительно добавил: — Если говорить по-вашему,

уста, то Тешабай эфенди просит вас явиться к нему. Есть срочное дельце. А какое именно, я не знаю. Может быть, письмишко от вашего свояка, а может, еще что-нибудь.

— Если бы письмо, то вы бы, наверно, знали. А если какая-нибудь работа, то я сейчас занят. Освобожусь — зайду, конечно.

Узнав, что уста занят изготовлением парт для русско-туземной школы, Фосих эфенди почувствовал себя так, словно его голым посадили на лед.

— До чего же вы низко пали, уста. Парты для русской школы!.. — укоризненно произнес он.

В ответ уста Бахрам чуть не вспыхнул, но сдержался.

— А разве, таксыр, делать парты для русской школы грешно?

Фосих эфенди, видя, что мастера не так-то легко пронять, изменил тон.

— Нет, не грешно, но способствовать превращению мусульманских детей в кяфуров — плохо! Вот это я хотел сказать, эфенди. Скоро мы сами откроем школу, новометодную. Вот тогда, пожалуйста, эфенди, делайте парты сколько вашей душе угодно.

— Но мы, таксыр, едим только тогда, когда работаем. Мы не можем сидеть сложа руки, выбирать себе работу. Ведь даром никто и пол-лепешки не даст: мы русским не будем делать парты, а мусульмане не дают ни работы, ни дарового хлеба, то и гляди — ноги протянешь. А потом, — произнес уста Бахрам, глядя прямо в лицо Фосих эфенди, — мусульманин мусульманину рознь. Да и среди русских разные люди имеются. Видит бог, русские не хуже мусульман, а из тех, кого я знаю, даже лучше некоторых из нас. Они, по крайней мере, тебя не оскорбляют, не ругают, не кичатся, как некоторые мусульмане.

Фосих эфенди с негодованием посмотрел на уста Бахрама. Для него стало ясно, что этот человек изменил исламу, а следовательно, он пропащий человек. Про себя он подумал: «Кяфур!», но вслух угодливо произнес:

— Конечно, жить надо, зарабатывать надо.

Две веские причины удерживали Фосих эфенди в границах вежливости. Первая — он слышал, что масте-

ра народ своенравный и горячий, что сердить их не безопасно: того и гляди могут стукнуть, а то и, чего доброго, зарубить. Вторая — уста Бахрам, один из лучших мастеров в городе, был, вероятно, капризен. Только задень его — и работу бросит, и денег не спросит. И если сейчас он, эфенди, рассердит уста, то рано или поздно это дойдет до Тешабая, и тогда ничего, кроме неприятностей, не жди.

— Так когда же вы, уважаемый эфенди, изволите посетить... — начал было Фосих эфенди, но, почуяв, что хватил через край, на ходу поправился... — Я хочу сказать, когда вы придете?

— День и час указать не могу, таксыр, но, как только освобожусь, приду.

Всю дорогу Фосих эфенди поносил уста Бахрама: «Кяфур!», «Ублюдок!», «Позор!», «Вероотступник!», «Изменник!» и еще многими другими словами, но никак не мог утолить свою ярость. Уста Бахрам, осмелившийся произнести «русские не хуже мусульман», все стоял перед его глазами. Тогда Фосих эфенди, чтобы прогнать упрямое видение, решил произнести свои магические словечки «Ублюдок! Позор!» и в обратном порядке, а именно: «Позор! Ублюдок!». Он так и сделал. Но и это не помогло. Больше того. Этот «нечистый» не только не исчез, но еще непрестанно твердил: «Русские не хуже мусульман», «Русские не хуже мусульман». Это так расстроило Фосиха эфенди, что он не заметил, как дошел до гузара Чархпалак, всегда людного, шумного, привлекающего своими красивыми уютными чайханами. И только, когда эфенди вошел в широкую калитку под большой балаханой, построенной почти у самого арыка, уста Бахрам стушевался, уступив место другим, более приятным видениям... Здесь под наблюдением Тешабая на арбы грузилась домашняя утварь.

Увидев Фосиха эфенди в состоянии некоторой рассеянности, Тешабай обратился к нему:

— Нашли?

— Нашел, эфенди. Но он, оказывается, занят. Обещал прийти, как только освободится.

Фосих эфенди подробно рассказал о странных и огорчительных рассуждениях уста Бахрама, о детях,

упивавшихся русскими книжками. Тешабай нахмурился, а затем совершенно неожиданно закричал:

— Вот вам состояние нашей нации! Вместо того, чтобы драть глотку: «Нация! Нация!», надо думать о том, чтобы уберечь нацию от таких людей в городе, как Бахрам и в кишлаке — Гулямджан.

Фосих эфенди вытащил блокнот и стал торопливо заносить туда мудрые мысли своего хозяина, приговаривая:

— Вы совершенно верно изволили заметить, глубокоуважаемый эфенди! Золотые слова. Великие мысли...

— «Великие мысли, золотые слова!»— передразнил его Тешабай.— Вы только и знаете, что бить себя в грудь да кричать: «Нация! Нация!» А много ли толку от вашего крика? Не думаете ли вы, что народ поверит вашему визгу и пойдет за вами? Чепуха! Откройте джадидские школы, обучайте там детей состоятельных людей, баев...

— Совершенно верно, уважаемый эфенди!— произнес Фосих эфенди, задыхаясь от восторга.

Тешабай продолжал:

— Воспитывайте их в духе непримиримой вражды и нетерпимости ко всем пришельцам и иноверцам.

— Мои приветствия, мои аплодисменты, уважаемый эфенди!— воскликнул Фосих эфенди и покрыл слова Тешабая не очень громкими, но безусловно восторженными аплодисментами, для чего предусмотрительно отложил карандаш и блокнот.

Тешабай с презрением посмотрел на Фосих эфенди, ничего не сказал и отвернулся к подошедшему слуге.

— Готовы?

— Готовы, хозяин, можем отправиться.

Тешабай позвал другого слугу, стоявшего в почтительной позе около груженной арбы.

— Отправляйтесь!

Двое молодых слуг вскочили на запряженных коней и выехали из ворот с арбами, груженными сундуками, одеялами, посудой и прочей домашней утварью. В ташкари осталась только выкрашенная в зеленый цвет арба с большим фургоном, с обеих сторон занавешенным голубой материей.

Тешабай, оставив на айване Фосих эфенди, все еще не пришедшего в себя от обилия высказанных хозяином великих мыслей, направился к ичкари, приоткрыл дверь и крикнул:

— Эй, выходите!

Из ичкари появились две женщины. Одна из них, среднего роста, в новой бархатной парандже, вторая, высокая, — в старенькой. Они взобрались на арбу по приставленной к ней маленькой лестнице. Когда женщины уселись, материя, прикрывавшая отверстие фургона, чуть раздвинулась — и оттуда донесся не по-женски хриплый голос:

— Эй, бай, доставлю на место и сразу же вернусь! Завтра у меня здесь свадьба.

— Ладно уж, ладно, заладила одно и то же, — сердито произнес Тешабай.

Как бы в ответ на слова Тешабая занавесь рывком раздвинулась — и оттуда высунулась голова женщины с незакрытым лицом. Фосих эфенди, все еще очарованный той, что промелькнула в бархатной парандже, был неприятно поражен: «О, черт возьми, да это же колдунья Ходжихола». В самом деле, это была та самая Ходжихола, с которой воевала Тутикиз. Сейчас старуха сварливо ворчала.

— А зачем мне все это? Очень мне надо бегать к девчонке взад и вперед без всякой пользы.

— Не будете бегать. Если хотите, можете вернуться сегодня к вечеру, или завтра к утру. Отправляйтесь.

Арба выехала за ворота.

Глава девятая

В П У Т И

Тешабай, в отличие от многих баев, имел не пять-шесть жен, а только две. Он ставил это себе в заслугу и всегда подчеркивал, что, будучи человеком передовым и прогрессивным, он не приведет в дом никого больше. Старшая его жена Уктамхон была дочерью переводчика предыдущего хокима, а вторая — Турахон — младшей дочерью мингбаши Мадумара. Если пророк Магомет,

имея девять жен, разрешил своим последователям иметь до четырех и если число жен баев, купцов, улемов и шейхов порой значительно превышало дозволенное пророком число, для чего, кстати сказать, в шариате отыскалось толкование, оправдывающее это, то ясно, что Тешабай мог позволить себе иметь не то что девять, а тридцать девять жен. При этом у него не было бы никаких оснований считать, что он нарушил волю пророка. Но Тешабай в этом деле почему-то отставал от своих друзей. Но почему? Не откроется ли нам тайна передовых взглядов Тешабая, если подслушаем, о чем перешептывались женщины в арбе?..

...В арбе, катившей из города по пыльной дороге, на мягко постланных одеялах, сидела Ходжихола с молодой женщиной.

— Турахон, душенька, если я не ошибаюсь, вы уже, кажется, три года замужем,— шепотом спросила Ходжихола у своей спутницы.

Женщина, полулежавшая на подушках, быстро обернулась. В ее глазах вдруг мелькнула грусть. Вздохнув, она устало ответила:

— Больше, дорогая, больше.

— Ну, а дальше что же будет! Так и проживете всю жизнь без ребенка?

— Не знаю.

— А сколько он живет с Уктам?

— Девять лет.

— И от нее нет детей?

Турахон покраснела, отвернулась. Румянец еще больше украсил миловидное лицо двадцатилетней женщины. Турахон легла навзничь, заложила обе руки под сплетенные венком волосы и задумалась. Некоторое время она лежала молча, затем внезапно обернулась к Ходжихоле и тоном, который никак нельзя было назвать игривым, спросила:

— А что, разве ребенок сам по себе родится?

— Вай, что вы говорите! Неужели...— вырвалось у Ходжихолы.

— Да,— просто ответила Турахон.

— Значит, целых три года...

— А что я могу поделать? Идти к кази жаловаться? Требовать развода? Да ведь он даст развод!

— Не говорите глупостей, милая моя,— строго заговорила Ходжихола.— Уйти от такого богатства?

— Вот это меня и удерживает,— грустно вздохнула Турахон.

— Вам обязательно надо родить. Тогда и земли и все прочее останутся вашему ребенку,— зашептала старуха.

— Странно вы рассуждаете, Ходжихола!.. Но что я могу сделать? Не понимаю...

Ходжихола улыбнулась, покачала головой.

— Все зависит от вас...

И она вкрадчиво зашептала что-то на ухо молодой женщине.

Турахон, лицо которой невольно отражало все обуревавшие ее чувства, с минуту помолчала, а затем осторожно, словно преступая запретную черту, спросила:

— Но как?

Вот этого вопроса и добивалась Ходжихола. После своего длительного и бурного паломничества в Мекку, она среди прочих дел особенно интересовалась женщинами, которые испытывали такие же затруднения, как и Турахон. Она склоняла их принять ее посредничество и помощь и весьма искусно состряпывала дельце, разумеется, не бескорыстно. Вознаграждение она получала двойное: от той и другой стороны. Этим и объяснялось ее согласие сопровождать Турахон и внезапное столь горячее сочувствие к молодой женщине.

Дичь уже попала в силки. Теперь ее надо ощипать...

— Как?— снова спросила Турахон.

— Это сделать можно.

Как опытный охотник, Ходжихола действовала осторожно, не торопясь, начала издалека.

— Неужели вы всерьез думаете, что три-четыре, а тем более пять-шесть женщин, имеющие одного общего мужа, так и сидят схимницами, пока их муженек носится по базарам? Ошибаетесь, миленькая!— Ходжихола, прищутив глаза, захихикала.— Да и что остается им, бедняжкам, делать, как не резвиться? Неужели же лучше всю жизнь вянуть? Ну и резвятся. А у вас вовсе другое дело. Вам нужен ребенок. Вы тоскуете по детенышу. Если другие грешат, чтобы только полакомиться, то вам, тем более, сам бог велел.

Ходжихола на мгновение смолкла и исподтишка взглянула на Турахон. Лицо Турахон как будто не выражало возмущения. Ходжихола, словно опасаясь, что ее могут подслушать, придвинулась вплотную к молодой женщине, зашептала:

— Если хотите, я сведу вас к ишану из Актупы. Богоугодный человек. Его молитвы доходят прямо до бога. Ни одна из женщин, жаждавших ребенка, не обманывалась в своих ожиданиях, если она через мое посредство обращалась к нему.

«Почему же, в самом деле, не согласиться,— подумала Турахон,— если все может устроиться от одной единственной молитвы ишана? Но только ли от одной молитвы?» Вот это хотела знать Турахон. Ходжихола поспешила ее успокоить:

— А вы сами проверьте! Ну так как же? Согласны? Турахон нерешительно ответила:

— Согласна.

— Вот и хорошо! Наконец-то вы взялись за ум.

Ходжихола, словно ребенок нужен был ей, а не Турахон, очень обрадовалась. Она обняла женщину и стала вnuшать:

— Начиная с сегодняшнего дня, вы должны слушаться меня. Не бойтесь, я вас не брошу. Если бы вы только знали, как я вас люблю. Вы чувствуете?

Хотя Турахон никогда и не подозревала, что она столь горячо любима старухой, однако из вежливости кивнула.

Ходжихола продолжала плести паутину.

— Некоторые мужчины недолюбливают ишана Актупы. Если женщины хотят полечиться молитвами, то их мужья готовы скорее треснуть, чем согласиться. Сами знаете, какие они ревнивые да подозрительные. Но все это пустяки. Если ваш муж заартачится, то употребите одну маленькую хитрость. Когда ваш муж вернется из города, вы во что бы то ни стало, любыми средствами заманите его к себе и обязательно ублажите. А потом уж заведите: «Удивительный сон я видела. Как будто святой Хизир бува явился в эту самую комнату. Увидев меня, он покачал головой, погладил бороду и заговорил жалостливо-жалостливо: «Что, доченька, до сих пор без ребеночка?» Не успела я ему ответить, как он мне строго так говорит: «Не позднее завтрашнего дня явись к иша-

ну Актупы и скажи, чтоб он помолился за тебя, и, да свидетель бог, будет у тебя ребенок. Благословляю тебя!» Ну прямо все как наяву. Проснулась я, а тут уже светает, кричат петухи...» Пусть после этого попробует отказать. Только все нужно сделать, как я сказала. Хорошо?

— Хорошо,— ответила Турахон, и лицо ее румяное, как свежая лепешка, стало еще краше от улыбки и двух ямочек на щеках.

— Это самое важное! Об остальном мы поговорим позже,— произнесла Ходжихола — и вдруг, точно вспомнив о чем-то самом главном, воскликнула, хлопнув себя по лбу:— Да! Чуть не забыла. А задаток? Должна я что-нибудь получить за труд? А ну-ка, раскошелитесь, а то нехорошо получается: я для вас стараюсь, а вы?.. Если задаток не получу наличными, то и душа не будет спокойна, и дело не будет двигаться, да и мы с вами, чего доброго, рассоримся. Давайте! — потребовала она.

У Турахон с собой ничего не было.

— Хорошо, приедем домой...— начала было она, но заметив пристальный взгляд Ходжихолы, устремленный на ее золотой перстень с изумрудом, сама взглянула на него. Ходжихола почувствовав, что смутившаяся Турахон колеблется, укоризненно покачала головой:

— Неужели вам эта безделица дороже ребеночка?

Пристыженная Турахон решительно сняла кольцо и передала старухе. Ходжихола надела кольцо на палец и хихикнула:

— Вот мы с вами и неразлучные подружки. Не будет теперь у нас тайн, станем друг друга слушаться и помогать. Хорошо?

— Хорошо.

— А я потом сбегаю к ишану, узнаю: дома он или охотится за мюридами. Это, чтобы вас напрасно не утруждать, если он куда-то уехал. А пока делайте все так, как я вам сказала. Если Тешабай спросит меня, скажите: срочно вызвали на свадьбу. Ни в коем случае ни единого словечка о том, что я ушла к ишану. Об этом, кроме нас двоих да бога, ни одна душа знать не должна. Да и после того, как вы побываете у ишана, тоже не следует откровенничать с кем попало. Но об этом мы еще поговорим.

Турахию покачиванием головы выражала полное согласие со всем тем, что втолковывала ей ее новоявленная подружка.

Повозка внезапно накренилась. Ходжихола выглянула на улицу. Арба с мощеного камнем шоссе вступила на пыльную ухабистую дорогу. Значит осталось еще больше половины пути. Некоторое время обе женщины лежали молча. Старая задремала и даже начала похрапывать. Молодой было не до сна. Она о чем-то напряженно думала. Наконец она обернулась к Ходжихоле, тронула ее за руку и, когда та открыла глаза, спросила:

— Тетя, я хочу вас спросить... Только вы не обидетесь?

— Да разве можно обижаться из-за разных пустяков, миленькая?

— Люди говорят про вас.

— Что говорят?— насторожилась Ходжихола.

— Что вы... вы не настоящая хаджи.

— Ах, только и всего?— усмехнулась Ходжихола.— Так это почему же? Потому что завидуют, миленькая, вот и говорят. Руки у меня легкие, ноги проворные, поэтому и завидуют, поэтому и шепчутся. Да это что. Бывали и такие, которые прямо в лицо мне кричали всякое, из зависти, конечно. Так что с того? Если будешь всех слушать, с ума сойдешь!

Ходжихола, по-видимому, не поняла, а скорее всего, притворилась, что не поняла смысла, который крылся за вопросом Турахию. Ведь люди, бросая ей вслед, словно камень: «Лжехаджи!», имели в виду: «Обманщица! Сводня! Развратница!»

«Человек, совершивший паломничество в Мекку, должен быть чист, честен и свободен от пороков,—думала, между тем, Турахию,— а если это не так, то пусть он потом хоть дважды побывает в Мекке, он все равно не хаджи...» Она спросила Ходжихолу:

— Правда, что вы были в Мекке?

— А как же? Конечно, правда.

— Расскажите, как вы путешествовали. Времени у нас еще много.

Ходжихоле иногда и самой очень хотелось поведать о том, как она путешествовала в Мекку и как стала хаджи, конечно, только надежному и очень близкому чело-

веку. Но таких у Ходжихолы не было. Может быть, и в самом деле рассказать Турахон? Правда, кто же ее знает, что она за человек. Не помешает ли Ходжихоле повесть о ее злоключениях завлечь Турахон в свои сети? Однако искушение было велико, и Ходжихола, подумав немного, решилась:

— Ну что ж, так и быть, расскажу, но с одним условием: никому не разбалтывать. Хотя скрывать мне совершенно нечего, но рассказываю я только для вас одной. Никто, кроме вас, ничего знать не должен.

Глава десятая

ШКОЛА ФУАДА ЭФЕНДИ

— В нашей семье я была младшим и, как это часто бывает, самым любимым ребенком. Отец во мне души не чаял. Мать свою не помню. Она умерла, когда я была еще младенцем. Отец мой был бесшабашным, сорвиголовой. Кажется, не было ни одного предосудительного дела, которым бы он ни занимался. Он был игроком, курил, охотился за женщинами, отчаяннее всех скакал на улаке.

Было мне шестнадцать лет. Я только-только начала расцветать, как отец проиграл меня. Рябой игрок взял меня в жены, как вещь: без приданого, калыма, свадьбы. Долго и безуспешно я плакала. Кому я могла пожаловаться, кто мог меня пожалеть? Ведь я была проиграна вместе со старыми вещами отца, стала собственностью удачливого игрока. Что я могла поделать, раз это было предопределено роком?

Отец, проиграв меня, потом сожалел, раскаивался, плакал и от отчаяния, казалось, готов был умереть. Да что пользы в этом? Дело было сделано. Я стала женой игрока. Но и отцу было нелегко. Позором и проклятиями было окружено его имя. Терзаемый тоской, жалостью ко мне, он не смел показаться на улице, явиться мне на глаза. Но вот однажды, узнав, что мой муж, как это нередко с ним случалось, куда-то исчез, отец явился ко мне с опущенной головой, убитый, жалкий. Он был неузнаваем: похудел, постарел, пожелтел! Вст до чего довела его моя печальная участь! Сжалось от боли мое сердце.

Но что я могла поделать, жена игрока? Отец мой в тот день плакал безутешно. И я плакала вместе с ним. О, если бы слезы могли вернуть прошлое! «Отец, не вы виноваты. Такова моя судьба!» — сказала я, чтобы немного приободрить его, да и себя утешить. Отец утер слезы, поцеловал меня и отправился восвояси.

— Шесть лет я жила с мужем. Трех детей родила, но ни один не выжил. Первый умер от кори, второй — от коклюша, третий — от дизентерии. Я смирилась со своей горькой участью, привязалась к мужу. Хотя мой муж был игроком, да к тому же рябым, разгульным, непутевым, все-таки много в нем было и хорошего. Лицом страшен, сердцем добр. Меня он любил. Каждый свой выигрыш — золотые, серебряные браслеты, дорогие ожерелья, кольца — он приносил мне, а проиграв, брал все обратно. Принесил он подарки — не радовалась я, уносили их — не горевала. Когда он уходил играть, я молила бога об одном: только бы он меня не проиграл. Все остальное мне было безразлично, и я была благодарна ему за то, что он не поступил со мной, как мой отец. А тот изредка приходил к нам. Его душа никак не могла успокоиться. Навещая меня, он долго молча стоял, потупив глаза, не решаясь взглянуть мне в лицо.

— Однажды отец явился ко мне возбужденный, радостный. Глаза его горели. Я даже испугалась. Уж не помешался ли он? Оказывается, в большой игре он выиграл целое состояние. Он высыпал передо мной подарки: браслеты, золотые серьги, жемчужные ожерелья, колечки разные... Не сосчитать. Но не в этом главное. Он дал мне клятву, страшную клятву, что никогда больше не будет играть: «Если я буду играть, пусть мать станет моей женой!» — сказал он. Я очень обрадовалась. Потом он высказал мне свое заветное желание: «Если бог поможет, совершу паломничество в Мекку, искуплю грехи свои!» Добра в узелке у него было видимо-невидимо, хватило бы на десять поездов в Мекку. А на следующий день произошло вот что. В большой игре мой муж проигрался в пух и прах. Остался в одном белье. «Так погодите же!» — пригрозил муж. Занял у знакомого денег, и снова пошла игра. На этот раз ему повезло. Он выиграл очень много. Проигравший ударил моего мужа по голове! Началась драка, поножовщина. Вечером привез-

ли ко мне на арбе выигрыш мужа и его труп. Горько, неутешно плакала я. Только после смерти мужа я поняла, как любила его, как была к нему привязана. Хоть и игрок, все же он был добрым и любящим мужем. Назавтра мы похоронили его. Через семь дней после смерти мужа отец взял меня с собой в Мекку. «Если умру я там, схоронишь с честью, помолишься за меня богу!»— говорил он. Покойный отец боялся, что если он умрет на чужбине, то не будет похоронен как следует. А думал ли он о том, что может произойти со мной? Ведь он мог взять с собой одного из моих братьев, а не двадцатидвухлетнюю хорошенькую женщину! Или, может быть, он хотел искупить свои грехи моими страданиями? Впрочем, я и против этого ничего не имела. Меня окрыляло желание добраться до Мекки, до священных мест и там в память мужа заказать молитвы из корана, плачем замолить перед богом его грехи. Мы взяли с собой все деньги и ценности, выигранные отцом и мужем. Я уж не помню: за сколько дней и месяцев достигли мы Мекки. Ехали на верблюдах и даже на огромном, изрыгающем дым пароходе, который катил по воде. Были в Мекке, Медине, ездили на священную гору Арафат. Около месяца мы ходили в гости к другим паломникам, звали их к себе, угощали, любовались зрелищами. Очень много мы тратили. К тому же купили подарки для ближних и дальних родственников. Словом, денежки наши иссякали и, наконец, их осталось совсем мало. Настала пора возвращаться домой. Мы достигли своей цели — стали хаджи.

В один из летних жарких дней тронулись мы из Мекки в священный Куддус. В пустыне на нашем пути кочевали дикие арабские племена — бедуины. Они грабили тех, кто, обрекая себя на лишения, отправлялся в Мекку или возвращался оттуда. Поэтому хаджи передвигались не в одиночку, а караванами. И мы с отцом тоже присоединились со своим верблюдом к каравану. Путь был так тяжел и долог, что казалось, нет ему ни конца ни края. Воде не было цены. Кругом горячий песок, зной, палящее солнце.

Внезапно в пути наш верблюд начал хромать. Мы очень испугались, так как и без того едва поспевали за караваном. Однажды к вечеру вдаль показались пальмо-

вые деревья. Мы обрадовались, надеясь найти там воду. И в самом деле, там оказался источник. Караван заночевал. Всю ночь выли волки, лаяли шакалы. У погонщиков каравана были ружья. Всю ночь, чтобы отогнать хищников, мы жгли костры из хвороста, травы. На рассвете караван тронулся. Но наш единственный верблюд, несмотря на все усилия, не поднимался. Пересесть на какого-нибудь другого верблюда погонщики не разрешили. Никто не согласился также обременять нашим добром и без того перегруженных животных. Мы остались на берегу источника, надеясь, что к тому времени, когда подоспеет другой караван, наш верблюд выздоровеет. Караван ушел. Остались мы — отец, я и три погонщика. В то время я была женщиной молоденькой, ладной, вот такой, как вы сейчас. Ну, а если молодая, да еще недурная женщина бровью поведет, то, говорят, и мертвая гора страстью запыхает. А те три погонщика, оказываются, по мне с ума сходили. Я тогда не куталась в паранджу, а только, подобно женщинам арабов, накрывалась чадрой. Лицо мое можно было разглядеть до самого рта. И кроме того, не считая их за мужчин, я почти всегда сидела с открытым лицом. Погонщики начали ко мне приставать, грубо заигрывать. Я по-прежнему не обращала на них внимания и продолжала сидеть с открытым лицом. Отец начал их всячески стыдить. Куда там! Не слушают. Вдруг один черномазый, огромный такой, подбежал и обнял меня. Отец рванулся было ко мне на выручку, но двое других вцепились в него. Отец был уже стар и, кроме того, обессилен длительным путешествием. Его вмиг свалили на землю и обобрали до последней копейки. Я кричала: «Мы мусульмане и вы мусульмане, побойтесь бога!» — но все было тщетно. В беспредельной пустыне никого не было, кроме трех грабителей и двух бедняков, ходивших в Мекку, чтобы стать хаджи... Огромный араб сгрел меня в охапку и понес за барханы... Я бешено отбивалась ногами, руками, царапалась, кусалась — ничего не помогало... Я потеряла сознание... А когда пришла в себя — вижу, отец сидит у моего изголовья и плачет. Я хотела встать — не могла. Мне было больно, словно косточки мне переломали, словно молотком меня били. А погонщики ушли не вперед, в священный Куддус, а обратно — в Мекку. Кто знает зачем,

может быть, чтобы, подобно моему отцу, раскаяться перед богом в совершенном, молитвами очиститься от грехов...

— Так мы вдвоем: старый слабый отец и я остались в пустыне. Мы были совершенно беззащитны. Хорошо, что у нас нашлись спички. Отец насобирает несколько охапок хворосту, травы, чтобы ночью огнем отгонять волков. Но, к великой радости, когда стало темнеть, к нам донеслось звяканье колокольчиков. Из Мекки шел караван. На наше счастье, в караване оказались знакомые хаджи. Переночевав в пустыне, мы на другой день отправились вместе с ними. Мы рассказали им, что погонщики ограбили нас, но промолчали о том, что они сделали со мной. Нехорошо было бы для меня, если бы эта история стала известна на родине. Мы благополучно добрались до Александрии. Этот город стоит у самой воды, конца которой не видно. Город очень большой, переполнен кяфурами, большей частью англичанами. Арабов почти совсем не видно. Кто знает, может быть, их в город не пускали? Короче говоря, мы долго мытарствовались: все никак не могли сесть на парохол. Наконец нам это удалось. Много дней плыли по великой воде — и приплыли к Стамбулу, в котором останавливались, когда направлялись в Мекку. На молочном базаре мы нашли пристанище паломников, и тут меня постигли новые, более страшные несчастья. Прошло три месяца после того случая в пустыне, и я уже не сомневалась в том, что забеременела. Я не знала, что мне делать. Говорить отцу стыдно. В приюте паломников я была единственной женщиной... Я была очень одинока. Не знала, с кем посоветоваться, с кем поговорить. Хозяин приюта, старик, относился к нам хорошо, денег за постой не требовал. Но уехать мы не могли. Не было средств. В надежде, что встретятся близкие знакомые или земляки, мы жили в приюте — днем в мелкой суете, ночью в печали и тревоге. Моя беременность становилась все заметнее. Скрыть ее было уже невозможно. Отец, конечно, давно догадывался, но, так как знал причину, молчал, притворялся, что ничего не замечает. Наконец я поговорила с ним. «Нельзя ли как-нибудь освободиться?» — спросил он. Я, признаться, ничего не предпринимала. Да и что было делать в чужом городе среди чужих людей без денег? Теперь к нашему полуголодному существ-

вованию, бесконечным мытарствам, тщетным попыткам добраться домой прибавилось еще и мое отчаянное положение. Хорошо еще, что хозяин приюта хаджи — Фуад эфенди, сочувствуя нам, поддерживал нас едой. Частенько, когда отец отлучался, хозяин приходил ко мне в худжру. Я закрывала от него лицо, таилась, а он говорил: «Дитя мое, ведь я тоже мусульманин, зачем же скрывать от меня свое лицо. И потом, я человек старый, ровесник твоему отцу». Постепенно я привыкла не прятать от него лицо. Через некоторое время он, вместо «дитя мое», стал обращаться ко мне почтительно: «Ханум», «Как вы поживаете, ханум?» «Ханум» он произносил по-нашему, и я понимала, а вот «как поживаете?» он лопотал по-своему, и я долго думала, что он в чем-то упрекает меня. От этого я краснела, не знала, что ответить, и хотя про себя я ему желала: «Чтоб ты свой язык прищемил!», внешне относилась к нему с уважением. Чем дальше, тем больше он смелел. Он подолгу и пристально смотрел мне в глаза и ласковым тоном произносил какие-то слова, смысла которых я не понимала.

Отец каждый день, в поисках способа вернуться на родину, обходил приюты хаджи, разыскивал знакомых. Он уходил утром и возвращался к самому вечеру усталый, голодный, расстроенный неудачными поисками. Вот в один из таких дней, когда он ушел, а я, сидя в худжре, шила распашонку для будущего несчастного ребенка, вдруг является Фуад эфенди с чем-то завернутым в платок. Я, по привычке, встала, пригласила его сесть. Я уже немножко понимала по-турецки, а он — по-узбекски. На это раз он, против обыкновения, заговорил со мной откровенно и ясно о том, о чем я уже смутно догадывалась. Он начал с того, что вот, мол, жена его уже стара, слаба, а он еще, несмотря на свои немалые годы, чувствует себя молодым душой и телом. Потом он стал меня расхваливать. Смушенная, я слушала молча, уставившись в землю. Он был старше моего отца, но еще крепкий и бодрый. Он развернул свой платок. Там были две новые красивые шкатулки. Раскрыл одну, а в ней чудное ожерелье из крупных жемчугов, каждый величиной с кукурузное зерно. Вытащив ожерелье из шкатулки, растянул во всю длину. Затем встал с места и надел ожерелье

мне на шею. Я стояла молча, не двигаясь. Затем он открыл вторую шкатулку — там было два золотых браслета. Он и их надел на меня, но, одевая, не сразу отнял руки. Да и сама я почему-то не сняла свои, не опустила глаза. Фуад эфенди покраснел. Покраснела, наверно, и я. Ведь мне было, как и вам сейчас, всего только двадцать два года, и потом я была такой горячей, пылкой...

В этот день отец вернулся поздно. Он застал меня спящей. Я проснулась от его кашля. Это он кашлял нарочно, чтоб меня разбудить. Встала я, огляделась. Оказывается, я заснула с дорогим ожерельем на шею, с браслетами на руках. После ухода Фуад эфенди я забыла спрятать их. Отец пристально и долго смотрел на меня. Вот тут-то я почувствовала, что поступила очень неосмотрительно. Отец нахмурился, сник. А я не знала, что сказать. Отец спросил: «Хозяин заходил?» Я ответила: «Да!» Он ничего больше не сказал и ни о чем не спросил. Ничего не сказала и я, только накрыла дастархан, но отец лег спать, не дотронувшись до еды. Я чуть не умерла со стыда. Сон ко мне не шел. Отец не заговорил со мной и на следующий день, ушел, даже не позавтракав. Я дала себе слово: «Если Фуад эфенди войдет снова, я и не посмотрю на него. Швырну в него проклятые его ожерелье и браслеты». Днем Фуад эфенди явился опять. Но я не смогла сделать того, что решила. Словно вчерашние подарки принадлежали мне по праву, словно я затретила на них свой труд, не смогла я расстаться с ними. Чтобы швырнуть такое ожерелье, такие браслеты, оказывается, надо иметь сильное, как камень, сердце. Я даже не прогнала его из худжры. Да и как прогнать? Ведь худжра-то была его, а я только жила в ней из милости.

На другой день утром, как только ушел отец, Фуад эфенди позвал меня к себе в худжру. Пошла я. Оказалось, она не такая маленькая и убогая, как наша, а большая, красивая, нарядная. В конце худжры была широкая тахта, на ней ковер, а на ковре одеяла, пуховые подушки. Посередине тахты стоял широкий низенький столик с разными яствами, а на краешке — что-то вроде нашего чилима, но только вместо длинной трубки была вставлена какая-то штуковина из резины. Как я узнала по-

том, это был кальян. Фуад эфенди сел на тахту и стал посасывать из этого кальяна. Когда я вошла, он указал на место возле себя: «Пожалуйста, ханум!» Я робко подошла. На полу был разостлан такой же, как на тахте, огненно-красный ковер. Мы целый день были вместе. Он отпустил меня только перед приходом отца. Прощаясь, он протянул мне финджан. Так они называют пиалу с ручкой. Там была какая-то красноватая жидкость. Он сказал, чтобы я ее выпила. Я не хотела, а он все настаивал, дескать, она силы придает. Я выпила с трудом. Очень она терпкая и горькая была. А потом мне показалось, что я сожгла себе рот, что вот-вот лопнет мой язык, что огонь прожжет меня насквозь. Я даже испугалась: «Уж не отраву ли он мне дал?»

В тот день отец вернулся рано. Он был доволен. Ему удалось напасть на след хаджи из Маргелана. Он хотел на следующий день пойти к ним и попросить их о помощи. И тут я с ним заговорила наконец о том, о чем я все время умалчивала. Я сказала ему, что, ввиду моей беременности, я, чтобы избежать позора, не хочу возвращаться домой. Но это была неправда. Я просто уже привыкла к Фуаду эфенди. Мне не хотелось с ним расставаться. Отец мой задумался. Затем, словно догадываясь, что со мной происходит, неожиданно спросил: «Хозяин к тебе заходит?» Я ответила: «Давно его не видаю». Соврала. Не хотелось огорчать отца и, кроме того, боялась: переедет отец в другой приют хаджи, и я разлучусь с Фуадом эфенди. Мы легли спать. Перед рассветом я вдруг почувствовала себя плохо, у меня начались сильные боли. Мне было очень больно и очень страшно. Я терялась в догадках: «Может быть, тяжесть поднимала или падала?» Никогда я не чувствовала себя так скверно. Всю ночь я корчилась в страшных муках. Утром я выкинула свой несчастный греховный плод. Все у меня болело, в глазах мутилось. Я все время пила воду и никак не могла охладить свое пылающее тело. Отец не уходил от меня.

Несколько дней я лежала. До этого я три раза рожала в муках, но таких страданий я еще никогда не испытывала. И все же, несмотря на свои мучения, я радовалась тому, что избавилась от ребенка. Радовался и отец. «Слава богу, избавились от поганого», — говорил он. Я

ему ничего не ответила. В этот день Фуад эфенди ко мне не являлся.

Когда я несколько оправилась, отец снова пошел искать своих земляков. Как только он ушел, появился эфенди, очень опечаленный. Он уже знал о моих муках. А кто ему сказал? Откуда он узнал? Отец ведь не мог сказать ему. Фуад эфенди расспрашивал меня о моем состоянии, я отвечала, что уже здорова. Затем я сказала ему, что происшедшее несколько не печалит меня, так как теперь путь на родину для меня открыт, рассказала я, что отец нашел своих земляков и что мы, наверно, скоро отправимся домой. Фуад эфенди слушал все это с печальным видом. Затем он начал меня упрощивать остаться у него хотя бы до осени. Я ответила, что все зависит от воли отца. Вечером вернулся отец. Он сказал мне, что через неделю мы отправимся домой. Он чуть не плакал от радости, обнимал меня, целовал. Я же колебалась. Мне и уезжать было трудно и на родину хотелось. Не знала, как быть. На другой день, как только отец ушел к нашим землякам, я, не дожидаясь прихода Фуад эфенди, решила сама к нему пойти. Набралась храбрости. Пошла. Фуад эфенди молился, обратясь лицом к югу.

Услышав скрип двери, он обернулся. Увидел он меня, вскочил, даже не окончив молитвы. Схватил — и понес на тахту. Я ему все рассказала. Очень расстроилась. Сказал, что не может жить без меня, что на свете у него никого нет. Разжалобил он меня так, что я заплакала. Да и мне с ним расставаться не хотелось. Побыли мы вместе, поговорили и даже развеселились. А когда я с ним прощалась, он и говорит: «Обойдется как-нибудь».

Когда до отъезда осталось два дня, Фуад эфенди зазвал в гости отца. Меня почему-то не пригласил. Отец вернулся от него поздно ночью, когда я уже спала. Встала утром, посмотрела на отца и чуть не умерла от страха: рот широко раскрыт, глаза ввалились. Никогда он так не спал. Затормошила я его, а он не просыпается, тронула его голову, а она холодная-холодная. Отец был мертв. Закричала я не своим голосом. Сбежались все соседи, все служащие приюта хаджи. Но среди них не было Фуада эфенди...

После смерти отца Фуад эфенди переселил меня в свою худжру. Без свадебного обряда мы жили с ним

целый год. А потом... Да, а потом мы с ним жили еще семь лет. Когда Фуад эфенди отдал богу душу, я вышла замуж за одного узбека, который возвращался из Мекки. Вот вместе с ним я и вернулась домой...

Видите, сколько мытарств я перетерпела. Уже шесть лет, как я вернулась. Слава всевышнему, что было, то прошло и забылось. Сейчас я живу припеваючи. Ни до кого мне нет дела, да и мной никто не интересуется. Теперь я хаджи, да еще знающая толк в различных делах. Вот для таких, как вы, я не жалею сил. Выслушаю, посоветую, а если надо помочь кому-нибудь, то не поленюсь пройти и версту, а то и все десять. Вот меня и благодарят за это. А если кто и забывает отблагодарить, да к тому же еще и ругает, ну что ж, бог с ним. Вот так и живу чужими радостями и горестями. У одних распоряжаюсь на свадьбах, у других — на похоронах. Могла бы, конечно, и без этого прожить спокойно, без хлопот. Да вот характер мешает. Меня так и тянет помочь таким слабым и неопытным бедняжкам, как вы. Ведь я мусульманка, милая!..

Ходжихола не все рассказала. Кое-что она упустила, кое-что приукрасила. Самая последняя женщина разгневется, если ее назовут тем, чем она в действительности является, и будет искать оправдание для своих пороков. Может быть, поэтому Ходжихола не обо всем рассказала.

Читатель уже, наверное, заметил, что ее подробное и, пожалуй, многословное повествование о своей печальной, полной превратностей жизни становится вдруг очень кратким и невразумительным, как только она переходит к рассказу о своей жизни в Стамбуле после смерти отца. Почему Ходжихола прожила целый год «без свадебного обряда», и как она этот год прожила? Почему, продолжая свой рассказ «а потом...», она внезапно прерывает свое плавное повествование и совершенно неожиданно добавляет, что прожила с Фуадом эфенди еще семь лет? Как она прожила эти долгие семь лет? Кто этот узбек, за которого она вышла замуж после смерти Фуада эфенди? Все это осталось в тени. Но если Ходжихола, по понятным причинам, предпочла о многом умолчать, то наш долг раскрыть эти утаенные страницы жизни, как бы мрачны и неприятны они ни были. Ибо то,

что произошло с Ходжихолой, было уделом многих женщин в то время.

Многие одинокие девушки и молодые женщины, застрявшие в странах, где узаконены публичные дома, большей частью попадались в сети, подобные тем, которыми оплел Ходжихолу Фуад эфенди. Доверчивые и неопытные, они за подарки расплачивались своей юностью, счастьем, жизнью. Фуад эфенди был поставщиком торговцев женщинами. Он был отвратительным, безжалостным человеком, посвятившим свою жизнь черным делам. Фуад эфенди отыскивал беспомощных или легковверных молодых женщин, соблазнял их подарками, клятвенными уверениями в любви. Хорошеньких он на время оставлял себе, средненьких сразу продавал в публичные дома. Это было его ремеслом, а приют хаджи — его мастерской, школой, в которой незаметно для стороннего глаза воспитывался, пестовался, формировался живой товар. Ходжихола была изделием или продуктом вот одной из этих самых лавок-школ. Путь Ходжихолы был извилистым и трудным: Фуад эфенди прожил с нею около года, и, когда она ему надоела, превратил ее в прислугу. Она подавала воду заночевавшим молодым и старым хаджи, всяким торговцам из разных стран, иранцам, афганцам, стелила и убирала за ними дастархан, словом, стала прислугой в полном смысле этого слова. Он приучил ее подчиняться во всем ему, а затем и своим постояльцам. Он приучил ее ко всему — выполнять самую черную работу днем и удовлетворять прихоти постояльцев ночью. Она сделалась безответной игрушкой, забавой сперва купцов среднего достатка и, наконец, полуничих и нищих пьянчуг и босяков... Нельзя сказать, чтобы Ходжихола безропотно катилась вниз. Сперва она плакала, умоляла, сопротивлялась. Но ничего не помогло, Фуад эфенди уже имел над нею неограниченную власть и мог распоряжаться ею как угодно. Ведь Фуад эфенди бесплатно кормил, поил, наряжал свою жертву. Все это ложилось на Ходжихолу тяжелым бременем. Кроме того, расходы на погребение отца были также занесены в записную тетрадь. Когда Фуад эфенди, сбросив с себя личину друга и добродетеля появился перед ней в своем истинном виде и начал по списку перечислять все «долги» человеку, которому он не так давно

клялся в любви, перед потрясенной женщиной предстала огромная сумма, сдавившая ее, как ярмо. Пучина, в которую толкнул ее Фуад эфенди, все больше и больше затягивала женщину. Она становилась все более одинокой, беспомощной, циничной. Преклонение Фуад эфенди перед ее красотой и молодостью, его почтительность, ласки, вздохи, нежные слова — все это, оказывается, было ложью, притворством... И она с каждым днем все глубже и глубже опускалась на дно. Она перестала испытывать раскаяние, боль, муку. Она легко кочевала по публичным домам Стамбула, ходила по рукам матросов разных национальностей, торговцев, путешественников, молодых и старых, богатых и бедных, здоровых и больных. Ночь превращалась для нее в день, а день — в ночь. Она пила арак, мусалас, курила кальян, анашу, опиум. Она уже ничем не брезгала. Так за семь лет, приумножив богатства Фуад эфенди, она постепенно утратила молодость, красоту, силу и превратилась в способную на все морщинистую старуху, в которой нельзя было узнать прежнюю Ходжихолу. Ее ругали, пинали, как старую собаку, а случалось, и избивали до полусмерти... С годами ее все больше и больше тянуло на родину. И вот однажды во время ночной попойки Ходжихола преподнесла своему хозяину бокал с таким же «вином», каким некогда Фуад эфенди угостил ее отца. Она оказалась достойной ученицей своего учителя. Ведь Фуад эфенди погубил две живые души: самой Ходжихолы и ее отца. Так почему же она не может убить одного человека? Фуад эфенди обманул Ходжихолу, лишил ее веры в людей, украл ее молодость, красоту, жизнь. Почему же ей теперь не обокрасть его?..

Вернувшаяся из Мекки Ходжихола не сразу стала богомольной тетей хаджи. Сперва она попробовала использовать свой опыт и знания в деле насаждения стамбульских нравов: открыла тайный публичный дом. Но скоро стало ясно, что на этом не наживешься. Оплата, которую требовала Ходжихола за ожерелья и браслеты, мало кого прельщала. Закрыв свое заведение, она занялась сводничеством. Но и это дело пошло у нее туго. Тогда она заделалась благочестивой, почтенной, опытной распорядительницей на свадьбах и прочих торжествах. На этом поприще она нашла применение своим способно-

стям и наклонностям. Посещая в качестве распорядительницы различные дома, а также публичные сборища в связи с радостными или печальными событиями, она не только советовала, указывала, командовала, рассаживала, накрывала и убирала дастархан, но попутно промышленяла еще и сводничеством. Сколько честных и чистых людей она одурачила и совратила за шесть лет!

Глава одиннадцатая ТОСКУЮЩИЕ

Гулямджан еще до рассвета простился с уста Бахрамом.

Приехав в кишлак и вручив железо Кудрату, он пошел навестить мать. Дома он сидел недолго. Мать накормила его, и Гулямджан, не отдохнув, направился к горе. Люди, пролагавшие путь воде, работали с неослабевающей энергией, не зная устали. Гулямджан явился прямо к друзьям, поздоровался с ними, затем взял молот и принялся дробить камни с такой яростью, словно они были виноваты во всех его бедах. Уходящий день сменялся новым днем, а энергия прорывающих тоннель нисколько не ослабевала. Когда молот Гулямджана опускался на камень, в тоннеле ухало—и гора словно сотрясалась. Баратпалван киркой отламывал саженные камни. Заман выволакивал эти камни к самому отверстию пещеры. Очищая вход в тоннель, Матковул и еще несколько человек уносили камни на носилках, а то и на спине. В течение первых же дней Гулямджан и его друзья продвинулись на шесть аршин. Тоннель был высотой три, шириной — два аршина. Не зря сооружали столь просторный тоннель. Так посоветовал Хасан суфи. Как только начались работы, Хасан суфи сказал: «Чем мучиться в узком проходе, работая согнувшись в три погибели, лучше перетаскать лишние камни».

Расчет Хасана суфи оказался верным. Объем работ хотя и увеличился, но скорость продвижения тоже стала больше. Гулямджан работал так проворно, словно всю жизнь только и делал, что рыл тоннели. Пень может расколоть и умный и глупый. Но умный колет пень легко, ударяя по наиболее уязвимому месту, а глупый — как попало, выматывая силы. Сообразительный Гулямджан



быстро разгадал уязвимые стороны камней, овладел их секретом. Одним ударом молота он откалывал глыбы, поднять которые мог не каждый. Но и самому ему порядком доставалось: отлетавшие осколки летели в лицо. На лице появились царапины, ссадины. Уберечься от осколков было невозможно. И несмотря на это, Гулямджан дробил камни с утра до ночи, не чувствуя боли. И если Барат-палван иногда садился, чтобы немного передохнуть, то Гулямджан, казалось, не уставал.

В этом темном тоннеле, зажмурив глаза от осколков, он мысленно представлял, как по будущему ложу, которое он сейчас прокладывает, с веселым шумом мчится широкий поток. Бирюзовая влага разливается по арыкам, питает иссохшую мертвую землю и приносит изобилье всей бедноте этого бедного кишлака.

Никогда не унывающий Барат-палван сейчас еще больше оживился. Не раз он с грустью

думал, что вот годы проходят, а силы свои приложить некуда. Не находилось работы, которая была бы ему по нраву, по плечу, от которой оставалась бы приятная усталость. Теперь он отдался труду. В отличие от Гулямджана он вооружился не молотом, а ломом. Камни, не поддававшиеся молоту, уступали лому.

Барат-палван, поработав вволю, больше всего на свете любил две вещи: кураш и песню. А может быть, и наоборот — сначала песню, а потом кураш. Он то и дело обращался к Гулямджану с просьбой:

— Утешь мою душу, друг дорогой. Заводи!

Гулямджана покоряла по-детски наивная просьба известного курашиста, и он изредка удовлетворял ее.

Чем глубже вгрызались в скалу, тем труднее было работать. В тоннеле становилось все темнее. Надо было как-то осветить его. Но как и чем? Этого никто не знал. Тоннель прорывался довольно быстро, и это почему-то беспокоило Хасана суфи и аксакала деда Алима.

Оба старика дневали и ночевали у скалы. Они появлялись то в одном конце тоннеля, то в другом. Старики находились здесь не затем, чтобы равняться силой с молодыми. Своей мудростью, разумным советом они облегчали работу каменщикам, тем, кто проводил арыки, и тем, кто прокладывал путь воде от реки к тоннелю.

Рабочие были предоставлены сами себе. Никто ими не руководил. Простые неграмотные люди трудились и решали сложные технические вопросы сами, своим умом и сметкой.

Мадумар додох, Садык амин, Салим амин и надсмотрщики, не способные посоветовать что-нибудь путное, совершенно перестали интересоваться ходом работ, отсиживались в тени. Это раздражало и озадачивало Хасана суфи, деда Алима. Старики то и дело всходили на гору, пристально всматривались то в одну, то в другую сторону, все прикидывали что-то.

— Суфи, можете как угодно мне возражать, но я вам говорю, что вода не поднимется! Вот взгляните, лежа взгляните,— показывал дед Алим на реку.— Эта сторона не выше, а, пожалуй, на два аршина ниже старого арыка. А раз ниже, то вода не пойдет не только на новые, но даже на старые земли.

Хасан суфи лег на землю, посмотрел.

— В самом деле,— согласился он.— Вы правы. Да иначе и быть не могло, аксакал. Почему? Да потому что подножье южного склона любой горы всегда ниже северного.

Деда Алима и раньше тревожило то, что сейчас вслух высказал Хасан суфи.

— Эх, труд напрасно пропадет.

Затем оба старика, цепляясь за камни, спустились к реке. В прохладном местечке, когда-то приготовленном Сали савуком для хокима, полулежал без халата с оголенным жирным животом мингбаши Мадумар и распивал зеленый чай. Салим амин был тоже здесь. Сложив перед собой около десятка перепелок, он ощипывал их.



И если мингбаши увлекался козляными, петушиными и перепелиными боями, то Салим амин предпочитал перепелиное жаркое и бузу. Опустив на веревке в студень речной поток два кувшина с бузой, он снова принялся за перепелок.

Старики медленно приблизились. Салим амину было не до них. Увлеченный своим делом, весь в пуху и перьях, он счел момент не-

подходящим, чтоб обрушиться с бранью на надоедливых стариков.

— Что вы здесь шатаетесь?— спросил, нахмурясь, мингбаши.

Дед Алим смущенно кашлянул:

— Посоветоваться бы надо, додхо.

— Скоро тоннель будет закончен, а вы все еще пристаёте со своими дурацкими советами!—огрызнулся мингбаши и отшвырнул опорожненную пиалу на ковер.

Окрик мингбаши обидел Хасана суфи.

— Тоннель-то мы прорываем, а вот вода не пойдет или пойдет мало,— сказал он.

— Почему?

— Эта сторона ниже.

— Ниже?

— Да,— произнесли оба старика.

— А кто вам сказал, что ниже?

— А это и так видно. Сходите сами на гору. Оттуда все как на ладони.

Мингбаши неожиданно засмеялся:

— А вы как смотрели, через очки или так?

Салим амин тоже захохотал. Старики молчали.

— Вы что, языки проглотили?

— Таксыр,— хмуро произнес дед Алим,—можно смеяться, но надо знать, над чем смеешься! Слава богу, мы

еще не лишились глаз. Но если бы и лишились, то сердцем своим почувствовали бы, что здесь что-то неладно, что люди напрасно принимают муку, напрасно надеются. Очень плохо, таксыр, когда у человека в груди сердце превращается в камень. Сохрани бог от такой напасти.

Проникновенный тон седобородого старца заставил мингбаши прикусить язык. Издевательская улыбка исчезла с его лица. Он нахмурился.

— Пусть пророют, а там посмотрим.

У Хасана суфи от удивления глаза полезли на лоб. Он взглянул на деда Алима. Оба подумали об одном и том же.

— Таксыр! Вы сидите в прохладце, попиваете чаек! А там народ мучается, всю свою душу вкладывает! Есть ли у вас челове...

— Убирайся! Поди вон! Да я такого советчика, как ты...

Хасан суфи и дед Алим пришли с надеждой, что этот человек выслушает их, поймет и не захочет, чтобы народ мучился напрасно, проникнется жалостью и сочувствием к людям. Даже они, старые, умудренные жизнью люди, не ждали, что в такую минуту мингбаши оскорбит их, прогонит прочь.

Хасан суфи не знал, как ему быть. Обиженный до глубины души, он все еще чего-то ждал. Дед Алим потянул его за рукав;

— Пойдемте, аксакал. Здесь никто не услышит нашего вопля.

Два старика, понуриив свои убеленные сединой головы, побрели обратно к тоннелю.

Со стороны реки тоннель прорывался на два аршина ниже водной поверхности.

— Эта сторона на два аршина ниже, та сторона на три аршина выше. Эх! Что же это будет? Аксакал, я думаю, что воде взобраться на пять аршин без лестницы никак не удастся,— горько пошутил Хасан суфи. Уровень тоннеля в этом месте еще больше встревожил стариков, как как теперь, чтобы поднять воду, потребовалась бы большая дополнительная работа. Старики в тяжелом раздумье осмотрели местность, взглянули на работающих и невольно залюбовались ими. Люди трудились самозаб-

венно, не ведая тревог и сомнений, которые так удручали Хасана суфи и деда Алима.

И здесь были богатыри, подобные Гулямджану, Заману и Барат-палвану, которые взмахом молота крошили огромные камни в пыль. Здесь строители еще больше углубились в гору, так как порода была мягче, она легче откалывалась, легче дробилась.

Человек, увидевший работу обеих групп, подумал бы, что люди состязаются. И действительно, хотя никто об этом не говорил, но каждый сознательно или безотчетно старался обогнать своих «противников».

Хасан суфи и дед Алим, войдя в тоннель, обратились к работающим:

— А ну, прислушайтесь. Удары молотов с той стороны можно услышать?

Все смолкли. Хасан суфи лег, приложил ухо к земле.

— Удары слышны,— произнес он наконец.

Другие тоже уловили звуки ударов, но определить точно место, где они производились, никто не смог.

Хасану суфи и деду Алиму стало еще больнее здесь, среди увлеченных работой строителей, не трудятся ли напрасно эти люди, вооруженные ломami, кирками, тачками, одушевленные стремлением вырваться из нужды? Не грешно ли сеять среди них сомнение, колебать их решимость, лишать их надежды...

Хасан суфи и дед Алим, перевалив гору, приблизились к противоположному концу тоннеля. Их встретили, почтительно склонившись, Гулямджан, Заман, Барат-палван и их товарищи. После взаимных расспросов о здоровье, Хасан суфи и здесь приник ухом к земле. И здесь он услышал стук, но опять неясно откуда.

Действия Хасана суфи несколько удивили и встревожили Гулямджана и его друзей.

— Что-нибудь случилось?— спросил Гулямджан, утирая пот с лица рукавом старого чапана.— В чем дело, аксакал?

Старики не ответили. Каждому из них было трудно и сказать о своих подозрениях, и скрыть их.

Видя, что старики в нерешительности мнутя, Барат-палван спросил:

— Вы хотите что-то сказать?

Дед Алим, наконец, нарушил молчание.

— Нам есть что сказать, да вот некому прислушаться к нашим словам, палван.

— Как некому? А мы? Мы вас охотно послушаем, аксакал.

Хасан суфи тяжело вздохнул, поднял голову, обвел взглядом собравшихся притихших людей и заговорил:

— Дело в том, что тоннель-то мы, конечно, пророем, и вода пойдет, и землю она оросит, но чью? Нашу землю или землю наших мучителей?

— Это почему же?— насторожился Барат-палван.

Хасан суфи вместо ответа обратился к деду Алиму:

— Не так ли, аксакал?

Дед Алим молча кивнул. Гулямджан отложил молот в сторону, лицо его побагровело.

— Что случилось?.. Говорите же, наконец!— произнес он нетерпеливо.

Хасан суфи стал подробно излагать свои соображения. Матковул не все понял, он только уловил, что надежда на сытую жизнь меркнет.

— А что, разве не будет новых земель, не вспашем целину?— спросил он прерывающимся от волнения голосом.

— Как же мы вспашем без воды?— горестно вздохнул Хасан суфи.

— Значит, вода не поднимется?— спросил кто-то.

— Поднимется, но, наверное, не для нас!— произнес Хасан суфи.

Гулямджан посмотрел на деда Алима. Может быть, тот скажет что-нибудь обнадеживающее.

— Если хотите,— задумчиво сказал дед Алим,— чтобы земля наша напилась воды, продолжайте работать, но тоннель с той стороны придется пробивать на несколько аршин выше. И воду из реки придется брать где-то выше по течению. А уж тогда будет по-нашему:



оросим новые земли — окрестности кишлака зазеленеют, зацветут! А если все будет продолжаться, как сейчас, или, что еще хуже, опустим руки, то вода достанется баям.

— Ну конечно же,— поддержал старика Гулямджан,— будем биться по-прежнему. Правильно говорит суфи-ата. Не нужно опускать рук, надо думать только о работе.

Деда Алима и Хасана суфи, отошедших от горы, нагнал запыхавшийся Джуман-тихоня. Он сообщил, что стариков зовет к себе Садык амин.

Хотя внезапно появившийся Джуман-тихоня сам по себе вызвал у стариков неприятное чувство, однако сказанное им обрадовало их. «Может быть, Садык амин чем-нибудь поможет!»— решили они и поспешно направились к начальнику.

Шалаш Садыка амина находился неподалеку от места работы, в тени нависшей скалы. Когда старики приблизились, в нос им ударил вкусный запах пищи, жарившейся на костре. У входа в шалаш стариков остановил Джуман-тихоня. Вход не был занавешен. Видно было, как там внутри на паласе лежал обнаженный до пояса Садык амин, а худенький мальчик лет пятнадцати-шестнадцати массировал ему ноги, спину. Увидев стариков, Садык амин не пошевелинулся, не счел нужным остановить мальчика. Он, только слегка приподняв голову, крикнул:

— Что вы шляетесь повсюду? Зачем людей мутите?

То, что Садык амин при появлении стариков продолжал лежать в непристойной позе, не считая нужным прикрыться, да к тому же начал кричать, оскорбило деда Алима.

— Что мы сделали, таксыр? Кого мы мутим? Какой негодяй мог вам сказать такое? — спросил он, сдерживая гнев.

Садык амин, не меняя позы, закричал еще громче:

— А кто говорил, что вода поднимется? Кто говорил, если вода поднимется, то она пойдет только на байские земли? И седобородому не стыдно отпираться?

— Во-первых, никто не отпирается. То, что мы говорили людям, можем повторить и вам,— спокойно сказал Хасан суфи.— Поэтому, аксакал, не ругайтесь,

лучше выслушайте нас. Мы говорили то, что есть. Ну, скажите сами!.. Как вода поднимется вверх? Там, в низовьях кишлака, урожайные, черноземные, богатые земли кому принадлежат? Какой бедняк имеет там хоть вершок земли? Все земли остались в наследство от Болта купаса Тешабаю, мингбаши, Хаким-баю, вам, Салим аксакалу, кази Гиясиддину, не так ли? Или, может быть, там находится моя земля, земля деда Алима или бедняка Замана?

— Хватит, хватит вам горло драть! Если у вас там земли нет, то имеется она у других.

Хасан суфи зло усмехнулся:

— Честь вам и хвала, таксыр, за откровенность. Но те «другие» — это вы и вам подобные, не так ли?

Садык амин отвернулся и буркнул что-то невнятное. Мальчик, делавший массаж, задвигал руками еще проворнее. Дед Алим хотел было высказать все накипевшее, уязвить этого человека, но затем, решив, что «кинешь в лужу камень, свое же лицо обрызгаешь», махнул рукой.

Джуман-тихоня, сняв с гвоздя баранью лопатку, спросил у Садыка амина:

— Все класть?

Садык амин снова повернул голову и, увидев мясо, нахмурился:

— Это все?

Джуман замялся, захихикал, заюлил и, скривив свою и без того неприглядную физиономию, зачастил:

— Повар оказался подлецом. Он сказал: «Одному человеку, да и то неработающему, мало дного бедра?— и заупрямился, негодяй этакий. Прошу грудинку — не дает. Одним словом, подлец и вор!

Садык амин встал. Голос его угрожающе зарокотал:

— Это он меня неработающим назвал?!

— Кто знает? Может быть, и вас.

Джуман-тихоня рассмеялся так, что Садык амин еще больше рассвирепел.

Не смущаясь стариков, он стал изрыгать мерзкую брань.

Хасан суфи и дед Алим поняли, что здесь им делать нечего, и направились в кишлак. Стариков мучило то, что большое, важное дело — источник всех надежд на-

рода — велось без плана, без руководства. Им нужен был человек, который поддержал бы их, понял бы их боль, их нужду.

...И такой человек был. Они знали его, любили и уважали. Они верили этому человеку больше, чем самим себе. Поэтому они, вернувшись в кишлак, направились прямо к нему. Он стоял сейчас в кузнечной мастерской, находящейся между гузаром и конным базаром. В левой руке он держал длинные щипцы с зажатым в них раскаленным, подернутым окалиной железом. Он бил и бил молотком по этому железу. С его энергичного смуглого лица струился черный от копоти пот. На голове была надета засаленная старая тюбетейка, вокруг пояса фартук из мешковины. Его обнаженные мускулистые руки, плечи, грудь лоснились от пота.

— Ассалям алейкум! Да не иссякнет ваша сила, уста Кудрат! — произнес Хасан суфи, приблизившись к кузнице.

Кудрат, не переставая ковать, бросил быстрый взгляд на пришедших и, когда узнал почтенных стариков, приветливо улыбнулся.

— Ваалейкум ассалям! Добро пожаловать, Хасан-ата, добро пожаловать, дед! — Он быстро вытер руки тряпкой, проворно выскочил наружу и радушно поздоровался со стариками. Перед кузницей, где были разложены подковы, он постелил одеяло и усадил гостей. Старики воздели руки, пожелали кузнецу здоровья и успеха в делах.

— Каким добрым ветром вас занесло? Все ли в порядке? Как Гулямджан, Барат-палван, Заман и другие наши друзья, здоровы? — сыпал, как из мешка, Кудрат.

— Славу богу, все в порядке, богатыри работают всюю. Привет вам от них.

Дед Алим шутливо упрекнул кузнеца:

— Вы совсем забыли нас, уста, не навещаете.

— Некогда, дед. Ведь мы здесь тоже не дремлем. Вот посмотрите, — предложил Кудрат, сняв мешок с груды длинных железных клиньев. — Разве можно без них тоннель прорывать?

На вопрос Хасана суфи, по чьему заказу изготавливаются клинья, Кудрат ответил весьма неопределенно. Неудовлетворенный ответом, Хасан суфи снова спросил:

— Кто же все-таки заказал? Или, может быть...

— Заказ, заказ,— рассмеялся Кудрат. Он выложил перед стариками несколько клиньев, ополоснул руки и проворно скрылся куда-то. Очень скоро он притащил чайник и покоробленный поднос с четырьмя слобными лепешками. Он разломал лепешки, наполнил пиалы, и, хотя зеленый чай потребляется без сладкого, Кудрат, из уважения к гостям, достал бог весть откуда горсть мучнистых конфет, завернутых в бумагу, и выложил их на поднос. Заставив стариков заняться дастарханом, он снова скрылся в мастерской и тотчас же притащил что-то, похожее на поло-



винку полой тыквы.

— Вот это для наших богатырей,— произнес Кудрат, протягивая старикам железные маски.— Пусть наденут это на себя, и их лиц не коснется ни один осколок.

Дед Алим взял маску в руки, внимательно, со всех сторон оглядел ее. Маски были на славу, с завязками, щелками для глаз. С помощью Кудрата он примерил маску и пришел в восторг:

— Вот это здорово! А это тоже кто-нибудь заказывал?

Все дружно рассмеялись.

— Я пять штук приготовил. Кому, как не нам, заботиться о наших друзьях и товарищах, кому, как не нам, помогать им. Пусть завтра за всем этим придет Заман, богатыри вздохнут легче. А потом пусть принесут свои клинья, они уже, наверно, притупились. Теперь вот еще что — внутри тоннеля уже, наверно, ничего не видно, темновато, не правда ли?

— Очень темно,— подтвердил Хасан суфи.— Особенно рано утром и вечером. Ничего не разглядишь.

— Вот то-то и оно. Ну ничего. Смастерим несколько масляных светильников. Возьмусь за них, как только по-

кончу с масками. Чего не будет хватать, в чем будут нуждаться, пусть сообщают мне. Если что здесь не сумею сделать, сделаю в городе.

Старики вопросительно взглянули на кузнеца.

— В городе сделают. Там есть у нас друзья. Они хотят нам помочь,— пояснил Кудрат.

Дед Алим и Хасан суфи принялись горячо благодарить кузнеца.

— Ну ладно, будет,— произнес Кудрат, протягивая старикам пиалы.— А теперь я вас послушаю. Что нового у вас. Рассказывайте!

Старики подробно описали все, что произошло. Закончил Хасан суфи словами:

— Мы пришли к вам за советом. Мы не знаем, что делать.

Кудрат внимательно выслушал стариков. Когда они кончили, Кудрат довольно долго сидел молча, раздумывая. Наконец он произнес:

— По-моему, вы немного поторопились.

Старики, должно быть, не ждали такого заключения. Они удивленно переглянулись.

— Во-первых, следует точно определить: действительно ли одна сторона ниже, а другая выше? А может быть, это только кажется так?

— Смотрели мы внимательно, но, конечно, может, мы и ошибаемся,— произнес дед Алим так неуверенно, словно он и впрямь заколебался.

— В таких случаях глаз не всегда точно определяет,— осторожно произнес Кудрат.— Но, допустим, что вы правы. Разве наших слов достаточно, чтобы заставить поверить наших благодетелей? Нужны более веские доказательства. Что вы можете возразить на издевательское замечание мингбаши: «А как вы смотрели: через очки или так?» Без веских доказательств с ними не потягаешься. Хоким без веревки намертво привязал нас к Тешабаю. Если бы хоким сказал народу: «Идите, проводите воду для себя по своему разумению», тогда, конечно, не стали бы мы сверлить гору, а провели бы воду с самой Акбуры. А что сказал хоким? «Будете проводить воду только через гору, и больше ничего знать не хочу!» Он отрезал нам все пути. Но люди рады и этому — трудятся, из кожи лезут. Мы обязаны по мере наших сил

облегчить их тяжелый труд. Нельзя нам сидеть сложа руки. Народ за это не помянет нас добрым словом. Дело опасное — колебать веру народа. Чтобы лишить его надежды, надо все точно установить...

Кудрат, не договорив, смолк. Он, видимо, о чем-то напряженно думал. Старики терпеливо ждали. Они крепко верили в этого сильного человека, так ловко орудующего раскаленным железом. Наконец Кудрат заговорил:

— Надо точно установить, куда сейчас пойдет вода, — размышлял вслух кузнец. — Если выяснится, что она не достигнет земель, обещанных беднякам, надо будет изменить русло канала, но так, чтобы не нарушить приказ хокима. Вода должна пройти только через тоннель и обязательно оросить землю бедняков...

— Но как это сделать? — в один голос спросили Хасан суфи и дед Алим.

Глава двенадцатая

ИШАН ИЗ АКТУПЕ

Когда женщина в старенькой парандже вошла в открытые ворота, миновала крытый проход с копнами клевера на крыше, она увидела на правой стороне внешнего двора, возле айвана, множество мужчин. Мистические радения были в разгаре. Женщина притаилась в тени тутового дерева и стала наблюдать. Мужчин было не менее тридцати.

Рыжий мулла лет сорока, крепкий, статный, высокий, стоял в центре круга и испуленно, с пеной на губах и выпученными глазами, выкрикивал газели Суфи Аллаяра¹. Окружавшие его люди в такт стихам восклицали: «Хи-ха-хов!» «Хих-ха-хов!» — откидывали головы назад, а затем пускались в какой-то причудливый дикий пляс: они прыгали, как бесноватые. Рыжий мулла, уже сам опьяневший от мистических газелей, которыми он подогревал экстаз радеющих, тем не менее почуял, что кто-то из мюридов собирается пожертвовать деньги. Он ловко подставлял свой наполненный монетами карман,

¹ Суфи Алаяр — узбекский поэт-мистик.

приговаривая: «Мирские деньги поганы, освобождайся от них, бросай в карман!» Наконец мулла увидел пришедшую женщину. То ли он узнал стоявшую под тутовником по парандже, то ли еще по каким-то другим признакам, но заметив, он уже не сводил с нее глаз. Женщина направилась в обиталище ишана. Рыжий мулла в рыжем чапане ловко выскользнул из круга своих бесноватых почитателей и направился вслед за женщиной.

Пройдя мимо ряда строений, обращенных глухой стеной во двор, куч навоза перед конюшней, женщинаavorно подошла к одной из двух калиток и скрылась за ней. Вскоре в эту же калитку проскользнул и рыжий мулла.

Дверь была священной. Она оберегала от дурного глаза обиталище знаменитого ишана Актупе. Она была достаточно тонкой, чтобы ишан не оставался в неведении о мирской жизни, но вместе с тем и достаточно толстой, чтобы мир не мог проникнуть в тайны, скрытые за ней. Одним словом, дверь была в некотором роде чудесной. Человек, перешагнувший через ее порог, попадал в темный длинный коридор, пугался, думая, не попал ли он в пещеру. Но вслед за этим он замечал в конце коридора слабый свет, который выводил его во внутренний дворик с двумя большими комнатами и просторным айваном, худжрой в самом конце. У самой крайней правой худжры виднелась маленькая дверца, открывающаяся внутрь.

Когда рыжий человек вошел во дворик, старая паранджа, привлекая его внимание, лежала на айване. По тому, как небрежно она валялась, рыжий окончательно уверился в том, что он не ошибся. На его лице появилась масляная улыбка.

— А ну, какой дастархан ты принесла?— спросил рыжий.

В ответ послышался смеющийся голос: «Себя я принесла!»

Рыжий человек снял новенькие башмаки, вошел в комнату и сразу же воскликнул:

— Ах, блудница! Разлеглась!

В самом деле, посередине комнаты на мягком толстом одеяле в непринужденной позе лежала женщина. Она вызывающе-шутливо сказала:

— А что? Мне здесь лежать не разрешается?

— Ты, как большой праздник, появляешься редко. В чем дело? Почему так долго не приходила? Охота неудачна?— спросил ишан, присаживаясь рядом.

Свою большую, как казан, чалму ишан не повесил на гвоздь, а небрежно швырнул на одеяло. Потом он вытащил из-за пазухи сложенную белую тюрбетейку, расправил ее, надел на голову. Женщина продолжала лежать по-прежнему, не обращая на него внимания. Затем она соизволила ответить ему:

— Охота-то у меня удачна, да вот беда — покупатели мелковаты. Вот вы, например, ох и прижимисты же!

Острые глаза ишана засверкали.

— Прижимист? Я? Что я, милая, недодал тебе или утаил твою долю?

— Подайте эту долю нищему! Привела я к вам женщину семнадцатилетнюю, а вы что? Всего три золотых!

— И то дал только за молодость, лицо ее и гроша не стоит. Дал цену по товару.

— А сколько дней вы пользовались этим плохим товаром? Забыли? Что вы говорили ей? «Нечистая сила тебя задавила? Джин сидит на твоей спине? Над тобой надо десять суток молитвы читать?» Говорили ей это? А сами с ней прохлаждались двадцать дней.

— А что! Джин и вправду на ней сидел...

Женщина сварливо перебила ишана.

— Ну зачем вы мне врете! Неужели вы думаете, что я из тех ваших дурочек, которым можно морочить голову. Что это за «нечистая сила»? Ведь чистая ложь вся эта ваша «нечистая сила». Нет. Уж вам-то меня не заморочить.

Атака, произведенная женщиной, кажется, подействовала на ишана.

— Ну ладно, будет. Не вороши старое,— сказал он примиряюще.— Есть новенькая?

Женщина только и ждала этого вопроса. Она сразу же выпалила:

— Есть, да вам не по карману.

— Ну! Ну! Хватит,— произнес рыжий ишан, заглядывая в лицо собеседнице.

— Нашла такую, что... одним словом, высокого полета. Такая она нежная, что Хуриликко ей в подметки не годится. Вот если договоримся, будет она вашей, дорогой мой ишан.

— А чем же она больна!

— Здоровехонька! Упитана, как хороший барашек, цветет, как розочка!

— А раз без изъяна, как же ты приведешь ее?

— Не беспокойтесь, приведу! Я, да не слажу? Нет, не напрасно зовут меня Ходжихола!

— Молоденькая?—спросил ишан нетерпеливо.

— Двадцать два.

Хотя для женщины двадцать два как будто многовато, старуха, не смущаясь, подтвердила: «Да, двадцать два!» Затем, шепнув что-то на ухо рыжему ишану, хрипло рассмеялась. Засмеялся и ишан. Началась купля-продажа.

— Если это действительно так, то не жалко и переплатить,— произнес ишан.

— Ну а сколько вы дадите, «если это действительно так»?

— Обычную цену — три золотых.

— Пропади они пропадом ваши три золотых, ишан! Она не из тех замухрышек, с которыми вы привыкли возиться. Пока я ее уговорила, чуть мозги себе не свихнула. Целый год обхаживала ее! И хватит же у человека совести... Три золотых! За такую красоточку и сто золотых не много! Что вы морщитесь? Или вы разоритесь? Много вы гнули спину, чтобы нажать свое богатство? На джайляу пасутся тысячи ваших баранов, коров, коней. Все земли в Ширман Булаке ваши, амбары полны зерна, кувшины — масла. Жертвоприношения благочестивых дураков текут к вам рекой. На тот свет, что-ли, унесете все это богатство? Или боитесь, что ваши наследники останутся голыми, раздетыми? Не бойтесь! Они пойдут по вашим стопам, будут ишанами, будут пить и есть, как и вы.

Ходжихола не впервые так разговаривала с ишаном. Это был один из испытанных способов выудить побольше денег.

— Болтаешь всегда одно и то же,— произнес ишан, морщась, как от зубной боли.

— Как хотите! Если откажетесь, в городе полно баев с толстым кошельком и горячим сердцем. У меня товар не залежится.

— Ну ладно, ладно! Получай четыре золотых.

— Десять золотых — и ни копейки меньше. И то для вас, мой старый дорогой друг. Я сегодня ваша гостья! Я остаюсь, хорошо?

Запрошенная сумма заставила ишана призадуматься. Десять золотых и в самом деле дороговато. Но ведь эта хрычовка не из уступчивых.

— Условие такое, — после долгого раздумья произнес ишан, — сейчас получишь половину, приведешь свою краблю — посмотрю. Если понравится, получишь еще десять.

Ходжихола обрадовалась, но не подала виду.

— Обманете? — спросила она холодно.

Ишан торжественно поклялся:

— Если обману, то пусть всевидящий аллах покарает меня. Но если ваш товар придется не по душе, то знайте: пять золотых получили — и все. И чтоб без скандалов. Хорошо?

Ходжихола не сомневалась в том, что Турахон понравится ишану. Какой торговец, запросив десять, откажется получить пятнадцать золотых?

— Ладно! По рукам!

Ишан Актупе протянул руку. Сделка была заключена. Когда торг закончился, ишан спросил:

— Чья она, эта красоточка?

— Жена Тешабая, сына Болта купаса. Знаете?

— Да ну! — невольно вырвалось у ишана. — Того самого, что недавно переехал в Карабулак?..

Да, да, того самого Тешабая, что, вернувшись из города с маленьким узелком, прошел к своей молодой жене. О как был счастлив он, обладатель молодой, прелестной жены! Не успел он появиться, как она кинулась ему навстречу, сняла с него легкий чапан, повесила его на гвоздик, слила ему на руки воды, подала полотенце, а затем повела в дом, прохладный, уютный. Усадила она его на мягкое шелковое одеяло, а сама, как верная жена, присела рядом на ковер и начала расказывать сон, приснившийся ей сегодня ночью. И рассказывала она радостно, мило смущаясь, запинаясь, раскрасневшись от возбуждения.

— О боже! Какой же сегодня мне странный сон привиделся! Как я вас ждала, как мне хотелось рассказать его вам поскорее, ну прямо все глаза проглядела.

— Какой же сон?

— Как будто явился к нам в дом дед Хизир. Вот в этот самый дом, а я сижу и плачу. Дед Хизир увидел меня и спрашивает: «Что, доченька милая, плачешь? Знаю, знаю, отчего ты рыдаешь. Ребеночка нет у тебя! Все тоскуешь по малюточке?» А я ему: «Муж мой и я тоскуем по ребяточку, дедушка» — и еще сильнее рыдаю. А дед Хизир погладил меня по голове и говорит: «Не плачь, доченька! Не позднее завтрашнего дня иди к ишану Актупе. Пусть он почитает над тобой молитву. И пошлет тебе бог ребеночка. Я сам благословлю тебя». Ну прямо как наяву сказал. Открыла я глаза — а на дворе уже светает, кричат петухи...

Хотя Тешабай до сих пор никому ничего не говорил, но отсутствие детей уязвляло его самолюбие. Когда Турахон рассказывала свой сон, он счастливо смеялся, словно на его коленях уже сидел сын. Но обрадовавшись, бай внезапно нахмурился, подозрительно покосился на Турахон.

— Уж не чертовка ли Ходжихола научила тебя этому?

Хотя Турахон чуточку покраснела, но на ногах она прочно стояла. Ее уста бестрепетно произнесли имя самого верного свидетеля.

— Бог свидетель. Если я лгу, пусть он меня покарает! Вы мне не верите?

Какое-то смутное подозрение закралось в душу Тешабая.

— Подумаем,— сухо произнес Тешабай.

— Что значит «подумаем»? Ведь дед Хизир сказал: «Не позднее завтрашнего дня!» Ведь потом будет бесполезно. До каких пор я одна-одинешенька буду сидеть в этом большом пустом доме! В городе еще ничего, но здесь...

— Привыкнешь и здесь.

— Да подите вы! Если вам ребенок не нужен, то мне без него жить нельзя. И так уже...— Здесь Турахон пустила слезу.—И лучше мне уж сквозь землю провалиться, чем слушать столько упреков. Только и слышишь

«бесплодная», «бесплодная». Ведь народу на рот замок не повесишь!

Тешабай прикрикнул на жену:

— Какое тебе дело до того, кто и что болтает?

Турахон приникла к мужу, положила голову ему на грудь, начала хныкать. Она и в самом деле хотела ребенка. Хотела слышать в доме звонкий смех маленького. Говорят же: дом без детей — кладбище, в доме с детьми весело, как на базаре. Она хотела стать матерью. Тешабай, чуть отстранив жену от себя, посмотрел ей в лицо. Из глаз Турахон катились крупные слезы.

— Хорошо, поезжай завтра. Но где взять провожа- того.

— Не знаю,— ответила Турахон.

Здесь, в кишлаке, у Тешабая не было женщины, с которой он мог бы отпустить жену. Тещу он терпеть не мог. Вот если бы Ходжихола...

— Ходжихола ушла? — спросил он.

— Не знаю. Вчера какая-то женщина зазвала ее. Подруга, что ли, наверное, там и ночевала.

Тешабай, словно думая вслух, проворчал:

— Была бы здесь эта старая карга, поехала бы ты с ней. Она не говорила, что заглянет сюда?

— Узелок ее здесь остался, зайдет, наверно,— равнодушно произнесла Турахон.

— Если придет, поедешь с ней. Но только запомни...— Тешабай строго взглянул на жену.— Чтобы ты не хихикала с этим ишаном. Поняла?

— О боже мой. Что вы такое говорите?! Как я могу скалить зубы перед таким почтенным человеком? Разве я не боюсь бога? Разве я уже спятила с ума?

Червь сомнения, зашевелившийся в груди Тешабая, после слов жены снова улегся. Тешабай ничего больше не сказал. Не стала разговаривать и Турахон, почуввав, что рыбка клюнула. Если Тешабая успокоила уверенность, что жена его не такая, чтобы хихикать с ишаном, что она побоится бога, то Турахон успокоило другое — вера мужа в ее честность. Когда Тешабай встал, чтобы удалиться, Турахон, обняв мужа за шею, прошептала на ухо:

— Не усну до тех пор, пока не придете ко мне...

Глава тринадцатая

ВЕРНЫЙ ПЕС

Мамараим эфенди с первых же дней своей новой службы принялся ревностно исполнять многочисленные обязанности, твердо решив, что в кишлаке он будет слугой, поверенным, рабем, псом, одним словом, тенью своего хозяина. Это вытекало из его убеждения, что Тешабай — один из могучих столпов нации в уезде, а также из уверенности, что только такое его поведение — кратчайший путь к процветанию и благоденствию самого Мамараима эфенди.

Много лет назад Мамараим эфенди весело кружился в одном из тех водоворотов, которыми изобилует жизнь. Задолго до того, как грязный прибой вышвырнул его на берег, он был беззаботным мальчиком, приятеньким и гладеньким. Из всех дел он признавал только легкие развлечения. Кроме них, он ничего не знал и знать не хотел. Книжкам, наукам и прочей скучной материи он предпочел забавы в обществе веселых байвача. Это обратило на себя внимание мударриса. Он очень приблизил к себе Мамараима, сделал его своим приближенным. Постепенно Мамараим эфенди с головой погрузился в удовольствие. Когда мударрис уходил домой, байвача устраивали пирушки, на которых Мамараим, наряженный в платье, плясал, кривлялся и жеманился, как кокетливая девушка. В награду его опанвали виноградным вином, бузой. Но в тех случаях, когда мударрис оставался на ночь в худжере, Мамараим превращался в мальчика-массажиста. Эта легкая жизнь продолжалась несколько лет. Но вот у Мамараима появилась жесткая борода. Теперь он не годился для пиров с байвачами. Мударрис также перестал интересоваться Мамараимом и одновременно совершенно неожиданно обнаружил, что способности его любимчика к наукам крайне низки, и выгнал его из медресе. Мамараим, проведя в медресе десять лет, вышел оттуда малограмотным. Он много мытарствовал в Андижане, Маргелане, Коканде, но нигде не мог найти себе дела по душе. В Бухаре он пробыл лет десять, там Мамараим сделался завсегдатаем мест, где курили опиум, анашу. Наконец, когда ему исполнилось тридцать пять и окончательно выяснилось, что он ни на что не

голеи, Мамараим вернулся на родину с огромной чалмой на голове и часами «Мозер» в нагрудном кармане потрепанного халата. Здесь его обнаружил и принял Фосих эфенди. Теперь и Мамараим, по примеру своего покровителя, стал величать себя «эфенди», бить себя в грудь и на всех перекрестках кричать: «Наша нация! Во имя нации», имея при этом в виду Тешабая и других.

Мамараим эфенди получил от Тешабая ключи от амбаров, наполненных пшеницей, мукой, рисом, сахаром, зерном, салом, хлопковым маслом и прочим добром. С того дня, как Тешабай с хокимом отправился в город, к нему ежедневно приходили люди с просьбой отпустить в долг продукты. Мамараим никому ни в чем не отказывал. Но взамен требовал, чтобы в большой тетради, куда он до мелочей записывал все, они оставляли отпечатки своих больших пальцев.

В течение нескольких дней люди шли к нему непрерывным потоком. Мамараим не переставал отвечать им все, что они просили. Но с первых же шагов он поскользнулся и, если бы не поддержка Тешабая, пришлось бы ему худо. В этот день двое из посетителей вскоре вернулись обратно.

— Ну чего вам еще?— грубо спросил у них Мамараим эфенди.

Пришедшие переглянулись. Наконец один из них сказал:

— Таксыр, я взвесил муку, что вы мне дали, а там не хватает!

— Не хватает?! — удивился Мамараим эфенди.

— Да, и довольно много, таксыр. Может быть, у вас весы испорчены?

— Прочь отсюда. Очень нужно мне обирать вас, и без того дохлах! Это не мои, а твои весы испорчены!

Но тут вмешался второй человек. Он положил перед Мамараимом кукурузную муку в платочке.

— У меня, мулла, тоже не хватает,— произнес он.— У меня значит тоже весы испорчены?

Мамараим эфенди несколько смутился, но быстро овладел собой. Он сердито поморщил лоб, протянул руку к воротам и закричал:

— Убирайтесь отсюда! Вон!

В это время из ичкари появился Тешабай.

— Что за крик?— спросил он у Мамараима эфенди, который встретил хозяина, почтительно сложив руки на животе.

Если перед бедняками он стоял словно проглотив аршин, был резок и груб, то теперь, увидев хозяина, заговорил тихо и вкрадчиво.

— Мы с вами ради нашей нации жизни своей не жалеем, а эти людишки...

Тешабай оглядел пришедших.

Сухощавый старик в заплатанном халате из грубого сукна собрался было ответить, но джигит с подвернутыми выше колен штанинами, словно он готовился месить глину, решительно выступил вперед и со стуком опустил кетмень на землю.

— Где ваша совесть, бай? По семь шкур дерете, и все вам мало. Вот этот ваш писарь отвесил мне шесть фунтов кукурузной муки. Прихожу домой — взвешиваю, а тут оказывается пять. Куда девался фунт?

— Мне отвесили три фунта, а здесь оказывается всего два!

Мамараим эфенди справедливо полагал, что жалобы обиженных доказывают его преданность хозяину. Поэтому он сейчас, при Тешабаете, когда люди уличили его в краже, не только не провалился сквозь землю, но, наоборот, стоял гордо выпрямившись. Ибо Тешабай, как всякий другой бай, помышляя только о своей выгоде, должен был оценить его усердие. Если Мамараим обдирает бедняков, обвешивает, то ведь все это он делает не ради себя, нет, а ради хозяина, чтобы приумножить его богатство, от которого перепадет кое-что и ему, Мамараиму эфенди.

— А где вы были, когда он вешал? Куда смотрели? Теперь на стенку лезете? Сами виноваты.

Слова Тешабая вывели из себя сухощавого старика в заплатанном чапане.

— Все это дело рук вашего писаря, а мы, оказывается, виноваты?

Мамараим эфенди соскочил с айвана.

— Клевета! Поклеп! Стыд и позор, мусульмане!

Тешабай небрежно махнул рукой. Мамараим эфенди, словно получив пинок, тотчас же смолк и стушевался.

Тешабай миролюбиво обратился к сухощавому старику:

— Аксакал, из-за пустяка вы подняли скандал, не вышли на работу. Чем воевать здесь из-за горсти муки, вы бы воевали там, на горе.

— Из-за горсти муки, говорите, таксыр?— прервал старик Тешабая.— Да этой горсткой я с женой и детьми прожил бы день.

Тешабай добродушно рассмеялся.

— Ладно, питайтесь пока этим, а придете, он еще отпустит, разве мне не жалко вас! Эй, ты, если эти люди еще придут, дашь им, что попросят!— крикнул он Мамараиму эфенди.

— Слушаюсь,— поспешил ответить тот.

Босоногий джигит, поднимая с земли свой узелочек с мукой, попросил Тешабая:

— Скажите своему писарю: когда взвешивает, пусть не жульничает.

Тешабай снова засмеялся и уже отечески наставительно обратился к Мамараиму:

— Слыхал? Да будет так! Идите с миром.

Но сухощавый старик и не думал уходить. Он настойчиво потребовал проверить весы и восполнить недостачу.

Теперь вспылил Тешабай.

— Если вы не довольны, то можете вернуть все, что брали. И не вздумайте после этого обращаться ко мне за помощью!

Старик опустил голову, а Тешабай направился в ичкарн... В коридоре он неожиданно наткнулся на Ходжихолу и остановился в недоумении. Она, видимо, его ждала. Не успел Тешабай раскрыть рот, как Ходжихола принялась его обрабатывать.

— Я к вам так спешила, так спешила, что даже не стала ждать попутной арбы. Пешком пришла. Можно сказать, прибежала...



Тешабай, ничего не понимая, удивленно смотрел на нее. Ходжихола продолжала:

— Я, конечно, кое-что слыхивала и раньше, в городе. Ну, а то, что происходит в кишлаке!!! Это просто ужас! Как можно терпеть такое?

— В чем дело? Что случилось?— спросил встревоженный Тешабай.

Ходжихола была в таком отчаянии, что, казалось, вот-вот исцарапает себе лицо.

— Ах, боже ты мой! Боже! — причитала она. — Неужели вы ничего не знаете?.. Ведь кругом столько разговоров...

— Каких разговоров?

— О вас, конечно.

— Обо мне?! — насторожился Тешабай.

Ходжихола, задыхаясь от волнения, кивнула.

— Что говорят? Да не тяни же!..

Ходжихола, между прочим, умела играть и на дутаре. Она хорошо знала, что не настроив его, не натянув струн, играть нельзя. Теперь она, как опытный музыкант, натягивала нервы Тешабаю, чтобы потом, как по нотам, разыгрывать задуманную мелодию.

— Такие разговоры! Такие разговоры! — продолжала настройку Ходжихола, горестно покачивая головой.

Тешабай окончательно рассердился.

— Да что же я сделал?— спросил он, багровея.

Ходжихола, из опасения как бы струна не лопнула, чуть-чуть ослабила ее.

— Вы не виноваты. Видит бог, что вы ни в чем не виноваты, но все обвиняют вас.

— В чем же?!

— Мне даже говорить об этом совестно... Говорю не я. Это говорят люди...

— Говорите же!

— Говорят, что... А вы не рассердитесь?

— Ну!!!

— Говорят, что в вашей бездетности виноваты вы.

Какое еще более тяжкое оскорбление можно придумать для мужчины? Багровое, как свекла лицо Тешабая, внезапно побледнело. Он стоял ошарашенный, безмолвный. Тонко рассчитанный удар попал в цель. Так как Тешабай молчал, то все обуревавшие его чувства выразила

за него Ходжихола. Скорбно покачивая головой, она запричитала:

— Сдохни все эти болтуны! Ну какое им дело до того, у кого есть ребенок, а у кого нет. Зачем им доискиваться, почему нет ребенка. Провалиться бы им сквозь землю! Я, конечно, заступилась за вас, а они на меня набросились как собаки: «А тебе-то что? Может, ты его любовница?» Ну что вы скажете об этих бесстыдниках, об этих подлюгах? Сказать такое обо мне, хаджи, и о вас, таком почтенном человеке. Вы не поверите — я всю ночь не могла уснуть! Все молила бога, чтобы он послал вам ребеночка и заткнул рот этим паршивцам... Но вы-то сами предпринимаете что-нибудь? Вам надо посетить святые места, молиться богу. К знахарям знаменитым пошлите ее — пусть амулет на себя наденет, пошлите к муллам, пусть они вознесут к богу горячие молитвы. Действуйте, милый мой. Действуйте! Под лежащий камень, говорят, и вода не течет.

Ходжихола перечислила несколько святых и знахарей, которые могли бы помочь Тешабаю, но об ишане Актупе не обмолвилась ни словом, как будто его и не существовало на свете.

Тешабай долго молчал. О чем он только не передумал! Он готов был сейчас на все.

— Сегодня она собиралась к ишану Актупе, — наконец произнес он, глядя в землю.

— И это неплохо, видимо, ваша женушка не глупее вас, — весьма ловко ввернула Ходжихола.

— Я хотел было послать ее с матерью, да душа не лежит у меня к ней, негодная Бегиаим женщина. А здесь, кроме нее и вас, я никого не вижу, кто бы мог поехать с ней. Может быть, вы...

— Я?! — удивилась Ходжихола и, как бы отстраняя надвигающуюся опасность, выставила вперед ладони. — Избавь меня бог. Это невозможно.

— Почему? — растерянно замигал Тешабай.

— Во-первых, у меня неотложное дело в городе, хоть пешком, но сегодня же туда отправлюсь. И кроме того, я ни разу не встречалась с этим ишаном Актупе. А если он узнает о том, как проворна я на свадьбах, как пою, то и проклянет меня. Ведь ишан ничего, кроме бога, не видит.

— Не проклянет. Прошу вас. На всю жизнь обяжете. Все шло гладко, как по-писанному. Теперь наступил решающий момент.

— Не надо, миленький, не уговаривайте. Ведь не каменное же у меня сердце. А ведь у меня тоже свои заботы! Посещу я свадьбу, помогу людям, потанцую, ну и соберу что-нибудь на пропитание. А если я поеду с вашей женой, то потрачу дня три, а денег трех копеек не заработаю.

Тешабай вытащил из кармана кошелек, вынул оттуда ассигнацию и протянул ее Ходжихоле.

— Хватит?

При виде денег Ходжихола почувствовала легкое головокружение. Боясь, как бы бай не передумал, она с излишней поспешностью выхватила ассигнацию. Деньги были получены, кривляться теперь было незачем.

— Ладно, съезжу, совершу доброе дело.

Тешабай велел запрячь арбу. Ходжихола устремилась в ичкари, где Турахон, собираясь в дорогу, мыла голову.

Глава четырнадцатая

С В И Д А Н И Е

Весь Карабулак жил одной жизнью. Заботу, охватившую мужчин, разделяли женщины, седобородые старики и юнцы. У всех была одна надежда. Вот уже прошел месяц, как начали прорывать тоннель. Работали с таким неистовством, что отцы не находили время проведать своих детей, взрослые дети — своих престарелых родителей. С утра и до ночи рыли тоннель, прокладывали арыки, таскали камни... И без того обносившаяся одежда людей теперь висела клочьями. Их глаза глубоко запали и, казалось, ничего перед собой не видели, кроме работы. Никто не жалел этих обнаженных по пояс, измученных тружеников. Утратив связь со всем, что не относилось к работе, они рыли тоннель, не получая помощи, всеми забытые...

От всех своих товарищей одеждой отличался один Гулямджан. Мать дважды навестила его. Она принесла

сыну яловые сапоги, полосатый халат из простой материи и шаровары. Она и Заману принесла новые сапоги. Тот ни за что не соглашался принять подарок. С трудом уговорили его. Он давно уже лишился обуви, обматывал свои ноги мешковиной, обрывками войлока.

С тех пор как началось строительство, Гулямджан ничего не слышал о Хаёт. Он страстно жаждал видеть любимую. Напряженная работа не смогла потушить тоски.

Мать читала в глазах сына безмолвный вопрос, надеялась о его тоске, но, не будучи в силах утешить его, молча страдала. Видя Гулямджана она вспоминала несчастную Хаёт, встречаясь с Хаёт, она вспоминала сына.

Порою она готова была совершить кощунство!

— Что же это за бог,— говорила она себе,— который заставил их полюбить друг друга, а теперь мучает...

Да и что еще могла поделаться эта женщина, кроме как молча страдать, если ее стоны и вопли все равно никто не услышал бы, никто не сжалился, не помог.

Гулямджан порою раздумывал: неужели же этот мир создан только для таких, как Мадумар, Гиясиддин, Тешабай? Неужели так будет продолжаться всегда и свет никогда не пробьет эту черную ночь? Когда же люди вздохнут полной грудью, будут жить свободно, привольно, смогут любить не таясь? Озарится ли когда-нибудь светом, всеобщим человеческим счастьем этот древний мир, сверх всякой меры переполненный страданиями?..

Гулямджан в эти дни совершенно изменился. Статного джигита трудно было узнать. Он похудел, вытянулся, оброс бородой, лицо почернело, глаза, и без того большие, стали еще больше. Но по-прежнему был ловок и проворен.

Он вставал вместе со всеми на рассвете, а ночью, мучимый недобрыми предчувствиями, долго не засыпал. Ему снились тяжелые сны, и он просыпался с бешено бьющимся сердцем. Порою, в минуты невыносимого душевного смятения, ему хотелось бросить работу, уйти, но тут же, упрекнув себя в малодушии, он казнил себя еще более тяжелой работой.

Особенно плохо было вчера. День он провел не помня себя. Он работал самозабвенно, чтобы скорее поднялась

вода, чтобы ею, весело журчавшей по арыкам, могла умыться его любимая. Он взваливал на плечо камень, который едва поднимали двое, и пробегал с ним, как с пушинкой. Товарищи заметили неестественную возбужденность юноши.

— Гулямджан, вы хотите все закончить уже сегодня? — спросил его, улыбаясь, Заман.

Гулямджан удивился вопросу.

— Почему, Заман-ака?

— Бегаете так, что пятки едва касаются земли.

— Смотрите, вы так всю душу вытянете из бедняка Матковула, — произнес Барат-палван, кладя на плечо Матковула свою ладонь величиной с добрый поднос. — А она у него и без того висит на ниточке. Посмотрите на него.

— Да, да, кари, — обратился Матковул к Гулямджану, — не очень вы меня гоняйте. Вы молоды, а я...

Гулямджан, чтобы не мучить Матковула, решил не налегать на носилки, больше таскал камни на спине. Даже с наступлением темноты, он не оставил работы.

После ужина, когда строители уже спали, Гулямджан поднялся и медленно побрел вверх на гору. Через некоторое время его чистый голос разлился по окрестности, заполнил ущелья гор, устремился к небу, озаренному светом круглой луны. Казалось, что этот голос рожден ночной тишью, величественным безмолвием засыпавших гор. Голос, звучавший среди ночного спокойствия, навевал образы босмертных легенд. Если Меджнун действительно существовал, если он плакал о любимой и призывал в свидетели своей тоски звезды, то делал ли он это с большей силой, чем Гулямджан?

Какая чудесная ночь! Погруженный в тишину, облитый лунным светом стан строителей объят глубоким сном.

Но вот люди медленно открывают сомкнутые глаза, шевеля в улыбке губы. Люди слушают. Их не удивляет этот неизвестно откуда звучащий нежный голос. Напев, пронесшись над станом, улетает в горы и тает в ночной дали.

Пока Гулямджан пел, перед его взором вставал хирман, хлопковое поле, родник. Все, все, что связывалось

у него в сознании с Хаёт, всплывало в памяти, растрavляло душу.

Далеко за полночь Гулямджан вернулся с гор... Встал он вместе со всеми и, как всегда, принялся за работу.

Но сегодня Гулямджана томит какое-то предчувствие. Его не покидает волнение, странно колотится сердце. Он чего-то ждет. Неужели сердце лжет? Или придет любимая? Придет ли?

Миновал полдень, однако жара все еще нарастала. Пот с людей катился градом. Но вот уже и вечер недалек...

Внезапно подбежавший мальчик с размаху обхватил шею Гулямджана, да так и повис на ней.

— Дядя!

Гулямджан только что сбросил с плеч камень, вынесенный из тоннеля.

— Ах ты, милый мой,— произнес Гулямджан и крепко прижал к груди мальчика.— Зачем явился? Соскучился джигит Эрбута? Или лепешек принес, а?

— Я пришел за вами, вас зовут.

— Что случилось? Бабушка заболела?

— Нет, они здоровы. Сказали, что вы нужны.

— А зачем? Не говорили?

— Нет,— ответил мальчик. Он действительно не знал, и это очень тревожило Гулямджана. Прежде всего пришла на ум Хаёт. Не меньше беспокоился он и о матери. Последнее время она часто хворала...

А мальчик все тянул его за руку, приговаривая:

— Пойдемте скорее! Пойдемте, дядя!

Гулямджан предупредил друзей, затем, спросив разрешение у Садык амина, отправился вместе с Эрбутой в кишлак. По дороге он снова встревожился. Забыв, что он не один, Гулямджан шагал широко и стремительно. Эрбута кое-где припускался за ним, а потом снова отставал. Наконец, он задыхаясь, произнес:

— Дяденька, вы потише!

Только тут Гулямджан опомнился. Он бросил на Эрбуту быстрый взгляд и умерил шаг.

— Э-э, что же ты молчишь, милый! — затем вспомнив, что мальчишка проделал уже длинный путь из кишлака, спросил:

— Устал ты?

— Нет, я не устал, вот только догнать вас не могу.

— Пешком пришел?

— На арбе! — похвастался малец.

Гулямджан, словно ставя в заслугу мальчику такое исключительное событие, как поездка на арбе, несколько удивился:

— О-о, на арбе?! На чьей же арбе ты прибыл?

— На арбе, которая камни к Тешабаю возит.

— Вот как, оказывается, не на простой арбе, а на байской! Сам бай тебя посадил?

— Нет.

— Его друг?

— Нет. Было так. Выхожу я на гузар. А там стоит арба. А в арбе дяденька. Я его и спрашиваю: «Дяденька, можно мне с вами?»

— А он что?

— А он: «Куда тебе?»

— А ты что?

— Я сказал: «К горе».

— А он что?

— А он спросил: «Зачем тебе?»

— А ты что?

— А я сказал: «У меня там дядя». Это значит вы.

— А он что?

— Он посмеялся.

— А потом что сказал?

— Потом сказал: «Кто же твой дядя?»

— А ты что?

— Я сказал: «Мой дядя копает гору».

— А он что?

— А он сказал: «А у твоего дяди есть имя?»

— А ты что?

— Я ответил: «Есть. Гулямджан его имя».

— А он что?

— А он сказал: «Э-э, так Гулямджан твой дядя?»

— А ты что?

— Я сказал: «Да».

— А он что?

— Он сказал: «Садись на арбу, знаю я твоего дядю, хороший человек».

— А ты что?

- Ничего.
- А он что?
- Он тоже ничего.
- А ты что?

Вот только теперь Эрбута заподозрил неладное. Он замедлил шаг, с любопытством посмотрел на дядю и... весело рассмеялся вместе с Гулямджаном. Они смеялись долго и заразительно. Эрбута пришел в восхищение от проделки дяди.

В первое время пребывания в семье Гулямджана Эрбута был очень застенчив, пуглив, молчалив. Он всех дичился и был скрытен. Таким забитым сделали его ругань, пинки, тычки, а то и зверские побои в доме Бегнаим. Вначале он пугался даже внезапного стука. Вот только теперь, в доме Гулямджана, он стал оживать. Все чаще слышался его звонкий смех. Впервые в жизни он узнал, что на свете существует радость. Да и сам он в этот дом, где нередкой гостей были печаль и горе, принес радость. Он еще не умел заглядывать глубоко в душу, но видел, что три взрослых человека, нередко задумчивых и печальных, щедро осыпают его ласками, затевают с ним игры.

— Ну, Эрбутаджан, устал, наверно, садись-ка на меня верхом.

Но мальчик не согласился.

— Я такой большой и сяду на вас верхом?

Гулямджан не стал спорить. Он взял мальчика за руку и пошел медленнее.

Жара уже спала. Солнце висело на западе у самой земли, как огромный, вычищенный песком, сверкающий поднос. Оно спускалось все ниже и быстрее. Дорога заполнилась возвращающимися с поля стадами, пастухами. Какой-то жаворонок все летел над едущими и на что-то звонко жаловался.

А вот Эрбута смотрит на жаворонка и улыбается. Ему кажется, что жаворонку весело. Гулямджан смотрит на мальчишку, слушает жаворонка, и у него складывается:

О жаворонок в поднебесье,
О чем ты жалобно поешь?
Зачем своей печальной песней
Ты сердце трогает мое?

Когда Гулямджан дошел до своего дома, уже было темно. Эрбута забежал вперед и, еще не успев перепры-

гнуть через порог, воскликнул радостно: «Бабушка, я позвал!» — и стремительно бросился в объятия Хадича-бувы¹.

Хадича прижала Эрбугу к себе и расцеловала.

— Ах ты, милый мой джайраненок быстроногий!

Гулямджан, увидев в ичари Каромат и свою мать здоровыми, несколько успокоился. Хадича обняла сына, поцеловала его и почему-то не прослезилась, как обычно. Она светилась радостным волнением. Поздоровалась и Каромат, ласково провела по плечу Гулямджана и потерла руку о свое лицо. Гулямджан присел на краешек суфы. Скоро мать принесла ведро теплой воды, чистый халат, шаровары, туалетное мыло, полотенце. Гулямджан, взяв все это, ушел в сад. Всегда открытое окошко его худжры сейчас почему-то было заперто. Он прошел за угол дома, разделся. Облившись водой, он натер мылом лицо, руки, тело. Он был доволен тем, что явился в родной дом, что здорова мать. Он бросил взгляд на конец темного сада, где росла его любимая плакучая ива. Ласковыми словами приветствовал он иву и высохший пруд, над которым она, сейчас невидимая, сохла. «Скоро, скоро ты снова зазеленеешь. Скоро вода вдохнет в тебя жизнь». И это слово воскресило в его сознании его Хаёт. Ему почудилось, что любимая здесь, где-то рядом, что он слышит ее дыханье, ее голос.

— Неужели! — сам того не замечая, воскликнул Гулямджан. Ну, конечно же! Из открытого окна смутно слышался голос Хаётхон. Она с кем-то тихо разговаривала.

Гулямджан второпях оделся. Приложив руки к груди, чтобы умерить неистовые удары сердца, тихо подошел к окошку. Из щелей ставен падал свет. Когда Гулямджан приблизился, голос, словно испугавшись шороха, умолк. Гулямджан замер, не будучи в силах ни открыть окошка, ни двинуться с места. Через некоторое время зазвенел дутар, тихо и нежно. Гулямджан, приник ухом к окну. Мелодия была незнакомая, грустная. Незнакомы были и слова песни:

Свиданья первого счастливые мгновенья не забудь,
И клятвы жаркие в минуту откровенья не забудь.
В твои глаза глядела я — ты в них согласие читал.
Мою покорность, милый друг, мое смущенье не забудь.

¹ Бува — бабушка.

Гулямджан слушал, почти не дыша, не двигаясь. После четверостишия снова наступила тишина. Умолк и дутар и родной голос... Слышно было, как Хаёт прислонила дутар к стенке и встала. Она знала, что за Гулямджаном послали. Чтобы не привлечь внимания недобрых людей, она решила ждать Гулямджана в его худжре. Она не без основания принимала меры предосторожности. После случая



с Джурахон, Гулямджан и Хаёт находились под тайным наблюдением вражеских глаз. Они это знали. Мингбаши не забыл происшедшего. Он искал повода, чтобы выместить на них свою злобу, отомстить за позор дочери. После ухода хокима, он даже хотел устроить Гулямджану «темную» и отстегать его плетьюми. Но Гулямджан, вместе со всеми бедняками кишлака, ушел рыть тоннель. Там Гулямджан был недосягаем. Такие друзья-богатыри, как Заман и Барат-палван, всеобщая любовь работающих к Гулямджану, лишили мингбаши возможности осуществить свой замысел. Мингбаши много раз видел, как Гулямджан приходил с носилками или взваливал на плечи камень. В такие мгновения Гулямджан ловил обращенный на себя, полный ненависти, взгляд мингбаши. Если бы до мингбаши дошло, что Гулямджан видели рядом с Хаёт, то не сдобровать бы обоим молодым людям.

Гулямджан прошел из сада во двор. Обе женщины, сидевшие на супе, видели, когда он приник к окошку. Неожиданный сюрприз, который они приготовили, был уже разгадан. Гулямджан подошел к женщинам, не в силах скрыть переполнявшего его счастья. Увидев улыбку в их глазах, он шутливо произнес:

— Вот заговорщицы, хоть бы намекнули!

Слезы радости за сына навернулись на глаза Хадичи. Она прижала к груди голову Гулямджана.

— Сынок, милый, оказывается, есть светлые дни, есть

дни, когда улыбаешься и ты! Любимая твоя пришла, Хаёт твоя пришла, черноглазый мой! Когда же бог сжаляется над вами, да и надо мной? Когда кончатся наши муки? Пойдем, сынок, она, наверное, все глаза проглядела.

— Мама, не лучше ли ее сначала предупредить?

— Пожалуй. Зайду-ка раньше к ней я, а то как бы у бедняжки сердце от радости не разорвалось. Идемте, Каромат-апа.

Закрыв на мгновение глаза, Гулямджан прислонился к урючине. Радость близкого свидания все-таки чуть-чуть помутила его сознание.

Гулямджан некоторое время стоял на месте. Потом он решительно направился к худжре. Двери худжры, выходившие в сени, были открыты. Он заглянул внутрь и увидел Хаёт. На ней был довольно старый жакет, на голове — ситцевый платок. Она очень похудела. Взволнованный, бледный, Гулямджан смотрел не отрываясь на нее, на мать, которая нежно гладила руками лежавшую на ее плече головку с двумя темными толстыми косами.

Гулямджан шагнул через порог.

— Ассалям алейкум!

Хаёт вздрогнула, быстро подняла голову, обернулась и увидела родное лицо.

Наконец, Гулямджан получил возможность любоваться Хаёт, ее задумчивыми глазами, в ее обычном одеянии, без украшений, без белил.

— Вы пришли, Хаётхон! — прошептал он взволнованно.

— Да, пришла.

Хадича стояла рядом и плакала от радости. Тщетно пыталась она остановить слезы.

А Хаёт, побледневшая, словно боясь упасть, одной рукой держалась за выступ ниши.

Гулямджан прошел к широкому низкому столику. Затем, взглянув на Хаёт, с трудом произнес:

— Садитесь!

Только теперь опомнилась Хадича.

— Садитесь, миленькая, садитесь же.

Хаёт скромно, как подобает девушке и невесте, села на одну ногу. Хотя хозяева и гостя несколько овладели

собой, но не так-то легко им унять свое волнение. Никто не знал, что сказать. Но это никого не тяготило.

Наконец Гулямджан заговорил:

— Гостя-то наша проголодалась, наверное, дастархан вы не разостлали, мама?

Мать поспешно встала.

— Ах, я беспамятная! Как увидела вас, так сразу и память отшибло! Помогите мне,— обратилась она к Каромат. Обе удалились.

Вот только теперь Гулямджан свободно взглянул на Хаёт. Теперь он сколько угодно мог глядеть на нее, сколько угодно расспрашивать любимую, которая сидела всего в двух шагах от него.

— Как вы живете, Хаётхон?— дрожащим от волнения голосом произнес джигит.

Хаёт приподняла голову. На ней все еще не было лица. Она устремила на него свои глаза. Таившаяся в них печаль не рассеялась. Пересиливая смущение, девушка улыбнулась.

— Ничего. А как вы работаете? Не устаете?

— Нет...

— Мне не верилось, что сегодня увижу вас,— едва слышно прошептала Хаёт, робко взглянув на Гулямджана.

— А я боялся, что не увижу вас никогда!— произнес Гулямджан.— Мне кажется, что мы не виделись не восемь месяцев, а восемь лет. Я так хотел вас видеть...

— Но что я могу поделать, если бабушка вечно следит за мной...

— Как несчастный узник, со связанными руками ждет освобождения, так я ищу вас, жду вас, тоскую,— жарко и страстно заговорил Гулямджан.

Он пришел в такое волнение, что не смог продолжать. Да в этом и не было необходимости. Хаёт без всяких слов понимала своего любимого.

Вот уже скоро шесть лет, как они полюбили друг друга, а Хаёт все не смеет положить голову на грудь любимого, произнести «люблю!» Но это слово тысячу раз читалось в ее глазах, в долгом пристальном взгляде... Она не сказала, да и не могла сказать «люблю» и потому, что это древнее, как мир, слово, бесчисленное количество раз произнесенное, не могло выразить и малой доли того

чувства, которое она испытывала к Гулямджану все шесть лет.

И Хаёт по-прежнему сидела смущенная. Так бы, наверно, они все время и молчали, если бы в комнату не вошли женщины. Они принесли на подносе ломти дыни и стали говорить о разных разностях. Коснулись и памятного скандала с Джурахон и всего, что последовало за ним.

В день прибытия хокима Азим чуть не до смерти избил жену, потом дал ей тройной развод — и был таков. По этому поводу один говорил: «Так ей и надо!», а другие добавляли: «Эх, жалко, что он не укукошил ее совсем!» Говорили также, что Джурахон уже давно выздоровела, о разводе с Азимом особенно не тужит, но, тем не менее, непрерывно шлет к нему людей: дескать, хочу мириться. На это Азим, как говорят, отвечает: «Знать не хочу эту паскуду!»

— Видимо, шариат не позволяет, вот и не соглашается,— промолвила Хадича-биби. Гулямджан в ответ улыбнулся:

— Шариат по всякому можно толковать, шариат может одно и то же и позволить, и не позволить, особенно в руках такой лисы, как Гияс.

— Известно, что после первого и второго развода можно еще помириться, ну а как же после третьего? — спросила Каромат.

Гулямджан улыбнулся.

— Шариат и это позволяет, но способ примирения довольно мерзостный. Оскверняется честь женщины, ее достоинство. Женщина после третьего развода для примирения с мужем должна произнести «халала».

— А что это за «халала»? — спросила опять Каромат.

— Несчастную женщину сватает другой человек. И после обряда бракосочетания, после мимолетного супружества, он сразу же дает ей развод. После позорного надругательства над ней, женщина становится «чистой» и возвращается к своему мужу. Вот что получается по шариату.

— Ой, сыночек, не надо хулить шариат. Ведь так уже заведено издавна,— произнесла Хадича.

— Я и говорю, что заведено издавна, мама! — вздохнул Гулямджан. — Но должны ли мы терпеть все эти гнусности только оттого, что они давно существуют?

Хадича внезапно засмеялась. Смеялась громко, задыхаясь. Молодые удивились.

— Чему вы смеетесь, мама?— спросил Гулямджан.

— Этот урод Миркосим миршаб сватался к Джурахон!

Теперь рассмеялись и молодые. Всему кишлаку хорошо было известно, что из двух самых прожженных на свете мошенников один обязательно Миркосим. Трудно было представить человека подлее его. Да и внешность у него была отвратительная. Чего стоили эти два его верхних зуба, торчащие как два клыка.

Гулямджан сказал:

— Это будет чудесная пара. Они дополняют друг друга. Один урод моральный, другой физический! Ну, а что ответил мингбаши? Согласился, выгнал его, разгневался?

— Мингбаши не разгневался. Он ему ответил: «Не спеши, я сосватаю тебе девушку прекрасную, как луна, имей только терпение».

Гулямджан заразительно засмеялся. Засмеялась и Хаёт.

Наконец молодые остались наедине. И снова заколотились их сердца, снова их охватила робость. У девушки на виске забилась голубая жилка. Она тяжело и глубоко дышала.

Огонь, пылавший в груди Гулямджана, отражался и в его глазах.

— Хаёт моя! Милая! Неужели мы так и проживем нашу жизнь?

В его голосе звучали и любовь и печаль.

Хаёт тихим, прерывающимся голосом произнесла:

— Но что же делать, Гулямджан-ака? Я в отчаянии. Будущее кажется мне безнадежным. Что может сделать беззащитная девушка... Много горя в моем сердце, много в нем слов невысказанных. Хотя бы в письме излиться, да ведь я неграмотная! Если бы вы знали, как тяжело, когда, не видя любимого, не можешь написать ему.

Гулямджан до этого не видел, чтобы Хаёт горевала так сильно.

— Слава богу, сегодня бабушка ушла в Сарык Камыш; так я сказала, что вместе с Турсуной пойду к ее се-

стре. А вместо того побежала к вам. Прошло уже целых восемь месяцев, как я не видела вас. Живем в одном кишлаке, на соседних улицах, как будто рукой подать, а свидеться не можем. Я места себе не нахожу с тех пор, как вы ушли в горы. Мне все снятся худые сны. Мне кажется, что вас придавил камень, что вы сломали ногу. Да хранит вас бог! Пусть он внемлет хоть одной моей мольбе!— Хаёт заплакала.

Гулямджан, увидев слезы Хаёт, вдруг почувствовал себя глубоко виноватым перед ней. В самом деле, разве не он причина ее страданий? Не он ли обязан осушить ее слезы, сделать ее счастливой? Не его ли робость и нерешительность — источник мучений близких ему людей, да и его собственных! Чего же ждать? Еще больших страданий? Не настало ли время осуществить давно задуманное?

Уже долгое время Гулямджан вынашивает свою мечту. Только она, превратившись в действительность, может их спасти.

— Хаётхон,— произнес он, резко выпрямившись, словно сбрасывая с себя тяжелый груз.— Если вы не обидитесь, я хотел бы сказать вам кое-что. Давно я ношу это в своей душе, но все не решаюсь сказать.

Такое многозначительное вступление испугало Хаёт. Побледнев, она посмотрела на Гулямджана широко раскрытыми глазами. Дрожащим, надломленным голосом она произнесла:

— Зачем же мне обижаться, говорите.

— Бежим!..

Но это было страшно. Это значило покинуть дом, где родилась, в котором прошла вся твоя жизнь, покинуть обжитое, теплое гнездо, дрожать под дождем, замерзать от стужи, вечно скитаться в поисках пристанища.

Хаёт верила Гулямджану, но сейчас она содрогнулась так, словно любимый подвел ее к краю пропасти.

— Куда?

— Куда глаза глядят! Будем искать свое счастье. Где найдем его, там и осядем!

— А если не найдем?

— Найдем, моя Хаёт! Я верю!

И Хаёт нередко думала о побеге. Думала о том, чтобы

навсегда бежать от опеки и преследований назойливой старухи, бежать от насилия, унижения в большой мир. И там зажить с любимым вольной жизнью, достойной человека. Но теперь она почувствовала, как может тещать человека самая недоступная, самая несбыточная мечта, и как та же мечта, высказанная другим и требующая решительных действий, пугает, леденит сердце. Сейчас ей показался особенно теплым и уютным ее родной дом. Стало больно за мать, которая уже представлялась Хаёт плачущей, рвущей на себе волосы.

— Как же это будет?— спросила Хаёт.

Колебания Хаётхон сделали Гулямджана еще более решительным:

— Во всяком случае хуже, чем сейчас, нам не будет. Ведь годы идут, прошла наша юность, проходит молодость, а там и осень, Хаётхон!

Как часто сама Хаёт повторяла себе эти слова. В самом деле, через несколько лет от бесплодного ожидания мечты разведутся, сердца охладят, чувства увянут.

Хаёт, словно соглашаясь, утвердительно кивнула головой. Согласилась и снова заколебалась.

— Нет, я боюсь. С матерью что-нибудь может случиться. Я подумаю, дайте мне немножко времени,— произнесла она.

Улыбка озарила лицо Хаёт. И сердце Гулямджана снова радостно забилось. Но сейчас ему не хотелось унимать своего волнения, во рту пересохло, он изменился в лице...

Гулямджан прижал любимую к своей груди, прикоснулся губами к ее щеке.

Глава пятнадцатая

ДИЛШОД

Поздняя осень. Пожелтевшая листва уже давно осыпалась. Лишь немногие листья, засохшие и сморщенные, шелестят на деревьях при малейшем ветерке. Листья урючины, все лето и осень впитывавшие в себя солнечные лучи, теперь стали ярко-красными. Нет и признаков жары. Наступил ноябрь с белым инеем, утренними морозами и прозрачным воздухом. Везде — на дворах, ули-

цах — листва по утрам, словно покрытая снегом, лежит белым хрустящим ковром.

Приближается осень. Дехканин спешит поскорее закончить с работами на полях, поскорее собрать урожай. Из кишлаков один за другим тянутся в город вереницы арб, груженных хлопком, дынями, арбузами, кормовой травой, зерном, дровами, зеленой кукурузной массой, гузапаей и клевером. Деревья, дома, забсы не только по обочинам больших дорог, но даже в переулках, тупичках и отдаленных от проезжих дорог садах покрыты густым слоем серой пыли, оседающей все жаркое лето и осень.

В этом году в жизни Дилшода произошло удивительное, незабываемое событие. Чтобы достигнуть этого светлого дня, сколько мук претерпел маленький человек! Сколько раз он плакал от соли, въедавшейся в колени, от плетей, которыми его стегали.

Что за грех совершил этот пленец?..

Каждый отец хочет, чтоб его ребенок достиг больше, чем он сам, чтоб он был счастливее его. Желал этого и уста Бахрам. Он хотел, чтобы учение, которого он сам был лишен, досталось его сыну. Когда Дилшоду исполнилось восемь лет, отец отдал его в школу. Передавая сына домле Сумбату, отец произнес традиционную фразу: «Мясо ваше, кости наши, только бы вы его выучили». Дилшод был оставлен домле так, как бросают барашка на растерзание волку. Болело ли сердце уста Бахрама, когда он оставлял своего единственного сына у домли, известного своей жестокостью? Ну, а если и болело? Что он мог поделать, ведь для получения знаний другого пути не было...

Дилшод приохотился к учению. С каким нетерпением ждал он того осеннего дня, когда первый раз переступил порог школы. И даже, когда отец сказал: «Мясо ваше», он ни капельки не испугался.

Так Дилшод стал школьником. Как и другие дети, он всегда приходил в школу с учебниками — абджад. Домля заставлял Дилшода читать, заучивать непонятные слова, и тот послушно зубрил, не понимая их смысла и значения. Не понимал не только Дилшод, не понимали все ученики.

И все-таки, несмотря на это, мальчик два года ревностно посещал школу. Два года он зубрил темные, неясные слова, обозначающие буквы. Так он вызубрил:



«калиф», «вов», «итки», «изги», «дол», «зол», «сот», «зот», «коф», «лом», «мим», «нун». Но Дилшод никак не мог соединить эти буквы в какие-то осмысленные слова. Не получалось, как он ни старался. А домля требовал от своих учеников только одного, чтобы они верно произносили эти буквы и притом в раз навсегда установленном порядке...

Был холодный, сумрачный зимний день. Окоченевшие дрожащие дети постепенно заполняли большой неудобный, без единого окошка, похожий на хлев, класс... Явился и Дилшод с учебниками под мышкой. Свет в класс проникал через дверь, открытую зимой и летом. Поэтому там всегда было сумрачно, а зимой еще и холодно. Дети рассаживались каждый в своем стойлице, выложенном по краям глиняными катышами. Никогда не менявшаяся солома лежала в этих стойлицах. Спины детей упирались в сырые глиняные стенки. Вечно дремлющий домля сидел на широкой супе, засунув руки и ноги в теплый сандал. Иногда домля открывал глаза и покрикивал: «Эй! Читайте!» Дети, дрожа от холода, сидели, спрятав руки в рукава, вобрав головы в плечи. Мерзнувшие, они зубрили урок, причем каждый свой, но все громко и нарасспев. Один бормотал: «Апаламза ал, хевамиза ха алхам,

дол иеш ду, алахамду», другой выкрикивал непонятный ему стих из Суфи Аллаяра: с

Жена дурная — плеть в руках шайтана,
Весит на шее, что петля аркана.

Третий зубрил вслух коран. Невнятно, но весьма проворно, бормотали что-то самые маленькие. Класс напоминал остров, куда слетелись разные птицы, каждая из которых щебетала, пела, кричала и крякала по-своему.

— Дилшод!— раздался вдруг голос домли. Из-за громкого чтения детей, старавшихся перекричать друг друга, Дилшод не сразу услышал зов. Домля разгневался. Взяв лежавшую возле него длинную палку, он опустил ее на голову Дилшоода, занимавшегося зубрежкой. Дилшод, схватившись за голову, посмотрел на учителя.

— Поди-ка сюда поганый. Так как слово «поганый» было обычной формой обращения домли ко всем питомцам, то все мальчики продолжали заниматься своим делом. Дилшод, взяв учебник, подошел к учителю. Тот, грозно насунив брови, спросил у Дилшоода, как пишутся и как произносятся буквы «зол», «зот», «изги». Дилшод хорошо знал, как пишутся эти буквы, хорошо знал разницу между ними, но никак не мог правильно выговорить их. «Зол» и «зот» звучали у него одинаково. Это взбесило домлю, и он дал Дилшооду увесистую оплеуху. У бедняжки пошла носом кровь, но он не заплакал. Вытерев кровь рукавом, он попытался еще раз правильно выговорить проклятые «зот» и «зол». И опять ничего не получилось. В его родном языке не было такого звука, он был чужд ему. Домля показал, как надо произносить. Но и его произношение почти не отличалось от произношения Дилшоода.

— Вот это произнеси!— воскликнул домля, ткнув пальцем на «с» с тремя точками наверху.

В арабском алфавите были три буквы «с». Одну из них дети выговаривали легко, но зато две другие никак не могли произнести. Эти две арабские «с» были чужды узбекскому языку. Они отличались не только по произношению, но и по начертанию. Поэтому Дилшод и ответил:

— «С» с тремя точками.

Домля пришел в неистовство.

— Вижу, что с тремя точками! Как она произносится?

— «С»,— сказал Дилшод.

Тут домля отпустил Дилшоду новую пощечину.

— Скотина!

Этот крик подстегнул других учеников. Каждый мальчик, стремясь избежать участи своего попавшего в беду товарища, принялся зубрить еще усерднее, еще громче. Не добившись от Дилшода правильного произношения буквы «с» с тремя точками, домля спросил, как произносится буква «айн».

— Айн,— простодушно ответил Дилшод.

Домля пришел в неистовство.

— Как произносится, я спрашиваю, щенок!

Это злосчастное «айн», обрушившееся на голову бедных детей, было еще более мудреным, чем «зол», «зот» и «с» с тремя точками. Его можно было произнести, только распластав маленький язык поперек горла и положив в рот ложку каши. Дилшод как умел, так и произнес:

— «А».

Домля ударил в грудь сидевшего перед ним на корточках Дилшода. Мальчик упал навзничь.

— Прочь с глаз, осел! Не быть тебе человеком, скотина!

Признаться, Дилшод даже был рад, что его язык отказывался воспроизводить ненавистные буквы. Он уже давно примирился с тем, что никогда не станет человеком, если для этого необходимо овладеть правильным произношением трудных букв. Дилшод направился не на свое место, а прямо к двери. Слова «осел», «скотина» оскорбили всегда жившее в его маленькой груди чувство собственного достоинства.

Домля, разъяренный неслыханной наглостью мальчишки, закричал во все горло, словно его обокрали:

— Держи поганого!

Подобные приказания обычно выполнял сидевший возле двери здоровенный парень по имени Зуннун. В два прыжка он настиг Дилшода, схватил его за руки.

— Взвали-ка на себя этого щенка!

Как хищный волк одним махом взваливает на себя настигнутую им беззащитную овцу, так и Зуннун пере-

кинул себе на спину Дилшода. Сын торговца мануфактурой Таджибая Насырбай вместе с сыном ростовщика Худайберды Бердыкулом помогли Зуннуну. Дилшод долго и яростно отбивался. Но когда в его ноги и руки вцепились трое, он обессилел и утих, растерянно моргая глазами.

Из большой связки длинных тутовых прутьев, висевшей под потолком, домля вытащил один; толстое ватное пальто Дилшода было отброшено ему на голову, оголилась спина, Зуннун услужливо повернул спину Дилшода к домле, который терпеливо ждал с прутом в руке...

Дети замерли от ужаса. Домля оглядел присмиревших детей и назидательно произнес: «Сии священные буквы, кои вы, лодыри, изучить ленитесь, ниспосланы богом нам, рабам своим грешным, дабы мы, научившись их произносить, а также писать, могли бы с их помощью прославлять всевышнего. Искажение сих букв грех, тяжкий, наказанию подлежащий...»

Гибкий, прочный прут со свистом опустился на спину Дилшода.

Дилшод вздрагивал при каждом ударе, но не плакал. Только крепко прикушенная нижняя губа окровавилась. После десятка ударов его отпустили. Вот только тут сознание Дилшода помутилось. Качаясь, он дошел до порога и свалился.

— Брось шенка на место! — крикнул домля.

Зуннун схватил Дилшода, притащил его к месту и бросил. Рядом с Дилшодом сидел брат Туфакиз Камбарали. Он положил голову Дилшода к себе на колени. Дилшод лишился сознания, но не надолго. Когда он пришел в себя, мальчики, как всегда, разноголосо и громко нараспев зубрили слова, которых не понимали. Сейчас Дилшод, как бы впервые, увидел все, что происходило вокруг него, и ему стало смешно. Несмотря на боль, он чуть не рассмеялся оттого, что один из товарищей, который, нельзя было понять, в шутку или всерьез, выкрикивал одно и тоже:

Красный нос — Алахамза,
Лысый черт — Тухтаходжа,
Бибиби — ослиный лоб,
У Комбара вырос зоб!

Возможно, что это был один из способов, облегчавших заучивание трудных звуков! Дилшод, лежа, подумал: «Как же я раньше не знал об этом!» Мальчик все твердил свое четверостишие. Но что за польза зубрить эту стихотворную чепуху? Дилшод с интересом прислушался. Вот еще мальчик. Тот выкрикивал тоже какие-то бессмысленные звуки: «ват-нау», «дах-нав». Дилшод подумал про себя: «Чем так мучить нас, лучше бы учили на родном языке что-нибудь понятное. Ну пусть даже: «шестью девять — пятьдесят четыре, семью восемь — пятьдесят шесть».

Занятый подобными мыслями, Дилшод лежал до конца урока. Когда же домля объявил о конце занятий, дети, словно выпущенные на волю узники, устремились к двери вприпрыжку с криками, воплями, смехом. Только двое не присоединились к общему веселью — обессилевший Дилшод, спину которого лизал прут, и его друг Камбарали.

После этого Дилшод целую неделю не ходил в школу, вернее не мог ходить. Несколько дней он лежал в жару и все бредил. Когда же он поправился, мать, прижав его к своей груди, грустно сказала:

— Иди, мой мальчик. Иди, мой родной. В том месте, где коснулся прут домли, у тебя на том свете вырастет цветок. Надо радоваться, когда он бьет. Ведь человек не умирает от побоев, наоборот, цветы взойдут. Не растравляй себя обидой, терпи, мой милый сынок...

Дилшод послушался родителей и снова стал посещать школу. До весны домля не трогал его, а там их распустили на каникулы, если так можно назвать время, когда большинство детей занималось чем угодно, но только не отдыхом.

Наступили долгие, наводящие тоску летние дни. Дилшод бесцельно бродил по дому, выходил на улицу, возвращался и снова выходил, не зная, куда пойти, чем заняться. Игра в ашички, езда верхом друг на друге, возня в пыли — вот и все удовольствия!

В один из таких дней Ольга Петровна, навестив больного отца, подарила мальчику несколько книжек с картинками. Книжки произвели на Дилшода неизгладимое впечатление. Ему захотелось побывать там, где читают подобные книги, чтобы самому научиться. Это желание лишило его покоя. И вот, когда отец поправил-

ся и пошел делать парты, за ним увязался и Дилшод. Ольга Петровна, увидев мальчика, обрадовалась. Она повела его к себе в дом и познакомила со своим сыном Мишей. Миша походил на мать. Он был красив, синеглаз, общителен и не по-детски внимателен. Дилшод сразу полюбил его. Миша был выше и крупнее Дилшода. Они стали вместе играть. Дилшод зачастил к Мише. Рассматривая Мишины книжки, он жалел, что не умеет читать, стремился научиться русской грамоте. Он то и дело спрашивал Мишу: «Что это?» Миша, видя прилежание Дилшода, подарил ему свой старый букварь. А затем, показав буквы, стал учить Дилшода тому, что знал сам. Довольно быстро мальчик запомнил несколько букв. Миша, радуясь способностям Дилшода, еще охотнее стал учить его. Под диктовку Миши Дилшод уже мог написать ряд коротких слов.

Ольга Петровна была довольна тем, что ее сын дружит с Дилшодом, учит его разговаривать и читать по-русски. Однажды она устроила Дилшоду экзамен.

— Ну, Дилшодик, как успехи?— спросила она по-русски, мальчик ответил на ее языке, особенно налегая на букву «с».

— Спасибо, Ольга Петровна, учус, стараюс.

Ольге Петровне понравился ответ Дилшода, его вежливость, открытый, ясный взгляд.

— Надо произносить «с» мягко, вот так: «учусь», «стараюсь». Понятно?

— Понятно, Ольга Петровна.

— А ну, повтори.

— Учусь, стараюсь.

— Вот молодчина!

От похвалы Дилшод порозовел. Ольга Петровна рассказала уста Бахраму о способностях сына, о его быстрой восприимчивости и предложила:

— Отдайте, уста-ака, его к нам в школу. Пусть он сидит на тех партах, которые смастерил его отец.

— Обязательно отдам. Со всей душой!— ответил уста Бахрам, но, кончив работу и занявшись другими делами, он, наверно, забыл про свое обещание. Или, может быть, посоветовавшись с женой, они совместно пришли к решению: «Дерево принимается на одном месте. Пусть остается в старой школе».

Таким образом, счастливые для Дилшода летние дни миновали. Настала осень, пришла пора учебы. Дилшод хотел было просить отца послать его в школу Ольги Петровны, но постеснялся. И скоро он снова пошел в старую опостылевшую школу. Как она была непохожа на школу Ольги Петровны! И какая же это школа? Ну прямо хлев. Самый настоящий хлев: темный, грязный, вонючий. И снова тот же абджад и никому не понятный «хафтвяк». Снова те же «Биби шапок», «Шаятун».

Дилшода охватила тоска. Захотелось бежать. И он сбежал в первый же день, не дождавшись конца занятий. Он отправился прямо в школу Ольги Петровны. Там, в светлых классах, на красивых чистых партах тихо сидели дети и внимательно слушали учительницу. И вдруг ему стало жалко своего загубленного времени, жалко своих товарищей, которые сейчас бессмысленно дерут глотки в темном, грязном хлеву.

Через день он снова отправился в школу Ольги Петровны. Затем для него стало обычным: день сидел в старой школе, а три следующих дня почему-то не находил туда пути. Он просто не мог заставить себя ходить туда ежедневно, ежедневно подолгу сидеть на своем месте и бесконечно зубрить. Скоро он и вовсе перестал там бывать. Наконец он обо всем рассказал матери. Свое признание он закончил просьбой:

— Мама, отдайте меня в школу тети Олияхон.

Но мать не соглашалась.

— Сынок, оставь эти разговоры! Разве можно переходить из школы в школу! Дерево ведь принимается на одном месте! Учись в своей школе...

Мать Дилшода была дочерью известного Самандар домля, преподавателя литературы и математики в медресе. Самандар домля был широко образованным ученым, хорошо знал литературу и историю народов Востока, а также греческую культуру. Позже он увлекся русской литературой, глубоко ее изучил, переводил стихи и поэмы Державина, Пушкина, Лермонтова, читал их на литературных вечерах и вообще старался привить своим ученикам интерес к русской классической литературе, к русской философии. Самандар домля за свою ученость и личные нравственные качества, за благородную страсть к просвещению пользовался уважением всех своих сов-

ременников. Этому светлому человеку чужды были ко-рысть, интриги, злоба. Его интересовало только одно — обогащаться знаниями, чтобы передавать их другим.

Маленький Дилшод своей одаренностью чем-то напо-минал деда. Хамидахон желала, чтобы сын, подобно деду, стал ученым. Поэтому, следуя традиции, завещан-ной отцами и дедами, она не хотела, чтобы сын метался из одной школы в другую. И не вина Хамидахон, если она не смогла понять, что не всегда следование тради-ции приводит к добру. Ведь известно, что любой моло-дой росток, оказавшийся в тени большого дерева или за-жатый со всех сторон буйно разросшимся сорняком, ли-шенный живительных лучей солнца, никогда не станет большим, могучим деревом, а вырастет хилым, чахлым, и если не пересадить его, то и вовсе погибнет. Вот таким молодым ростком и был Дилшод.

Однажды мальчик взял свой учебник и отправился, как обычно, в школу, но не в старую, а к Ольге Петров-не. Как только он вышел на улицу, перед ним внезапно появились пятеро ребят. По знаку Зуннуна, который был с ними, они окружили Дилшода, схватили и понесли. Как ни отбивался, ни трепыхался Дилшод — ничто не по-могло. Мальчики тащили его до самой школы и там бро-сили на землю. Домля сидел на своей супе. Мальчика положили к ногам учителя. Дилшод быстро встал и хму-ро взглянул на домлю. Тот улыбнулся, затем вкрадчиво спросил:

— Ну, где ты болтался, беглец?

Дети хорошо знали, что скрывается за ласковым то-ном домли. Эта зловещая ласковость предвещала бурю. Сердце Дилшода дрогнуло. Но он ничего не ответил. Домля заметно повысил голос:

— Говори. Не отрезан же у тебя язык? Чему научи-ли тебя там?

Язык Дилшода не был отрезан, и все-таки он не от-ветил. Он был очень удивлен вопросом учителя. Ведь Дилшод полагал, что никто не знает о его тайных посе-щениях русско-туземной школы.

— Значит, ты, поганец, решил сменить школу мусуль-ман на школу кяфуров?

Дилшод побледнел. Сердце его забилося быстрее, но не от страха, а от гнева. Чтобы не наговорить чего-ни-

будь лишнего, он снова промолчал. Домля продолжал злостствовать.

— Кто научил тебя пойти в школу кяфуров, а?

Больше Дилшод молчать не мог. Он решил высказать все, всю правду.

— Ведь там больше половины — дети мусульман! Все сыновья баев, торговцев. Младший сын Садриддина кази тоже там. Почему им можно, а мне нельзя? Почему они не станут кяфурами, а я стану?

Домля знал, что Дилшод говорит правду. Он несколько помолчал, потом повел себя как вздорная баба.

— Вот тебе и раз! Бог лишил его разума! От его слов пахнет богохульством. Все слышали, что сказал этот поганый?

На вопрос домли, угодливо отозвались только Зуинуи и еще несколько мальчиков.

— Слышали, домля!

Домля — старая лисица. Он никогда не сочувствовал своим ученикам, никогда их не любил. Сейчас ему было ясно одно: грубостью этого упрямяца не возьмешь. Поэтому он заговорил тоном волка, выманивающего овцу из овчарни:

— Шайтан сбил тебя с пути истины. Говори, вернешься ты в свою шкалу? Или... — домля, не закончив фразы, многозначительно замолчал, пристально глядя на мальчика. Дилшод по-прежнему безмолвствовал. Но домля уже оскалил свои волчьи зубы... — Или вернуть твои мозги на место?

Дилшод молчал. Наконец, волк зарычал:

— Говори, ты, помесь свиньи и шакала!

Дилшод поднял голову, смело взглянул на учителя и твердо произнес:

— Я пойду в русско-туземную школу. Домля той школы не ругает детей словами: «осел», «скотина», «поганый». Домля брезгает выпускать из своего рта такие пошлые слова.

Бранные слова, которыми ежедневно награждал своих учеников домля, сейчас возвращались к нему, как пощечины, одна другой увесистей:

— Хватайте негодяя! — взвизнул он.

Но Дилшода не испугал крик домли. Больше того, он даже улыбнулся. И это бы еще ничего! Он рассмеялся

прямо в лицо своему грозному учителю: «Можете и не держать! Не убегу я».

— Молодчина, друг! — подумал про себя Камбарали.

Дилшода схватили и повалили на супу. Зуннун крепко держал за обе ноги, Бердыкул — за плечи. Дилшод не сопротивлялся. Он лежал молча, словно человек, которому было все равно: жить или умереть. Домля вытащил из ножен маленький острый нож с длинным лезвием. Дети замерли. Все уже знали, что будет дальше. В наступившей тишине слышно было дыхание потрясенных ребят. Камбарали уставился на домлю горящими от ненависти глазами. Казалось, вот-вот он вскочит, чтобы вырвать нож. Но у него, как и других давнишних учеников школы, воля была подавлена.

Домля, придерживая правую ногу Дилшода, полоснул лезвием по его пятке. Брызнула кровь. Дети издали единый крик. Один только Дилшод молчал. Домля полоснул ножом по другой пятке. Затем, взяв из ниши горсть мелкой соли, он стал заталкивать ее пальцами в кровоточащие ранки, крехтя от злобного усердия. Дилшод издал короткий стон и умолк.

Окончив свое дело, домля произнес:

— Отпустите проклятого!

Зуннун и Бердыкул отошли. Дилшод с перекошенным от боли лицом, с трудом встал. Он был бледен. Но страх уже прошел. Пытка, которой ему не миновать, была уже позади, а он остался таким же, каким был. Больше ненавистный домля ничего с ним сделать не сможет. Домля, потрясая протянутой рукой, закричал на Дилшода так истерично, словно не Дилшода, а его раны посыпали солью.

— Вот возмездие за посещение школы кяфуров! Прочь! Чтоб твоей ноги у меня больше не было!

Дилшод только этого и ждал. Он получил свободу.

Камбарали с волнением и радостью смотрел вслед другу, проворно улетающему на носках...

Когда уста Бахрам вернулся с работы, Дилшод лежал на айване. Мальчика лихорадило. Нестерпимо болели пятки. Пылавшую от жары голову мучили тревожные мысли: как отнесется ко всему случившемуся отец?

Уста Бахрам, увидев бессильно лежавшую на подушке голову сына, бросил быстрый взгляд на жену. Ее ли-

цо, со скорбно сжатыми губами, было печально и сурово.

— Что случилось?

Боль, сжимавшая сердце Хамидахон, порвалась:

— Чтоб молния поразила этого домлю! Посмотрите, что он сделал с вашим сыном!

— Что такое?

Хамидахон заплакала.

— Изрезал ему пятки, а в раны затолкал соль!

— За что? В чем он провинился?— спросил внезапно охрипший уста Бахрам.

Как сквозь туман, Дилшод видел отца, слышал его тревожный и суровый голос.

— Так истерзать ребенка из-за того, что он не ходил в школу! Куда же он тогда уходил каждый день с книгой?

— В школу Олияхон.

— Олияхон?

Вот тут уста Бахраму все припомнилось, и он размяк, как опущенная в воду лепешка. Он вспомнил предложение Ольги Петровны послать Дилшода в ее школу, вспомнил, что он пропустил ее слова мимо ушей. Ему вспомнилось, каким счастливым выглядел его сын в дни, когда встречался с Мишей, и как он грустил, когда уходил к домле. Вспомнил и почувствовал себя безмерно виноватым.

— Если бы я послушался совета Олияхон, сын мой не испытал бы этих мук. Я виноват. Что с ним?

— Посмотрите сами. Жар у него, бредит. Все с Мишей разговаривает.

Уста Бахрам подошел к сыну, сел у изголовья, положил ладонь на его лоб. Голова пылала...

— Сынок мой, Дилшоджан, как же это ты, голубчик мой?— растерянно зашептал уста Бахрам, глотая подступивший к горлу ком.

Мальчик чуть раскрыл воспаленные глаза. Он узнал отца.

— Сыночек мой!.. Теперь все будет по другому... Только выздоравливай. Поправишься — будешь ходить в школу Олияхон.

На лице Дилшода появилась слабая улыбка, и тотчас же, как в зеркале, она отразилась на лице уста Бахрама.

— Не бойся, сынок! Не пойдешь ты к проклятому домле.

Наутро уста Бахрам сходил к Ольге Петровне и вскоре вернулся вместе с ней, неся легкий саквояж. Осмотрев изрезанные пятки мальчика, Ольга Петровна нахмурилась. Со слезами на глазах Дилшод посмотрел на Ольгу Петровну. «Вот что сделали со мной»,— говорил его взгляд. Затем он слабым голосом произнес:

— Ноги.

— Ничего, Дилшодик, мы их вылечим, только потерпи немножко. Ольга Петровна вымыла ноги больного марганцевым раствором, смазала порезанные места каким-то лекарством, сделала перевязку.

Уже к вечеру мальчику стало лучше.

На следующий день, когда жар все еще мучил его, к постели подошла Тутикиз и прикоснулась ладонью ко лбу брата, как это делали взрослые. Дилшод открыл глаза.

— У вас головка болит?— спросила Тутикиз, готовая вот-вот заплакать.

Уж больно жалко было ей непривычно притихшего брата.

— Нет, ноги болят,— произнес Дилшод. Затем, видя печальную Тутикиз, спросил:— А у тебя?

— А у меня не болят, вот. Ведь у меня не резали,— произнесла Тутикиз и в подтверждение своих слов несколько раз подпрыгнула. Затем она наклонилась к уху Дилшода и с видом заговорщика поведала ему свой тайный замысел:

— Дилшод-ака! Я вот что придумала. Когда настанет лето, у нас поспеет вишня. А в это время по нашей улице будет проходить домля, который порезал нам ноги. Я его подстерегу, да ка-а-ак стрельну ему прямо в нос!— И Тутикиз, упиваясь мстительным чувством, показала, как она стрельнет вишневым косточкой в домлю.

Так как Дилшод молчал, она спросила:

— Стрельнуть в него?

Дилшод утвердительно кивнул, улыбнулся. Тутикиз, получив разрешение братца на дело, которого он раньше не одобрял, обрадовалась и убежала на улицу, крикнув:

— Сейчас я вернусь.

Скоро, держась за руки, появились Тутикиз, Туфакиз и остановились посреди айзана.

— Пой! — приказала Тутикиз Дилшоду.

Туфакиз, обратившись к подружке, сказала: — Пой к Дилшоду и играя глазенками, скажи ему следующие слова своим певучим голоском:

Эй, Дилшод, не спеши!
Эту песенку тебе споем.
На венки цветов нарзём.
Сами сделаем мы цветами!
Саттихон тебе до пят
Косы сделала из ивы
И смешат она девчат.
Мол, Дилшод, быть красавцем
Могут юноши пленить
Косы делают до пяток!
Только надо их любить,
Приводить всегда в порядок...

Когда песня кончилась, Тутикиз спросила у Дилшода:

— Ну как, болит еще?

Вот оно что! Оказывается Тутикиз позвала подружку и заставила ее петь, чтобы таким образом облегчить страдания Дилшода.

— Совсем прошло, — слукавил Дилшод.

Тутикиз удовлетворенно мотнула головой и села с подружкой играть в камушки.

Ольга Петровна несколько дней подряд приходила менять Дилшоду перевязку. Через неделю жар спал. Ольга Петровна разрешила больному встать.

Когда Дилшод ступил, наконец, на землю, все очень обрадовались, но больше всех радовалась, конечно, Тутикиз. Впрочем, она очень скоро снова опечалилась, потому что тетя Олия сказала:

— Теперь пусть Дилшод поживет с нами, я за ним присмотрю. Чем здесь ему лежать без дела, пусть играет с Мишей, учится с ним.

Ольга Петровна позвала извозчика и отвезла Дилшода к себе. Тутикиз, обыкновенно не отходившая от брата, теперь загрустила. Словно что-то потеряв, она бродила растерянная. Много раз в течение дня она задавала один и тот же вопрос: «Когда придет братец Дилшод?» Словом, она не на шутку затосковала по братцу. Ведь какой он был хороший: не дрался, не ругался, не оби-

жал. А когда Тутикиз, простудившись однажды, заболела, он почти не отходил от ее постели.

Как-то Хамидахон отправилась навестить Дилшода и, к великому удовольствию Тутикиз, взяла ее с собой. Девочка вернулась домой, светясь от радости и возбуждения. Дом, в котором жил Дилшод, поразил воображение девочки и послужил темой для нескончаемых разговоров.

— Мама, а какая красивая комната у тети Олияхон, вай-вай! Даже не хотелось уходить оттуда. Почему это не хочется уходить, а, мама?

— Оттого что хорошая. Поэтому тебе, милая, и не хотелось уходить.

— Зачем тетя Хамидахон сказала: «Пойдем?»

— А если бы тетя не сказала «пойдем», ты бы там и осталась?

— Я бы там играла с Дилшод-ака. А Дилшод-ака, мама, лежит на железной сури¹, завернувшись в белые простыни. И около него так много книг, вай-вай! Как песок!

— Ой-ей-ей!— удивилась мать.

— А потом, мама, дом у них белый-пребелый, чистый-пречистый. А для чего там доски на полу, мама?

— Это, миленькая, чтобы не проходила сырость, чтобы в комнате было сухо и тепло.

— Потом, мама, мы зашли в комнатку, где спит Миша-ака, а там, вай-вай! Полно книг! И все с картинками...

— И ты их смотрела?

— Да, картинки. А читать я не умею,— огорченно произнесла Тутикиз, затем вдруг оживилась:— А почему я, мама, не умею?

— Оттого что не училась.

— А почему не училась?

— Потому что ты еще маленькая.

— У-у! Ведь мне уже шесть лет?

— А ведь верно! Ну что ж. Вот придет Дилшод-ака, и я скажу ему: «Учите и мою доченьку!» Хорошо?

Тутикиз кивнула головой.

Через три дня после этого разговора, в четверг вечером, явился Дилшод. Тутикиз стремительно подбежала

¹ Сури — кровать,

к нему, бросилась на шею. Дилшод тоже обнял ее и звонко поцеловал. Оказывается, и он, бедняжка, соскучился. На его, уже совершенно здоровых ногах, красовались щегольские сапожки. Целых два дня Дилшод и Тутикиз ни на минуту не отходили друг от друга. Дилшод принес с собой для Тутикиз две тетради, карандаши, одну книжечку с картинками.

Тутикиз подаркам обрадовалась, но тут же обидчиво надула губки.

— Ведь я не умею читать.

— Хочешь, я буду учить тебя?— предложил Дилшод.

Тутикиз только этого и ждала.

— Конечно, хочу!

Вот после этого Дилшод стал обучать Тутикиз точно так же, как некогда Миша обучал Дилшода. Он старательно вывел в тетради буквы и наставительно произнес:

— И ты напиши вот так. Не жалея бумаги, пиши сколько хочешь. Но чисто. Не марай ее. Хорошо?

— Хорошо!— радостно ответила Тутикиз.

На утро Дилшод отправился к Ольге Петровне. Но через несколько дней снова пришел к Тутикиз заниматься. С тех пор его занятия с сестрой стали регулярными. И хотя усердные занятия не давали вначале больших результатов, Дилшод был доволен успехами своей ученицы. Несколько букв она уже знала.

Однажды Тутикиз зазвала в дом свою подружку Туфу и похвасталась перед ней успехами в науках. Туфакиз пришла в восторг от познаний подруги и даже позавидовала ей. И она хотела бы учиться, но у нее не было ни тетради, ни карандаша, а просить у Тутикиз стеснялась. А вдруг та откажет? Но вот Тутикиз сама спросила:

— А ты хотела бы учиться?

— Еще как!— уставившись в землю, произнесла Туфакиз.

Тутикиз обрадовалась и немедленно заявила:

— Если хочешь, я буду учить тебя тому, чему учит меня Дилшод-ака. Хорошо?

Туфакиз сразу же согласилась. Тутикиз вручила подружке новую тетрадь и карандаш, предварительно написав в верхнем левом углу первой страницы букву «а».

— И ты пиши так. Пиши все страницу. Только смотри у меня, пиши старательно, чисто, красивенько. Хорошо?

Таким образом, Миша учил Дилшода, Дилшод обучал Тутикиз, а та, в свою очередь, просвещала Туфакиз.

Так прошло более двух месяцев. Вот и сегодня явился Дилшод, чтобы, как заправский учитель, проверить старый урок, задать новый. Но Тутикиз почему-то не кинулась, как всегда, ему навстречу. Увидев Дилшода, она смутилась, но он не придал этому значения. Дилшод принес с собой сказку «Золотой петушок». Он сперва показал картинку. Потом рассказал о том, какая удивительная эта книга и как много еще книг написал русский поэт Пушкин. Смущенная Тутикиз, не разобрав кто написал, переспросила:

— Кто написал эту книжку?

— Пушкин,— ответил Дилшод.

Тутикиз повторила это слово про себя, а потом произнесла его вслух, растянув последнюю гласную, как это свойственно ее родному языку.

— Пушкин.

Дилшод поправил ее.

— Ты не тяни последнюю, тяни первую. Ты тянешь последнюю «ки-и-ин», а надо тянуть «пуш», «Пу-у»... Скажи: «Пу-у-ушкин».

Тутикиз была на редкость способной ученицей. Она быстро схватывала и запоминала. Вот и сейчас она вслед за Дилшодом довольно правильно произнесла непривычное для ее уха слово.

— Теперь верно. Если научишься русской грамоте, то сумеешь читать интересные книжки,— произнес Дилшод и уже другим строгим тоном, как это и подобает приступившему к своим прямым обязанностям учителю, потребовал тетрадь.

Девочка, смутившись, неохотно протянула свою тетрадь. Дилшод раскрыл ее, посмотрел и нахмурился. Последний урок не был выполнен. Дилшод строго взглянул на Тутикиз. Она стояла, потупив глаза.

— Почему не приготовила урока?

Тутикиз молчала.

— Я кого спрашиваю?

Снова молчание.

— Если не хочешь учиться, так и скажи прямо. Чтоб я не мучился из-за тебя, не ходил бы к тебе напрасно за тысячу верст. Как это случилось?— допытывался Дилшод.

Тутикиз, не отрывая глаз от земли, тоже думала: «Как же это случилось? И зачем только я ходила с мамой на эту свадьбу! Не ходила бы — так и не стыдно было бы. Да еще эта игра в камушки, пропади она пропадом. Присядешь на минутку, а потом не оторвешься от нее».

— Теперь не буду играть,— едва слышно прошептала Тутикиз. Дилшод не понял.

— Во что не будешь играть?

— В камушки.

— А чем виноваты камушки?

— Играла я, вот поэтому...

— Можно играть, но только в свое время. Сперва урок, потом игра. Понятно?

Только теперь Тутикиз подняла голову. А как стыдно было! Хорошо еще, что Дилшод, рассердившись, не ушел совсем.

— Завтра снова приду,— сказал он строго, после того как задал ей урок.

Вот после этого у Тутикиз окончательно отлегло от сердца. Проводив Дилшода, она села и выучила сперва прежнее задание, а затем и сегодняшнее, выучила так, что лучше, кажется, невозможно. Теперь она смело могла встретить братца и выпалить ему урок от начала до конца, без запиночки. Она с легкой душой отправилась к подружке. Туфакиз трудилась в поте лица. Скатав куски старой ваты, она скрепляла самодельный мяч ниточкой. Увидев Тутикиз, она смутилась: «Не пришла ли Тутикиз проверить урок?» Словно во всем виноват был скатанный мячик, она отшвырнула его и испытующе посмотрела на Тутикиз. Та попросила тетрадь. Туфакиз принесла. Урок не был приготовлен. Маленькая учительница сердито взглянула на Туфакиз. Ее ученица виновато уставилась в землю.

— Почему не приготовила урок?— сурово спросила Тутикиз. Туфакиз молчала.

— Я кого спрашиваю?

Снова молчание.

— Если не хочешь учиться, так и скажи прямо, не

мучь меня. Чтоб я не бегала к тебе за тысячу верст,— произнесла Тутикиз, нахмурившись точно так же, как это недавно сделал Дилшод.

Туфакиз устала в землю: она вспомнила, как весь день играла в камушки с подругой, как они вместе пели и плясали.

— Теперь не буду,— виновато пролепетала Туфакиз.

— Что не будешь?

— Петь.

— А что плохого в песне?

— Много пела, вот поэтому...

— Можно петь, но только в свое время. Сперва урок, потом игра. Хорошо?

Туфакиз, тихо подняв голову, посмотрела на подружку — та была сердита. Когда Туфакиз бывала недовольна или опечалена, подружка всегда старалась песней или пляской рассеять ее недовольство, рассмешить. Но сейчас, вспомнив как тяжело она провинилась, оробела. Подперев свой подбородок пухлыми кулачками, она принялась упрашивать подругу.

— Хорошо, я приготовлю сейчас урок. Но, милая Тутихон, я сперва один разочек спою песенку!— Вслед за этим Туфакиз слетка кашлянула и запела. Ее звонкий, как колокольчик, голосок звучал до тех пор, пока Тутикиз не улыбнулась.

Глава шестнадцатая

РАДИ ВОДЫ

Прошло полгода. Летом Тешабай, в присутствии хокима громкогласно объявивший: «Ваш труд, мои расходы», уже к осени перестал посещать место работ, прекратил всякую помощь людям. Обещанная Тешабаем пища не выдавалась. А работать с каждым днем становилось все труднее. Люди, вначале прибывавшие к скале толпами, стали постепенно рассеиваться. Дехкане среднего достатка все чаще и на все большие сроки уходили домой, а в последнее время и вовсе исчезли. О баях и говорить нечего. Ни один из них даже не прикоснулся к камню. Вся тяжесть строительства легла на плечи безземельных и малоземельных дехкан, многострадальных бедняков. Не только мингбаши, но и амины, перестали

появляться у тоннеля. Никто не учитывал, кто сколько сделал. Чем глубже пробивался тоннель, тем большее сопротивление оказывала порода, тем труднее было ее извлекать. По мере продвижения возникали все новые трудности, предусмотреть которые было невозможно.

У одного конца тоннеля присматривал за работами Хасан, у другого — дед Алим. Они, как могли, поддерживали голодных, разутых дехкан. Работа почти не продвигалась. Силы иссякали. Матковул был так изнурен, что, казалось, валился от дуновения ветерка. Перетаскивая камни, он нередко падал. Полежав немного, отдышавшись, он снова принимался за работу. Сорвавшиеся со свода камни задавили двух джигитов. Один из них умер через три дня. По предложению Хасана суфи его похоронили у входа в тоннель. На могилу джигита воткнули им же вывороченные камни. Но и после этого несчастья работа не прекратилась. Наоборот, люди трудились с еще большим напряжением. Фонари, которые смастерил Кудрат, тускло мигали в разных концах тоннеля. При их слабом свете люди продолжали работать через силу.

Осколки камней отскакивали от железных масок, защищавших лица Гулямджана и Барат-палвана, но больно впивались в их спины и головы. Полугодовая работа в тоннеле сделала из Гулямджана искусного проходчика. Его группа на несколько аршин опередила друзей, работавших по ту сторону горы.

За пределами тоннеля уже буйствовал декабрьский буран. Он трепал шалаши, наспех построенные из ветвей и кукурузных стеблей. Нигде ни одного огонька. Но никто и не нуждался в костре. Люди разгорячены работой. Она кипит и в тоннеле, и за его пределами, на ледяном ветру. Одни роют арыки, другие грузят камни на арбы Тешабая, которые прибывают непрерывным потоком...

В этот день Гулямджан почувствовал слабость уже с утра, но никому ничего не сказал и продолжал работать, как обычно. К полудню ему стало так плохо, что молот вывалился из его рук, а сам он вынужден был присесть, прислонившись к стене. В глазах у него потемнело, голова кружилась. Барат-палван, увидев Гулямджана в таком состоянии, бросился к другу.

— Что с вами, Гулямджан? Вам плохо?

Гулямджан приоткрыл глаза.

— Нет, должно быть, устал немножко.

Барат-палван укоризненно покачал головой:

— Уж очень вы сегодня напористы. Бедняга Заман не успевает убирать за вами камни. В пот его вогнали. Хватит вам, отдохните немножко. Да и нам не мешает отдышаться, не так ли Заман?

— Не мешает,— согласился Заман, присаживаясь на камень.— Очень уж вы, Гулямджан, выматываетесь.

В тоннеле, неподалеку от входа, был устроен в стене небольшой очаг. Матковул живо развел огонь и вскипятил воду. Друзья, посмеиваясь друг над другом, шутя выпили целый кумган чаю. Они шутили как будто специально для Гулямджана. Горячий чай, внимание друзей обогрели Гулямджана. Он почувствовал себя значительно лучше. Глядя на кучи еще неубранных камней, он обратился к Барат-палвану:

— Палван-ака, насколько мы сегодня продвинулись, не прикидывали?

— Нет еще. А вот мы сейчас узнаем,— ответил Палван и, найдя вчерашнюю отметину, распростер руки вдоль стены. По моим рукам выходит один без четверти, по рукам Матковула получится целых два.— Друзья захохотали. Палван снова пошутил:— Если считать по моим рукам, то вам надо еще маленько поработать, а если по рукам Матковула — то можно отдыхать до полудня завтрашнего дня.

В тоннеле снова поднялся хохот. Матковул не был изобретателен в острогах, поэтому в ответ на шутку Палвана он только простодушно хихикнул. Немного отдохнув, Гулямджан взялся за молот. Заман и Матковул, наложив щепня на носилки, ушли. Барат-палван, чтобы выворотить нависшую над головой каменную глыбу, стал осторожно орудовать ломом. Глыба, должно быть, едва висела, она стала быстро отделяться от свода. Барат-палван крикнул: «Берегись», но Гулямджан отбежать не успел. Рухнувшаяся глыба свалила его с ног. Тоннель наполнился грохотом, который прорезал крик Гулямджана «вай!». Вместе с глыбой посыпались щебень, камень. Все вокруг исчезло в пыли. Услышав крик, прибежали Заман, Матковул и еще несколько человек. Барат-палван бросился к Гулямджану.

— Камень задавил! Заман, сюда!

Заман ринулся на крик.

— Берегитесь, Заман, осторожней, держитесь той стороны!— закричал Барат-палван, приподнимая камень.

— Держу, Барат-ака, ну, давайте, тише, тише! Матковул-ака, поддевайте руку под камень. Вот, вот!

Когда камень, придавивший Гулямджана, был поднят и отброшен в сторону, все увидели, что Гулямджан лежал без сознания.

— Гулямджан! Гулямджан!— громко позвал его Заман.

Но Гулямджан не ответил, даже не пошевелинулся. Его тихонько перевернули, подняли голову. Кровь из раны на лбу стекала на лицо, бороду...

— У него вся голова разбита!

Барат-палван быстро снял с себя поясной платок и крепко перевязал им лоб Гулямджана.

— Чорт возьми! Арбы нет, надо бы скорее в кишлак отвезти.

— Арба есть, Палван, на нее камни грузят,— ответил растерянный Матковул.

— Выкинуть камни!

Несколько человек осторожно подняли Гулямджана, вынесли его наружу, положили в арбу на кем-то посланное одеяло, накрыли сверху чапаном.

— Потихе езжайте, выбирайте дорогу поровнее,— настаивал арбакеша Заман.

Арба подъехала к дому Гулямджана, когда начало смеркаться. Хадича, увидев сына на руках Палвана, отчаянно заголосила:

— Вай-дод! Сыночек, что с тобой? Умереть бы мне!

Она царапала себе лицо. Припала к сыну.

— Не пугайтесь, тетушка, он скоро очнется. Приготовьте-ка лучше место для него, да быстрее,— проговорил Палван.

Прибежавшие Каромат и Эрбута тоже бросились к Гулямджану.

Заман, пытаясь оторвать от сына плачущую Хадичу, все приговаривал:

— Не надо, не плачьте, обойдется, он поправится...

Куда его занести? Его надо положить.

Каромат побежала к ичкари. За нею с Гулямджаном

на руках последовал Палван. Пострадавшего положили в его худжре, возле сандала. Хадича бросилась к сыну, прижалась к нему. Она целовала его покрытые кровью лицо и бороду. Рядом, прижавшись к ногам Гулямджана, заливался слезами Эрбута.

Люди, доставившие Гулямджана, сидели, виновато опустив головы. Глаза Матковула были полны слез. Не отрывая растерянного взгляда от Гулямджана, он непрерывно дрожал.

— Милый мой мальчик, бедненький ты мой!— причитала Хадича.— За что бог мстит тебе, милый мой мальчик? Уж лучше бы меня задавил этот проклятый камень, маленький мой. Открой глаза, мой козленочек!

— Тетя, не надо, не плачьте,— утешал Барат-палван.— Надо смыть кровь. Дайте теплой воды.

Каромат, рыдая, развела огонь, согрела воду. Хадича сорвала со своей головы платок и принялась утирать им сировавленное лицо сына. Гулямджан все еще лежал без сознания. Хадича начала отдирать со лба запекшуюся кровь.

— Потише, потише,— проговорил Барат-палван так, словно движения Хадичи причиняли страдания ему.

Гулямджан, должно быть, почувствовал боль. Он застонал, открыл глаза.

У всех присутствующих вырвался вздох облегчения:

— Слава богу!

— Мальчик мой, тебе лучше?

Гулямджан слабо прошептал:

— Лучше.

Хаёт узнала о случившемся с Гулямджаном в тот же день, вечером. Они вместе с матерью были у Турсуной. С тех пор как Заман начал работать в тоннеле, Хаёт вечерами уходила к Турсуной и, выщипывая хлопок из коробочек, коротала время за разговорами с подругой. Когда появился растерянный Заман, женщины, сидевшие вокруг сандала, вскочили. Хаёт, закрыв лицо, отошла в сторону.

— Садитесь, садитесь, не беспокойтесь,— проговорил Заман после взаимных приветствий.

Но женщины не сели. Турсуной пристально смотрела на мужа. Он был неузнаваем. Его обычно румяное лицо было бледно-желтым.

— Что с вами, Заманджан?—тревожно спросила жена.— Вы пожелтели!

— Как здесь не пожелтеешь, если душа вот-вот выскочит,— проговорил он и, взглянув исподлобья на Хаёт, добавил:— Гулямджана задавил камень.

— А?!— раздалось одновременно два возгласа. Хаёт, стоявшая у двери, накинула на голову чапан и уставилась на Замана безумным взглядом.

— Он умер?

— Нет, мы принесли его домой, он дышит.

Хаёт стремглав выбежала. Мать последовала за ней. На улице Хаёт, не в силах сдержать себя, заплакала навзрыд. Мать догнала ее:

— Не плачь, доченька, не плачь, милая. Пойдем домой, пойдем! Что скажут люди, если они увидят тебя плачущей.

Мать обняла дочь, повела ее домой. Хаёт, склонив голову на плечо матери, покорно шла за ней, рыдая, без слов, не жалуясь. Домой она пришла с красными глазами, вспухшими веками. Ее лицо, подобное поблекшему цветку, непрерывно омывалось слезами.

Старуха Мастан, увидев горько плачущую внучку, прервала молитву и сердито крикнула:

— Эй, чего ты вдруг реवेशь?

Хаёт в ответ зарыдала еще горше. Мать прижала залитое слезами лицо дочери к своей груди.

— Не плачь, милая, ну, будет.— Затем, взглянув на свекровь, пояснила:— В горах задавило Гулямджана.

Старуха встала с колен и, убирая постилку для намаза, издевательски произнесла:

— Значит она скулит по своему карача.

Мать Хаёт не выдержала. До сих пор ни разу не перочила свекрови. Но сейчас гадкие слова отвратительной старухи перевернули ее душу. Не в силах сдержать себя, она ответила:

— Ах, мама, когда вы, наконец, уймете свой язык. Ведь он погубит мою дочь.

Хаёт выбежала вон. Мать замерла на мгновение, затем крикнув: «Хаёт! Куда?»— устремилась вслед за дочерью.

Хаёт сорвала с гвоздя замок и выбежала на улицу. Она заперла калитку снаружи и, зажав в руке ключ,

направился к дому Гулямджана. Несмотря на поздний час, на улице было светло от белевшего снега. Вокруг ни души. Стужа загнала всех в дома. Хаёт не заметила, как очутилась на гузаре. В чайхане виден был свет, оттуда доносился оживленный говор. Хаёт, не раздумывая, прошла мимо чайной. Сейчас она ничего не боялась. Она хотела во что бы то ни стало видеть любимого. Только это могло успокоить ее. А разве Гулямджан не думает сейчас о Хаёт? Может быть, и у него леденеет душа при мысли, что не удастся увидеть любимую?

Хаёт спешит, то и дело спотыкаясь, увязая по колено в снегу. А вот и знакомая калитка дома, который она посетила только дважды. Но в мечтах своих всем своим сердцем стремилась туда. Девушка толкнула калитку, но та не поддавалась: сзади ее подпирал деревянный брусок.

Девушка хотела было постучать, но в это время позади кто-то кашлянул. Хаёт обернулась и тотчас же опустила глаза. Перед ней стоял кузнец Кудрат. Кузнец заговорил:

— Он чувствует себя лучше, опасных повреждений нет. Я сам видел. Камень упал на левое плечо. К счастью, на Гулямджане был ватный чапан. На всякий случай я послал Замана в город за врачом. Он придет завтра. Не волнуйтесь, идите домой.

Хаёт беззвучно рыдала. Кудрат понял, что она уходит не хочет.

— Послушайте меня. Хаётхон, пусть он немножко придет в себя, а уж потом навестите его.

Хаёт, пересилив себя, побрела домой. Девичий стыд взял верх. Она была благодарна Кудрату. Его теплые слова смягчили волнение Хаёт.

Глава семнадцатая

ПОМОЩЬ НАГОДА

Сильные декабрьские морозы, пронизывавшие до костей плохо одетых дехкан, несчастный случай с Гулямджаном привели к тому, что работы в тоннеле, замерли. Все вернулись в кишлак, занялись своими делами, своими заботами. Гулямджан, в первые дни после ранения

владавший в беспамятство, постепенно начал поправляться. Ольга Петровна привезла из города врача. Он обнаружил, что кости большого и повреждены, что помято левое бедро и левая лопатка. Не в силах двинуться, Гулямджан лежал до середины марта. Каждый день его навещали друзья, приходили и его бывшие ученики из разоренной Гиясидлином школы. Посещение друзей всегда радовало Гулямджана, но вместе с тем и печалило его. Среди навещавших не было его Хаёт.

Незаметно пришла весна. Она принесла карабулаковцам радость. Заброшенное в прошлом году место работ все еще было покрыто снегом. Предоставленные самим себе, бедняки жили в горе и нужде. Тешабай был занят своими делами. Из добытых в тоннеле камней он соорудил для себя дворец с конюшнями и амбарами для хлопка и зерна. Казалось, он совсем забыл о тоннеле. Когда бедняки приходили к нему за обещанной помощью, он, даже не обернувшись, отвечал, что сейчас занят своими постройками и помочь никому не в силах. Жена Тешабая, в прошлом году раз двадцать ходившая лечиться к ишану Актупе, в этом году, в начале марта родила рыжего мальчика.

Трое суток длилось пиршество, устроенное Тешабаяем. Целых три дня и три ночи Тешабай кормил гостей пловом. Бедняки, которые не могли работать оттого, что им нечего было есть, видя такую расточительность, говорили: «Эх, если бы крошки от этого тоя нам на стройку — провели бы мы воду в кишлак!»

На третий день тоя Хасан суфи и дед Алим пришли к баю. Старики решили, что бай, устроивший такой роскошный пир, не откажется помочь тем, кто проводит воду, пужную и ему. Первым, как обычно, заговорил Хасан суфи. Начал он смущенно, издалека.

— Вот и весна пришла. Что будем делать, таксыр?

Тешабай, словно не понимая его, спросил:

— О чем вы? Что-то я не пойму.

Хасан суфи пояснил:

— Что нам с тоннелем делать? Пора бы закончить его.

— Так кончайте! Причем здесь я? Мешаю вам? Я и так на вас понастратился! Не приставайте ко мне! Уходите!

Дед Алим потянул Хасана суфи за рукав. Старики крепко раскаялись в том, что пришли к баю за помощью и тихо побрели на улицу.

— Удивительно!— воскликнул дед Алим.— Никак не могу понять. Скажите мне, аксакал, тот ли это Тешабай, который при хокиме из кожи лез? Что с ним произошло? А?

Но Хасан суфи был удивлен не меньше.

— Что случилось с ним? Может быть, кишлак пришелся ему не по душе, и он хочет уехать?

— Кто знает.

Старики направились в мастерскую Кудрата. Там они застали Гулямджана и Замана. Увидев стариков, те встали.

— Добро пожаловать,— приветствовал стариков Кудрат.— Очень кстати вы пришли. Мы здесь как раз говорим о тоннеле.

Старики сели. Кузнец заметил, что аксакалы удручены.

— Чем это вы расстроены?

Когда старцы рассказали о своем посещении Тешабая. Кудрат даже обиделся.

— Почему не посоветовались прежде чем ходить?— произнес он, качая головой.— Напрасно пошли к Тешабая. Ни от бая, ни от мингбаши мы теперь никакой помощи не дождемся. Что бай, что паук — одно и то же. Тешабай оплел своими сетями весь кишлак и теперь потихонечку будет сосать нашу кровь. Разве остался в кишлаке хоть один бедняк, который бы не задолжал ему?

— Это верно.— подтвердил Хасан суфи, тряхнув своей козлиной бородкой.

Кудрат не в силах был скрыть свою горечь:

— Я сам обманулся, когда Тешабай, в присутствии хокима осыпал нас щедрыми обещаниями. Признаться, мне и самому показалось, что он порядочный человек. Потом позолота сошла, обнаружилось железо. Да иначе и быть не могло. А сейчас мы, как простачки, удивляемся: «Что за превращенье? Куда девался прежний Тешабай?»

Хасан суфи и дед Алим переглянулись. Ну прямо как будто Кудрат подслушал их беседу и теперь отвечает на их недоуменные вопросы.

— Коршун будет заниматься тем, чем занимались его родители. Ведь он сын Балта купаса!— произнес кто-то из сидевших.

— Верно!— кивнул головой Кудрат.— Цель сына Балта купаса та же, что и его отца—набить свои карманы. Он видит, что народ жизни своей не пожалеет, чтобы провезти воду, он знает, что работа не будет остановлена, Вот он и отошел в стороночку. А ведь он правильно рассудил. Мы начали, мы же и доведем до конца. Другого выхода нет.

—Но как? Как мы сумеем сами?— озабоченно спросил Хасан суфи.

Кудрат словно ждал этого вопроса.

— Что будем делать? У русских есть хорошая поговорка: «При желании все возможно». Желание у нас есть? Есть! Значит есть и возможность.

Гулямджан, придвинувшись к Кудрату, жадно ловил каждое его слово. Внимательно слушали его и все остальные.

— Выход здесь вот какой: необходимое питание нужно добывать самим. Попросим у народа. Будем ходить по домам. Народ не отвернется от нас.

— Нет, не отвернется.— подтвердил дед Алим.

— Хасан-ата, вы подберите себе трех-четыре человек. То же сделает и дед Алим. Будете ходить по домам, лавкам и собирать продукты для работающих. Просите у прохожих. Не обижайтесь, если кто-нибудь даст очень мало, ничем не брезгайте. Из капель, говорят, образуется море. Не так ли, ата?

— Так.— согласился дед Алим.

— Только не стучитесь в калитки баев. Обходите их стороной,— предупредил Кудрат.— Лучше голодать, чем одолажаться у бая.

Гулямджан все порывался что-то сказать. Когда Кудрат кончил, он предложил:

— Сегодня базар. Можно кое-что собрать и там. Если вы не против, на базар пойду я.

— Вы?

Вопрос, кажется, смутил Гулямджана, он заметно покраснел.

— А почему бы и нет? Чем я хуже или лучше других? Когда несчастья сыплются на голову народа, то народ

сам борется с ними. Разве я не сын моего несчастного народа?

— Спасибо, вам, Гулямджан. Вы, действительно, истинный сын своего народа. Но как ваше здоровье? Оправились ли вы?

— Оправился. Ведь пришел я сюда на своих ногах и на базар пойду не на голове.

Все рассмеялись.

— Значит так и поступим, — подытожил Кудрат. — Сейчас отправляйтесь вместе с Заманом и Матковулом на базар. Хасан-ата и дед Алим обратятся за помощью к тем, кто сидит дома. Все собранное будете сносить на двор Хасан-ата. Как, ата, согласны?

— Со всей душой, — согласился Хасан суфи.

Когда все было обговорено, Матковул неожиданно предложил:

— Кудрат-ака, чем ходить и просить, подобно нищим, не лучше ли всем нам пойти к баю или мингбаши и сказать: «Если не поможете с питанием, не будем проводить воду!» В прошлом году мы не только сами мучались, но и жен и детей наших замучили с этим каналом. Есть еще и другое. Вот я, например. Я занял у Тешабая десять пудов пшеницы. Да и многие другие тоже у него набрали. Как же нам теперь быть, если Тешабай обидится на нас за самоуправство и потребует обратно долг? Лучше бы попросить его помочь. Может, он и сжалится.

Кудрат знал простодушие и доверчивость Матковула. Но он также знал, что эти качества не всегда приводят к добру. Поэтому он довольно сурово ответил:

— Матковул-ака, после того как вас баи мытарили, вы все еще надеетесь на них! Поймите, наконец, если вы будете сидеть да мечтать о байской милости, да если, не дай бог, ее получите, что же тогда будет? Ведь вы не только что десять, но очень скоро двадцать пять, а то и пятьдесят пудов ему задолжаете. По уши погрязнете в долгах. Что вы тогда будете делать? Отдадите за долги свой маленький, как ладошка, дом, а сами с детишками пойдете на улицу? Забудьте о том, что сказали, и не сбивайте людей с толку! Что же касается долгов, то вряд ли Тешабай станет требовать их, пока мы прокладываем тоннель. А когда проведем воду, после первого урожая вам нетрудно будет расплатиться с баем...

Гулямджан вместе с Заманом и Матковулом, явился на базар. Несмотря на нестерпимую жару, народу там было полно. Друзья толкались на небольшом пространстве между медресе, рядами лавок, скотным базаром и мучным рядом. На прилавке в мучном ряду лежали прибывшие из Узгена¹ горы риса, пшеницы, кукурузной муки, кукурузы в початках, ячменя. Далее, на арбах, пестрели огурцы, белый урюк, ранние персики. Западную часть базара заняли кочующие торговцы с лотками и тележками. Неподалеку расположились торговцы мануфактурой — местные евреи. Базар был забит товаром, трудно было протолкнуться. Среди разношерстных покупателей и торговцев сновали оборванные нищие, дервиши. Они причитали, кланчили милостыню, нараспев читали стихи суфи Аллаяра, прославляющие подвиги святых.

Только Гулямджан начал пробиваться через толлу, прокладывая себе дорогу плечами, как путь ему преградил сгорбленный старик-нищий. Одежда на нем висела ключьями, борода и усы — совершенно белые. Старик был необычайно худ.

— Подай, ради бога, сыночек, — жалобно застонал нищий.

Гулямджан порылся в карманах и, отыскав медяк, отдал его нищему. Старик поблагодарил, воздев руки к небу. Гулямджан пошел прямо в мучной ряд. Там двигалась процессия из молодых нищенствующих монахов, предводительствуемая старым монахом — каландаром. Каландар громко зывал в бога, а затем к правозерным мусульманам, выпрашивая пожертвования. Его ученики хором вторили ему.

Когда процессия удалилась, Гулямджан влез на чью-то пустую арбу. Оттуда был виден весь базар. Словно изучая толпу, он внимательно оглядел ее. Затем, легонько кашлянув, громко провозгласил:

— Уважаемые отцы, братья, друзья!

Сновавшие, кричащие, увлеченные куплей-продажей люди постепенно стихли, обернулись к человеку с молодым приятным лицом, в одежде муллы. Застыли руки, отвешивавшие муку, протягивающие дыню, отмерявшие

¹ Узген — город в Киргизии.

ткани. Люди начали переглядываться, перешептываться, наконец на базаре воцарилась полная тишина.

— Уважаемые отцы, братья, друзья! — повторил Гулямджан. — Всем вам известно, какое несчастье обрушилось на наши головы — андижанское землетрясение. Огромный обвал в горах засыпал большой арык, который поил нас водой. Три года мы трудились в поте лица, пытались восстановить его. Но вода не пошла по старому пути. В обход горы, по новому руслу, она уходит от нас и в без того полноводный Таджиксай. За эти годы наши земли иссохли. Мы изжаждались по воде.

В толпе послышались восклицания: «Правильно! Правильно говорите, мулла!» Гулямджан, чтобы не прерывать одобрительные и сочувственные возгласы, смолк. Когда толпа стихла, Гулямджан продолжал:

— Мы изжаждались по воде! Чтобы получить ее, мы в прошлом году начали рыть тоннель через Ледяную гору! Пытались одолеть гору все вместе: безземельные, малоземельные, дехкане среднего достатка. Но к осени, силы наши иссякли. Тешабай, в присутствии хокима обещавший нам помогать, нарушил свое слово, он отвернулся от работающих, обманул нас. Так и должно было случиться, ибо Тешабай знает, что вода больше всего нужна нам, он знает, что мы все равно проведем воду. Как нам быть? Великая нужда у нас, но нигде нет помощи. Одна надежда на вас! Если вы не поможете, то не провесте нам воду и в этом году; снова будут сохнуть наши земли, снова будет нас мучить жажда. Человек без воды ни работать, ни жить не может. Людей у нас сколько угодно, а вот есть им нечего. Поэтому, отцы, братья и друзья, мы обращаемся к вам: помогите! Мы проведем воду, засеем наши поля, разведем цветники в дворах, будем пить досыта воды, польем наши пыльные улицы!..

Народ все еще молчал. Взгляд Гулямджана метался по толпе. Он искал ответа на лицах людей. Вот кто-то задвигался. Какой-то старик прогис-



нулся сквозь толпу и остановился около Гулямджана. Это был тот самый нищий, которому Гулямджан подал милостыню. Старик вывернув карманы своего грязного халата и, набрав несколько медяков, протянул их Гулямджану.

— На, сынок, бери! Как цену золота знает ювелир, так и нужду бедняков поймет только хлебнувший горе. Я тоже когда-то был дехканином и знаю, что это за жизнь. Я тоже всю жизнь нуждался в воде! Безводье лишило меня земли, родных мест, близких людей. Сами видите каким я стал. Бери же, бери, сынок, не смущайся!— снова обратился нищий к Гулямджану, который был в нерешительности, не зная, брать или не брать медяки нищего.

Гулямджан, с болью в сердце, взял деньги. А нищий, вздев руки к небу, воскликнул:

— Да продлит аллах, лета твоей жизни за то, что заботишься о народе. Да сбудутся желания твои, амины!

Вслед за нищим воздели руки все присутствующие на базаре. После молитвы старик обратился к народу:

— Добрые люди! Пусть каждый поможет, чем может! Кто видел нужду, кто горе хлебнул, кто любит добро — пусть жертвует что-нибудь. Да поможет им аллах!

Джигит с чапаном в руках ловко вскочил на арбу, встал рядом с Гулямджаном и зычным голосом обратился к народу:

— И я был дехканином, имел десятину земли. Добывал хлеб свой, выращивал хлопок, сеял пшеницу. Но воды не было, и это погубило меня. Нет, вода была, но вся текла на земли Миркомилбая. Мой измученный отец взбунтовался, потребовал справедливости, и тогда миршабы бая живым замуровали отца в плотину. Вот возьмите этот чапан в память о моем многострадальном отце.

Заман принял чапан и расстелил его на землю. И тотчас же люди стали бросать на чапан монеты, различные носильные вещи, продукты. А какой-то высокий человек приволок на веревке барана.

— Мулла,— произнес он, приблизившись к Гулямджану,— примите маленькое вспомоществование. Чем откарманвать его для праздника, лучше употребить для

большого дела. Вот, возьмите, нарежьте для ваших джигитов. Дай им бог богатырских сил.

Барана принял Матковул. Подношения все учащались, все прибывали. Появилась мука в мешках, засыпанных до половины, на четверть, рис, другое зерно. Сидевший в сторонке бухарский еврей-торговец принес три аршина материи.

— Вот, сделайте платочки для работающих, пригодится пот утирать...

Гулямджан вместе с друзьями возвращался на закате. Миновав гузар, они направились к Хасан суфи. Аксакал стоял на улице около дома Мадамин-ходжи. Увидев улыбающегося Гулямджана, который восседал на нагруженной доверху большой арбе, Хасан суфи разинул рот от удивления.

— Эх-хе! Вот это насобирали!

Гулямджан осторожно слез с арбы.

— Да это что! Вы туда взгляните!— сказал он, указав на Замана и Матковула, которые гнали перед собой около десятка баранов, несколько коз, телок. Хасан суфи, увидев весь этот скот, кур в руках Матковула и Замана, улыбнулся до самых ушей. Он обрадовался так, словно вода уже журчала в его дворике.

— Хвала вам, хвала народу!— воскликнул он.

Гулямджан вернулся с базара безмерно радостный, окрыленный. Должно быть, поэтому он не сразу заметил, возле чьей калитки остановилась арба, а когда заметил — сердце его громко застучало, голова закружилась. Чтоб не выдать своего волнения, он сдержанно спросил у Хасан суфи:

— Так, так. А что же вы делаете здесь?

— Вот жду, сказала сейчас вынесет, да все не возвращается,— произнес Хасан суфи, пожимая плечами.

— Тетя Мастан?— каким-то не своим голосом спросил Гулямджан.

— Нет, должно быть, внучка.

Сердце Гулямджана бешено забилося. Он хотел сказать: «Вы идите, я сам возьму»,— но язык не повиновался. К счастью, подошедший в это время Заман, обратился к Хасан суфи:

— А ну, отец, пойдёмте, снесем все это к вам. А что вынесут, примет Гулямджан.

Хасан суфи, Заман и Матковул двинулись рядом с груженной арбой. Гулямджан остался один. За калиткой волочили что-то тяжелое. Послышался знакомый, нежный голос: «Возьмите, отец!» Гулямджан тихо приоткрыл калитку и с каким-то священным трепетом шагнул через порог. Проход был длинный. Не дойдя до поворота, девушка обернулась и вскрикнула. Затем быстро закрыла рот рукавом.

Гулямджан не заметил, как у него вырвалось:

— Хаёт моя! — Он протянул руки, сделал шаг и замер на месте. Хаёт стояла, прислонившись к стене, взволнованная, бледная... Уже почти год Гулямджан не видел ее. Хаёт, всегда такая полная, румяная, в течение одного года превратилась в тень — она похудела, увяла.

— Хаёт, что случилось с вами?

Он подбежал к ней, обнял за плечи, поцеловал припавшую к его груди голову, нежно погладил ее волосы, в которых, он заметил, блеснули серебряные нити. От боли, сжавшей сердце, от нахлынувшего горя он закрыл глаза, да так и замер, глядя плечи Хаёт. Хаёт ли это? Да, это была она! Это была несчастная Хаёт, цветок, который иссушили изуверство и деспотизм. — «О боже! — мысленно произнес Гулямджан. — За что ты мстишь мне?»

Хаёт стояла, крепко прильнув к Гулямджану. Тот отнял голову любимой от своей груди, посмотрел в глаза, полные печали. Вокруг глаз — мелкие морщинки, щеки когда-то рдевшие, как намаганские яблоки, поблекли, лицо осунулось, красивые большие глаза еще больше расширились. С сжавшимся сердцем всматривался Гулямджан в изменившееся лицо любимой.

— О боже, зачем мне еще раз суждено увидеть вас! — произнесла Хаёт.

Но в это время из ичکاری донеслось ворчанье старухи Мастан:

— Киш-киш! Проклятые!

Хаёт, вздрогнув, оторвала свою голову от груди Гулямджана.

— Эй, проклятая, куда ты провалилась? Куры совсем поклевали кукурузу! — закричала старуха Мастан.

Хаёт побежала в ичکاری. Гулямджан смотрел ей вслед.

Глава восемнадцатая

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Поздней осенью встречные коридоры соединились. Люди просверлили гору, тоннель стал сквозным.

На торжество высыпало все население Карабулака — от мала до велика. Хор заливающихся на предельных верхах сурнаев, сокрушающий рев карнаев возносили к небу народное ликование. Люди, перегородив Таджиксай мощными сваями, повернули часть воды к тоннелю. Этими работами руководили Гулямджан, Кудрат, Хасан суфи и дед Алим.

Матковул, глядя головы своих ребятишек, говорил, не умолкая.

— Вот, подняли мы воду в свой кишлак. Все готово, как надо. Не пройдет теперь наш кусок мимо рта. И мы тоже получим четыре ганапа землицы, и дядя Заман получит, и все другие бедняки тоже. Засеем озимую, наедемся летом лепешек так, что пузо затрепнит,— говорил Матковул и все гладил детишек по головкам.

— Папа, а кто дал землю?— спросил Урманджан.

— Землю? Землю мы получили благодаря дяде Кудрату...

В ожидании воды все столпились у тоннеля. Вот-вот она появится из темного чрева животворная, бурлящая, холодная... И долгожданный миг настал...

— Вода! Вода! Вода!!!

Все вокруг потрясли радостные крики. Светлая струйка, вытекавшая из темной дыры, всё увеличивалась. Хасан суфи спустился в арык, омыл в новой воде лицо, руки, затем повернулся к людям, заулыбался. Изумрудные капли блестили в его бороде, усах.

Вода все прибывала. Теперь в арык вошли дети. Они забегали, заплясали, разбрызгивая драгоценную влагу. Не отставая от извивающейся струи воды, с веселым го-моном и смехом шли люди вдоль арыка. Но им пришлось идти недолго.

Из кишлака во всю прыть прискакали мингбаши, Тешабай и амины. Все подумали, что они прибыли для участия в общем веселье. Увы! В руках Тешабая была плетка. Указывая ею в сторону тех земель, куда устремилась вода, он громко обратился к мингбаши:

— Эти земли хоким отдал мне. Да будет всем известно! Пусть никто не обманывается на этот счет. Кто хочет — пожалуйста: земля моя — их труд. Одним словом, принимаю на работу батраков. Все слышали?

Мингбаши кивком подтвердил сказанное Тешабаем.

Пораженные люди мгновение безмолвствовали. Затем все зашумели, гневно запротестовали.

— Почему же ваша?

— Кто это чайрикером будет у вас?

— Хоким эти земли от бабушки, что-ли, получил?

— Воду мы провели, а в награду бай землю отымет?

Тешабай грозно нахмурившись, заговорил:

— Воду провели не вы, а мои деньги! Правда, трудись вы. Ну, спасибо вам за это, — он слегка поклонился. — Но поставляя вам и баранов и хлеб, я почти разорился, каждая капля воды обошлась мне в алтын.

Люди неистово закричали, в воздухе замелькали кулаки. Гулямджан не стерпел. Решительно приблизившись к Тешабаю, он схватил его лошадь под уздцы.

— Подлец! — произнес он, дрожа от гнева. — Народ два года истекал кровью, чтобы провести воду, а теперь ты заявляешь: «Воду провели мои деньги:» Подлец!

Тешабай хотел вырвать поводья, но Гулямджан повис на них. Пришпорив коней, к Тешабаю устремились мингбаши, амины, миршабы. Им преградили путь Кудрат, Заман, Хасан суфи, дед Алим и еще несколько джигитов.

Два мира стояли лицом к лицу.

— Опусти поводья! — поспешил мингбаши на помощь своему растерявшемуся зятю.

— Где у вас совесть, бай? Кто эту воду провел?! Почему эта земля твоя? Бессовестный! — кричал дед Алим.

Негодовал и Хасан суфи.

— Проклятье тебе, бай! Да будет проклят час, когда ты родился! Тысячи проклятий! Сколько мук за два года претерпел народ, а вы, проклятые, отнимаете теперь и землю, и воду!

Он умолк. Гнев и обида душили его.

Мингбаши прорвался к Гулямджану.

— Пусты поводья!

Кудрат, с трудом сдерживая охватившую его ярость, лихорадочно думал, как бы предотвратить кровопролитие. Ему понятна была горечь рухнувших надежд.

сила и ярость обманутых людей. Если сейчас дать волю разгневанному народу — вмиг разорвут в куски Тешабая и мингбаши. А что последует за этим? Неужели вся радость обернется несчастьем? Неужели эта пришедшая на поля живительная влага обагрится кровью? Чтобы предпринять?

— Стойте, — обратился Гулямджан к народу, грозно смыкавшему кольцо вокруг мингбаши и Тешабая. Затем устремил взгляд на мингбаши, который, увидев выражение его глаз, невольно осадил лошадь. — Много лет эти земли лежали пустые, испепеленные зноем. Карабулакцы о них говорили: «Человек ступит — нога сгорит, птица пролетит — крылья опалит!» До сих пор никто не мог ни обводнить, не оживить эти земли, и вот теперь бедняки кишлака, измаявшись, провели воду, а вы, не пахав, не посеяв, явились к жатве — мы, мол, хозяева. Нет, никто не стерпит этого! Или эти новые земли отойдут проводившим воду, или они, политые потом, оросятся кровью. Эта бегущая по арыкам вода — пот бедняков! Если не хотите, чтобы она окрасилась кровью, то не троньте ни нашу землю, ни нашу воду!..

— Верно, не троньте нас! — воскликнул Кудрат.

Тешабай несколько испугался и заговорил миролюбиво, заискиваяюще:

— Если вы не довольны решением хокима, то ему и жалуйтесь. Ведь это он приказал отдать мне землю. Ослушаться его приказа никто не смеет. Да и к чему это приведет? Пошлет он карательный отряд, прольется кровь, кишлак будет предан огню...

— Так нам что же, опять хомуты надеть? Лошадьми вьючными сать? — закричал Заман.

Хасан суфи, потрясая посохом над головой, обратился к народу:

— Нет, мы не скот! Мы пойдем к хокиму с мольбой и воплями, потребуем справедливости!

— Вот это другое дело! Можете даже жаловаться самому губернатору. А пока что земля моя, вода моя — и больше ничего я знать не хочу!

Тешабай неожиданно огрел коня плеткой. Конь вздыбился, присел и прыгнул вперед. Гулямджан невольно отпустил поводья. Всадники устремились прямо на людей, которые, рассыпавшись во все стороны, с криком начали

хватать с земли камни. Пронзительно закричали женщины, дети. Кто-то крикнул: «Бей их!» Град камней полетел вслед всадникам. Один из них задел и легко ранил Тешабая, другой, пролетев у самого уха мингбаши, угораздил в шею его коня.

— Бей!

— Кровососы!

— Догоняй!

Продолжая швырять камни, с криком погнались за ними мужчины, дети, несколько конных джигитов. Насильники уже скрылись из глаз, но крик все еще не стихал. Горько плакали женщины. В неистовой ярости они проклинали баев, призывали смерть на головы хокима, мингбаши и Тешабая.

— Ну, будет, перестаньте. Слезами беде не поможешь, — утешал Хасан суфи женщин.

Глаза престарелого деда Алима налились слезами, губы дрожали. Но вот он выпрямился, простер руки и загремел:

— Горькая наша доля! Едва ценой тяжких лишений достигли мы заветной цели, как нас бросили в пропасть. Но мы не должны молчать. Если вы согласны, мы вместе с Хасан суфи отправимся в город к хокиму с жалобой. Пусть он нам или внемлет, или головы отсечет, все равно один конец. Другого выхода нет. Что вы скажете?

Народ зашумел.

— Надо идти!

— Хоким не слушает!

— Не допустит к себе!

— Почему не допустит? Раз начальник, то должен разобратся.

— Если бы разобрался, не отдал бы землю баю! Не ищи правды, еще не родилась она.

— Пусть идут, пусть!

Толпа бурлила и кипела. Люди кричали, спорили, размахивали руками. Наконец заговорил Кудрат:

— Пусть идут! Я тоже пойду! Там в городе посоветуемся с друзьями.

Мужчины уже начали утихать, но женщины все еще плакали. Наконец, смолкли и они. Улыбнувшаяся было надежда на хлеб, воду, сытую жизнь, разрушилась. Опять они жестоко обмануты баями. Снова возникал черный

призрак нищеты и горя, еще более тяжкий и беспросветный сейчас, когда народ истощил на работе все свои силы, все, до последней крупинки. Прозрачная вода, весело бегущая по арке, уже не радовала людей. Не избавление от нищеты, а новое горе несла она с собой.

Глава девятнадцатая

БЕГСТВО

Гулямджан едва дошел домой. Но и здесь его ждало тяжелое испытание. Как только он вошел в пчкарни, мать с плачем бросилась к нему.

— О, несчастный мой сын! Что теперь делать будем, голубчик мой?

Гулямджан растерянно смотрел на мать. А она, не будучи в силах скрыть от сына ужасную весть и боясь, как бы от нового удара у него не разорвалось сердце, плача заглядывала ему в глаза.

— Что случилось? Говорите же!

— О горе, мне! Хаётхон сосватали за миршаба Миркосима!

В глазах Гулямджана потемнело. В ушах загудело так, словно где-то рядом ударили в колокол, сердце, казалось, остановилось.

— А-а-а!..— вырвался, наконец, из груди Гулямджана сдавленный вопль.

Гулямджан медленно сполз на пол. Он долго не мог прийти в себя... Тусклые звезды, только что замерцавшие в небе, запрыгали, закружились в диком хороводе. Земля уходила куда-то вверх, небо опрокидывалось вниз... Гулямджан закрыл глаза, схватился за голову руками. Мать все еще плакала. Через некоторое время Гулямджан спросил:

— Ведь Миркосим не ходжа? Как же сосватали?!

Всхлипывая Хадича рассказала:

— Джурахон надеялась вернуть Азимбая, хоть он ей и дал «стройной» развод. Она решила произвести «хала-ла», потому что после этого она сможет выйти замуж за своего бывшего мужа, если, разумеется, его удастся уломать. Она вышла замуж за Миркосима с тем, чтобы тотчас же с ним развестись. Однако Миркосим нарушил

свое слово и соглашается освободить Джурахон только при одном условии: если ее отец устроит брак с приглашенной ему Хаётхон. Требование Миркосима пришлось по сердцу мингбаши, так как он давно лелеял мечту отомстить Гулямджану. Мингбаши обещал просватать Хаёт за Миркосима, если тот клятвенно подтвердит, что он ходжа. Сали Савук и Джуман-тихоня засвидетельствовали, что Миркосим — ходжа. Кази и имам одобрили все это, и сегодня утром к Хаёт послали сватов. Об этом рассказала мне Турсуну, жена Замана. Через нее же Хаётхон просила передать Гулямджану: «Пусть поскорее придет. Я готова на все».

Хадича и Каромат долго плакали. Посоветовавшись, они решили послать за Гулямджаном...

— Не встретился ли тебе посланец? — спросила сына Хадича.

— Нет, — тихо ответил подавленный Гулямджан. — Она сказала, что готова на все?

— Да. Так передала Турсуну. «Пусть поскорее придет. Я готова на все».

Гулямджан знал, что имела в виду Хаёт, но, чтобы не встревожить мать, промолчал. Он вымылся, оделся во все чистое, и даже не взглянув на дастархан, посланный матерью, вышел, сказав, что скоро вернется.

Ночь была темная. Луна еще не появлялась. Кишлак погрузился в тишину, только изредка доносился далекий лай собак. Когда Гулямджан вышел на улицу, кто-то пырнул в калитку напротив. Гулямджан, погруженный в свои мысли, не придавал этому значения. Скоро он очутился перед домом Замана. Постучался. Появился Заман. Увидев Гулямджана, он сильно встревожился, так как от жены знал о беде, постигшей молодых людей.

— А ну, друг, пройдемте в ичкари, — проговорил Заман и потянул Гулямджана за собой.

Гулямджан вошел в нищенский дворик. Здесь не было ни супы, ни сури. Не видно было даже подстилки. Вместо нее валялся старый мешок из-под хлопка. Заман вынес из дому маленькое ватное одеяльце, усадил на него Гулямджана и после короткой молитвы обратился к нему:

— Слышал я, дружище, про новую беду, которая свалилась на вашу голову.

Гулямджан, словно сжигаемый внутренним огнем, смотрел на Замана воспаленными глазами.

— Вот так, Заман-ака, у каждого своя печаль. Одни страдают от голода и нужды, другие от утраты, разлуки! И вот, думаю я: куда же нам деваться от произвола и подлостей? Как избавиться от них? Есть ли защита для оскорбленных? Неужели так бездонна, так грязна пропасть, в которую мы брошены? До каких пор нам терпеть? Уничтожить бы весь этот проклятый мир со всеми несчастьями и долгами. И разве должны мы радоваться, что все еще живем, что сердце наше не разорвалось? Разве не лучше умереть, чем так жить?

Все это Гулямджан произнес громко, гневно, дрожащим от обиды голосом. Затем, помолчав немного, уже тихо сказал Заману:

— Если ваша жена дома, не может ли она передать Хаёт, что я здесь.

— Жена дома, сейчас ее спрошу, — произнес Заман и, обратившись к дому, громко заговорил: — Турсуной! Расскажи Гулямджану все, что случилось. Не стесняйся. Я тебе разрешаю. Если Гияс кази и старая ведьма Мастан осудили бы тебя за это, то совсем не потому, что они добрые мусульмане. Они-то и есть самые настоящие кяфуры. Можешь гсворить, а еще лучше выйди сюда.

Но Турсуной не показалась перед посторонним мужчиной. Она начала говорить, стоя за дверью, тихим взволнованным голосом.

— Зашла я к ним по делу. Сидим, разговариваем. Вдруг раздался стук в калитку. Открывать пошла мать Хаётхон. Она сразу прибежала обратно и, схватившись за голову, закричала: «Сваты, должно быть!» К калитке помчалась старуха Мастан. Очень скоро она вернулась и говорит: «Пришли сваги, имам и эликбаши, скорее накрывайте дастархан». Хаётхон страшно побледнела. Мать ее прислонилась к стене, спросила: «От кого?», а старуха ответила: «От Миркосима-ходжи». Когда старуха ушла с дастарханом, мы стали думать, кто это Миркосим-ходжа? Откуда он взялся? Ведь в кишлаке у нас не было такого ходжи. Потом мы услышали, как кази говорил старухе: «Клянусь аллахом, что он ходжа. Я хорошо знаю его отца и деда. Они были самые настоящие, весьма почтенные ходжи!» То же самое подтвердил

эликбаши. Дальше мы узнали, что Миркосим-ходжа — это Миркосим урод. А старуха Мастан и говорит: «Слава богу, наконец-то! Пристрою свое бедное дитяtko и успокоюсь». А Хаётхон, как услышала это — разъярилась, подбежала к старухе, стала ее трясти, а сама дрожит и кричит не своим голосом: «Ты, ведьма, только и думаешь, как бы себя успокоить. То выдавала меня за дряхлого старца, а теперь за урода! Если выдашь меня за этого грязного человека, я и тебя и себя убью!» Вцепилась она в старуху. Бьется, колотится, как безумная! Страшно смотреть. Едва уняли ее. Потом бедная девушка зарыдала: «Почему я, несчастная, родилась ходжой?» И мать ее тоже слезами заливается и все причитает: «Господи, боже мой! Одно дитя ты мне оставил, да и ту, несчастной сделал. Есть ли ты на свете? Если есть, то почему ты глух, не видишь наших слез?» Потом обе, мать и дочь, сели и задумались, как бы избавиться от страшной напасти. Хаётхон и говорит: «От ведьмы-бабушки, от мучений, которые она мне готовит избавлюсь только смертью или бегством» А мать ей: «Надо сообщить Гулямджану, пусть сегодня же бежит с тобой. Я даю вам свое благословение. Не могу я больше мучиться, на вас глядя. Эта старуха и сына своего преждевременно в могилу вогнала. Беги моя дочь, беги совсем! Где бы ты ни была, моя молитва будет с тобой. Пусть бог пошлет тебе счастье!»

Воцарилась тягостная тишина. Никто не решился нарушить молчание. Гулямджан сидел подавленный.

— Как бы мне увидеться с ней, поговорить...

Заман обратился к жене:

— Турсуной, нельзя ли сходить к Хаётхон?

— Я сейчас же к ней побегу,— ответила Турсуной.

Она накинула на голову что-то первое попавшееся под руку, проворно юркнула мимо мужчин. Заман кликнул через забор Барат-палвана. Тот сразу же пришел хмурый, суровый. О сватовстве Миркосима он уже знал от Ширмахон. Как и Заман, он кипел негодованием. Увидев Гулямджана, Барат-палван сразу же заговорил:

— Довольно вы ждали, кари, честь и хвала вам за ваше терпение. Но у другого на вашем месте оно бы уже давно лопнуло. Нелегко джигиту столько ждать и томиться. А теперь — хватит! Теперь можете не смущать-

ся. Никто вас осудить не может: ни люди, ни закон. Да о бедной девушке подумайте. Вдь она совсем извелась. Чего же еще вы ждете? Чтоб сердце ее вконец сгорело? Пожалейте, наконец, свою невесту. Берите ее и удирайте, сегодня же! Другого выхода нет.

Густой голос Барат-палвана, наполнивший маленький двор, влил в душу Гулямджана уверенность. Он почувствовал, что сейчас в минуту тяжелого испытания, не одинок, что его окружают и готовы ему помочь любящие его, преданные друзья. Это окрылило его, он взглянул на Барат-палвана, а затем на Замана. Тот, прочитав в глазах друга молчаливый вопрос, тотчас же откликнулся:

— Верно говорит Палван, другого выхода не осталось. Вы должны исчезнуть из кишлака сегодня же, до рассвета.

Когда Турсуной явилась с матерью Хаётхон, мужчины уже пришли к единому решению. Они только ждали согласия женщин.

Матери Хаёт ничего не оставалось, как молить бога о благополучном исходе затеянного побега. Решено было, что проводят молодых в далекий опасный путь Заман, Барат-палван и обе матери. Они доведут джигита и девушку за пределы кишлака, а уж там предоставляют их неизвестной судьбе. Провожание молодых людей, соединивших свои жизни, нисколько не будет походить на самое скромное свадебное шествие, которого удостоиваются даже и горемычные бедняки. Нет. Здесь не будет свадебных песен...

Когда Гулямджан ушел, кто-то скрывавшийся за деревом поспешил вслед за Гулямджаном, но потом незамеченный, юркнул в мечеть.

Было еще не поздно, люди не спали. Гулямджан, пройдя гузар, свернул направо. Ему все чудилось что за ним кто-то следит. Он несколько раз сбернулся, но никого не заметил. Луна еще не взошла. Придя к себе, он некоторое время постоял за калиткой, взволнованный, настороженно прислушиваясь. «Наверно, померещилось»,— решил он. Он запер калитку на цепочку и ушел в ичкари.

...Ночь. Кишлак погрузился в сон. Доносятся обычные звуки затихающего перед сном селения. Лают собаки. Одна из них скулит и воет, другая заливается визг-

ливо, яростно. Без умолку трещат кузнечики. Кричит сова...

Гулямджан, Хаёт и провожающие их, тихо беседуя, шли прямо через поле. Мужчины — впереди, женщины — позади. Изредка раздавался приглушенный счастливый смех Хаётхон. Сердце Гулямджана, от волнения было готово выскочить из груди. Его удары отдавались в ушах: «Быстрее! Быстрее!»

С дороги донесся конский топот.

— Что за черт! Кому это понадобилось, скакать в полночь? — подумал Барат-палван. Он шел, прихрамывая. Во время работы в тоннеле ему на ногу упал камень. Два поврежденных пальца — вот и вся награда за работу. Сейчас большие пальцы с каждым шагом все больше давали себя знать. Барат-палван постепенно отставал.

— Палван-ака, вас нога тревожит? — обернулся к Барату Заман.

— Да нет, пустяки.

— Может, вам лучше вернуться, а то рана воспалится, потсм и не вылечишь. Черт бы побрал этот камень! Идите лучше домой, да ложитесь отдыхать.

Барат-палван, улыбаясь, ответил:

— Есть кажется, у казахов, поговорка: «Только тогда и отведаешь мяса, когда занемогшую скотину поневоле зарежешь». Вот так и мы: наше время отдыхать придет, когда ляжем в могилу, а до этого нам нельзя не двигаться.

Так, тихо беседуя, небольшая группа людей достигла вершины высокого холма. По одну сторону его, на юге — дремал погруженный в темноту Карабулак, на севере — простиралась беспредельная степь с невысокими холмами, тянувшимися к западу.

— Ну, дорогие друзья, — произнес Гулямджан срывающимся голосом. — Прощайте! Не забывайте нас...

Женщины тоненько заплакали. Хадича прежде всего бросилась к Хаётхон, судорожно сжала ее в своих объятиях, осыпала поцелуями ее лицо и глаза. Затем она обратилась к Гулямджану... Прощание было долгим и тяжелым.

Гулямджан взвалил себе на плечо завернутые в большой кашгарский войлок одеяло и подушки, а Хаёт под-

няла с земли узел. Молодые люди стали спускаться вниз. Вскоре они исчезли из виду. Провожающие еще долго вглядывались в безмолвную тьму, мысленно следуя за двумя предоставленными самим себе молодыми, счастливыми и беззащитными людьми, ушедшими в глущую почву, в бескрайнюю степь...

Гулямджан долго шел молча, не в силах произнести ни слова. Ему хотелось сбросить с плеч ношу и закричать во весь голос: «Я счастлив, я свободен!», хотелось броситься к идущей рядом с ним любимой, сжавь ее в объятиях. Ноги его заплетались. Он едва разбирал, куда шел. Кровь стучала в висках. Он смотрел на дорогого человека, который шагал рядом с ним, и все никак не мог поверить, что это не сон.

И Хаёт не верила, что шагающий рядом Гулямджан вот сейчас в это мгновение, когда подымающаяся луна освещает призрачным светом холмистую степь, не сон, не бред, не мечта... И разве так сразу можно поверить, что неотступные сладкие мечты и сновидения, томившие девушку вот уже сколько лет, неожиданно превратились в реальность.

Как часто в своих мечтах она видела себя рядом со своим возлюбленным в саду, среди цветов, при ярком солнце, веселой, пьяной от счастья, и как вслед за этим она неизменно возвращалась к печали, к безнадежности. Так не грезит ли она и сейчас? Правда, сейчас нет ни сада, ни цветов, ни солнца. Но ведь может же присниться вот такая, освещенная луной, степь?

Хаёт сняла с себя паранджу. Она свернула к подножью холма. Гулямджан сбросил свой груз. Хаёт положила на землю узел. Два стосковавшихся сердца прильнули друг к другу.

— Неужели, наступил наш рассвет, Хаёт? Теперь мы птицы, что вырвались из клетки. Мы можем лететь туда, куда понесут нас наши крылья. Мы можем сесть там, где найдем счастье.

Хаёт, положив голову на грудь любимого, словно чутко прислушивалась к своему счастью: «Никакая мечта, никакой самый дивный сон не могут дать и малой части настоящего, действительного, земного счастья», — думала она. Гулямджан нежно гладил, целовал ее темные волосы, вдыхал их аромат.

...Цокая копытами, к городу промчался какой-то всадник. Хаёт подняла голову, посмотрела, но всадника разглядеть не смогла. Снова они сидели и шептались, забыв, что их ждет дорога, что они беглецы. Будто и не было никакой опасности. Гулямджану неожиданно вспомнилась песня, которую тихо пела Хаёт, когда ждала его в доме Гулямджана. Мелодию он запомнил, а слова забыл. Гулямджан стал вспоминать слова песни:

— Когда щеки загорелись тюльпаном... помни ты это...
...То мгновенно, когда, заглядывая в глаза... призналась...
Сколько благородства, чистоты,— задумчиво произнес Гулямджан и внезапно рассмеялся.— Уж не мне ли ее посвятила?

— А то как же!

Хаёт сильнее прижалась к любимому.

— Хаёт моя,— произнес Гулямджан, прижимая любимую к своей груди.— Пока я живу, вы в моей душе. Мысли и мечты мои только о вас. Я живу ради вас, я живу вами, моя Хаёт! Пусть эти мои слова будут клятвой! Если буду умирать, то последнее, что я произнесу, будет ваше имя Хаёт.

Когда волнение влюбленных несколько унялось, Гулямджан попросил:

— Спойте мне свою песню.

— Не будете смеяться?

— Нет.

Хаёт тихонько запела, не отнимая головы от груди любимого:

Свиданья первого счастливые мгновенья не забудь,
И клятвы жаркие в минуту откровенья не забудь,
В твои глаза глядела я, ты в них согласен читал,
Мою покорность, милый друг, мое смущенье не забудь.
Какие муки принесла разлука долгая с тобой,
Я так страдала! До краев душа наполнилась тоской.
Любви кристальной, о Гулям, я так хотела бы испытать,
Чтоб в час разлуки роковой глаза спокойными закрыть.

Снова послышался цокот копыт на этот раз со стороны города. Он оборвался неподалеку от ложбинки, где спрятались беглецы. Гулямджан почувствовал смутную тревогу, но тут же успокоил себя: «Остановился, наверное, на минутку и сейчас поедет дальше». Девуш-

ку тоже охватила тревога. Она молча смотрела на Гулямджана. Гулямджан приник к земле, пополз к вершине холма. Сверху он увидел коня, который стоял посреди дороги. Всадник, чуть приподнявшись в седле, озирался по сторонам. Сердце Гулямджана тревожно заколотилось. Всадник сделал еще несколько шагов, потом остановился и снова начал озиаться по сторонам. Несомненно, он кого-то искал. Послышался цокот копыт, и на дороге со стороны города появился еще один всадник. Гулямджан поманил к себе Хаёт. Девушка осторожно подползла. Всадники о чем-то переговаривались.

Тревога и смятение все больше охватили беглецов.

— Кто они, а? — прошептала Хаёт.

— Не знаю. Уж не нас ли ищут?

Хаёт пришла в ужас.

— О боже!

Всадники довольно долго стояли, тихо переговариваясь. Затем один из них поскакал к кишлаку, а другой повернул коня в сторону города. Оба они скоро скрылись из виду. Гулямджан и Хаёт вернулись к подножью.

— Что нам делать, продолжать путь или побыть здесь? — раздумывал Гулямджан.

Смутные догадки тревожили его душу.

— Это, наверно, грабители, — дрожащим голосом произнесла Хаёт. — Заберут наши вещи, а нас, может быть, не тронут.

Гулямджан пожалел о том, что не вооружился хотя бы ножом.

— Эх, ничего у нас нет с собой.

— Может быть, камни собирать? — растерянно произнесла Хаёт.

— Верно! А есть ли здесь камни? Пойщу-ка.

Гулямджан нашел всего два камешка, но и те были не больше куриного яйца каждый.

— Может быть, мы спрячемся куда-нибудь в более укромное место? — спросила Хаёт.

Гулямджан пошел искать такое место. Он долго не возвращался. Хаёт сидела в тревоге. Луна уже прошла больше половины своего пути, стала скрываться за холм.

Хаёт внезапно увидела на вершине холма всадника. Она быстро накрыла своей паранджой выделявшийся белизной узел, и сама легла рядом с ним. Всадник ехал прямо к Хаёт. Сердце девушки, казалось, вот-вот разорвется, но когда до Хаёт осталось пятьдесят шагов, всадник, к счастью, свернул в сторону и помчался к городу. Кто этот всадник? Видел ли он Хаёт? Что ему нужно здесь в такое позднее время? Кого он искал? И что с Гулямджаном случилось? Почему он не приходит?

Наконец прибежал Гулямджан. Он был взволнован: оказывается, всадник проехал в нескольких шагах от него, скрытого в тени.

— Теперь надо перебираться через холм. Там уже нас нелегко будет найти.

Беглецы зашагали вверх по склону холма. Хаёт едва поспевала за Гулямджаном. Холм был высокий. Не одолев и половины, они прерывисто задышали — сказывались и ноша и волнение.

До вершины было еще далеко. Решили передохнуть. Но как только они присели, со стороны города с громким топотом прискакали пять всадников. Беглецы прижались к земле. Всадники, помешкав, направили коней шагом к холму, где укрылись беглецы. Через несколько минут донесли их голоса.

— Бежали.

Гулямджан узнал по голосу Джумана-тихоню.

— Видимо, тебе черт померещился! — произнес второй.

Гулямджан узнал голос Миркосима миршаба. Все было ясно: это искали их.

— Если они ушли вниз, мы бы увидели их. Они, видать, бежали наверх и должны быть где-то здесь, — раздался голос Сали савука.

Хаёт задрожала мелкой дрожью:

— О боже, что нам делать?

— Их пять человек, нас... У них плетки, у миршаба сабля. Нам лучше лежать неподвижно. Двинемся — заметят наши силуэты. Они ждали нас на развилке. Наверное, следили за мной еще в кишлаке, но потом утеряли след. Я ведь пробирался не улицей, а через сады и заборы. Когда я возвращался от Турсуной, мне показалось, что кто-то следит... — Лихорадочно шептал Гулям-

джан, но Хаёт ничего не слышала. «Ах, боже мой! Боже мой!»— непрерывно шептала она.

— Что поделаешь! Вылетели мы из клетки, но не далеко... У нашего счастья короткая жизнь! Если такова наша судьба, то проклятье тому, кто ее нам предназначил!— глухо произнес Гулямджан. Затем он взглянул в лицо Хаёт:— Давайте Хаёт, я прижму вас к своей груди, взгляну в глаза даровавшей мне жизни! Такое большое и такое короткое счастье.

Хаёт заплакала, но это были слезы не страха, а жгучей обиды.

Хаёт бросилась в его объятия. Топот коней приближался. Гулямджан впервые в жизни, вопреки обычаю, поцеловал Хаёт в губы. Близилась минута страшной разлуки.

— Вот они! Здесь лежат!— радостно закричал Джуман-тихоня. Гулямджан вскочил. Он задыхался от переполнявшего его гнева и презрения к этим тварям, недостойным называться людьми. Его охватила отчаянная отвага человека, идущего на смерть. Он почувствовал огромный прилив мужества. Ему нечего было терять. Он был готов встретить любую опасность, сразиться с любым врагом.

На какое-то мгновение перед его взором возникли его друзья: Заман, Барат-палван, Кудрат, Матковул. Они словно стояли рядом и говорили: «Ты не одинок. Мы с тобой!» Мускулы Гулямджана налились силой. Он стоял, полный решимости победить или умереть, но не сдаться. Всадники все больше сжимали кольцо вокруг беглецов. А они, прижавшись друг к другу, стояли неподвижно.

Луна уже давно зашла. И в наступившей темноте беглецам отчетливо представился страшный оскал приближающейся смерти.

— Эй, ты, собака кари! Куда это ты хотел увести чужую жену?— издевательски прокричал Миркосим миршаб.

Гулямджан крепко прижал к себе Хаёт, загородив ее своим телом.

— Заткни свой грязный рот! Хаёт принадлежит мне!— произнес Гулямджан тоном, в котором были и гнев, и отвращение, и лютая ненависть.

— Вы слышали? Раньше он хотел опозорить честную жену Азимбая, а теперь покушается на жену Миркосима-ходжи. Ах ты, богом проклятый!— закричал Сали савук, стегнув коня.

Гулямджан не стал ждать нападения. Он первый бросился на врага. Подскочив к коню, он схватил узду... Но в это время кто-то сзади обрушил на его голову страшный удар.

Хаёт дико закричала. Гулямджан отпрянул назад. Миркосим урод занес плетку для второго удара, но Гулямджан, ловко увернувшись, высоко подпрыгнул, вцепился в Миркосима и стащил его с лошади. Тут на Гулямджана посыпались удары плетей. Но он, казалось, не чувствовал их. Прижав к земле Миркосима, он сдвинул ему горло пальцами. Вытарщенные глаза Миркосима полезли на лоб. Он захрипел. Но на Гулямджана набросилось еще трое. Они пытались освободить Миркосима. Однако тело Гулямджана как будто стало бесчувственным. Его пальцы продолжали сжимать горло Миркосима.

Хаёт с воплем бросилась на Сали савука. Норовя выцарапать ему глаза, она окровавила ему лицо. Сали савук ударом кулака в грудь опрокинул девушку на землю и принялся сечь ее плетью.

Хаёт закричала.

Гулямджан, душивший Миркосима, обернулся на крик и, увидев, как безжалостно Сали савук стегает Хаёт, бросился ей на помощь. Одним ударом он свалил Сали савука на землю, затем вырвал из его рук плетку и передал ее Хаёт.

— Не давайте ему подняться, бейте!..

Не успел Гулямджан договорить, как сзади на него навалился Джуман-тихоня. Гулямджан отшвырнул его и приготовился встретить двух других. Но в это время он почувствовал нестерпимую боль в глазах, словно по ним полоснули ножом. Прикрыв руками глаза, он пошатнулся. Еще несколько секунд — и Гулямджан перестал чувствовать все те многочисленные удары, которые обрушились на него озверевшие преследователи.

Он уже не слышал, как звала его Хаёт, не видел, как отчаянно она билась, пытаясь вырваться из рук Джумана...

Глава двадцатая

И В ГОРОДЕ

Три путника вошли в город, как только начало светать. Это были дед Алим, Хасан суфи и Кудрат. Город еще не совсем проснулся, но уже встречались люди в промасленной одежде. Пройдя под железнодорожным мостом, путники пошли прямо к Чархипалаку¹. Кудрат сходил на базар и вернулся оттуда с виноградом и лепешками. Позавтракали в чайхане, постепенно наполнявшейся людьми. Напившись чаю, Кудрат обратился к старикам:

— Вы никуда не уходите. Ждите меня здесь!

Выйдя из чайханы, он направился обратно в сторону железнодорожного моста, остановился у калитки одного из домов, толкнул ее. Калитка была заперта. Кудрат по-

стучал. Через минуту калитку отворила пожилая русская женщина.

— А, это ты Кудрат, входи, сынок,— приветливо сказала женщина.

— Ольга Петровна дома?

Старуха, перешагнув через порог, вышла на улицу. Посмотрела по сторонам и сказала почему-то шепотом.

— Нет ее, милый.— Затем, словно жалуясь на кого-то, проговорила:— С тех пор, как она ушла, неспокойно у меня на душе. Вчера в депо троих забрали. Как бы и Ольга не попалась.

Кудрат встревожился:

— А куда она ушла?

— Сказала, что на завод какой-то, запомновала я.

— Симхаева?



¹ Чархипалак — гузар в Андижане.

— Нет.

— Фатильхова?

— Нет, как будто какого-то Миро... Мико...

— Миркомила?

— Вот этот самый.

— Так я тогда пойду на завод Миркомила. Если мы разминемся и она придет домой, то скажите, что я просил подождать меня. Есть срочное дело.

Когда Кудрат через деревянные ворота вошел во двор завода, он опешил. В глубине двора, около высокой груды мешков с хлопком, стояла большая толпа. Она внимательно слушала стоявшего на возвышении оратора.

— ...Подыхать нам, что ли! С утра до ночи таскаем тюки, аж хребет трещит, а за что? За одну таньгу!

— Ни поесть, ни одеться,— поддержал оратора какой-то кашгарец.

— А что детям кушать? Ведь не хватает! Ни себе, ни детишкам! Как же нам жить?— закричал какой-то узбек, привязавший себе на спину что-то вроде седла для переноски тюков.

К узбеку присоединился таджик, высокий и, должно быть, сильный. Он гневно и энергично заговорил:

— Мы из Бадахшана. Дети остались у нас там. Мы приехали, чтобы немножко заработать. А тут мы получаем много работы и совсем мало денег. Тут не то что детям, самим едва хватает.

Человек вышел из заводской конторы и направился к собравшимся. Это был сам Миркомил. Увидев его, люди зашумели, заволновались.

— Пусть нам все выплатят, а не то бросим работу!

— Ишак и тот не работает по шестнадцать часов!

Миркомил приблизился к людям в сопровождении двух миршабов. Он взобрался на один из мешков. Надменный, хмурый и злой, он терпеливо подождал, чтобы толпа утихомирилась. И когда все смолкли, процедил сквозь зубы:— Что за галдеж?

Люди снова закричали. Возмущенные возгласы слились в общий гул. Рабочий-оратор, стоявший на возвышении, поднял руку и, когда толпа стихла, обратился к Миркомилу:

— Здесь никто не галдит. Здесь рабочие требуют деньги за свой труд!

Миркомил поморщился, негромко спросил:

— Кто ж не дает им заработка?

— Вы, каждый день заставляете работать по шестнадцать часов, а даете всего только одну таньгу. Разве это не грабеж, хозяин? Есть ли у вас совесть? Как рабочему прокормить детей? Вы посмотрите на этих бедняков. Они пришли на ваш завод с Кашгара, Бадахшана, пришли с надеждой заработать что-нибудь для своих детей. А как жить на одну таньгу?

— Прекрати болтовню!— прервал рабочего Миркомил.— Ты что мутишь людей? Из-за таких, как ты, завод уже десять дней стоит. Из-за таких, как ты, люди будут голодать! Начинайте работу!

— Пока не сократишь рабочий день и не повысишь плату, работать не будем!— выкрикнул кто-то из толпы.

— Не будете?

— Не будем.

— И завод твой подожжем!— угрожающе крикнул высокий таджик.

Миркомил хмуро взглянул на оратора, а затем кивнул старшему миршабу. Тот выбежал на улицу.

— Значит, не будете работать?!

— Не будем!

— Эй, мусульмане, честно предупреждаю, не лезьте в беду. Принимайтесь за работу по-хорошему, а не то...

Миркомил не успел закончить, как послышался цокот копыт. В ворота ввалился отряд конных казаков. Люди засуетились, начали разбегаться. Но казаки настигали бегущих и обрушивали на них свои нагайки. Несколько рабочих вступили в неравную борьбу. Они стащили с коней двух казаков. Были пущены в ход кулаки. Началась свалка. Но вооруженные казаки одолели. Через полчаса двор завода опустел. Были задержаны несколько человек. Миршабы увели их со связанными руками.

Глава двадцать первая

СВЯЩЕННАЯ КЛЯТВА

Когда Кудрат вместе со стариками явился к Ольге Петровне, был уже десятый час. Кузнец, подойдя к веранде, дал о себе знать легким покашливанием. Зана-

вес на одном из окошек, выходящих на веранду, зачехлился, и через некоторое время дверь отворилась. На пороге появилась Ольга Петровна. Она была в шерстяном платье, в пуховом платке. Ее лицо было печально.

— Пожалуйте, Кудрат-ака, и вас, аксакалы, прошу зайти,— пригласила она пришедших.

Кудрат со стариками вошел в комнату. После обычных расспросов о здоровье, Ольга Петровна спросила:

— Что-нибудь случилось?

Этот вопрос был вызван выражением озабоченности на лице Кудрата. Кузнец взглянул на Ольгу Петровну. Она заметно похудела и побледнела. На ее лице появились морщинки.

— Случилось, Ольга Петровна. Дела из рук вон плохи,— ответил Кудрат.

— Что же все-таки?

— Тешабай захватил и землю и воду.

— Неужели?

После долгого молчания Ольга Петровна сказала:

— Говорила же я вам, что он, в конце концов, покажет свои зубы.

— Да, вы оказались правы! Вот старики пришли искать защиты. Народ их послал. Но прежде чем идти к хокиму, мы хотели посоветоваться с вами. Мы уже были у вас утром, да не застали. Бабушка сказала, что вы, должно быть, ушли на завод Миркомила. Я пошел искать туда, а там рабочие целый бунт подняли.

— Что там? Ведь они уже десять дней как не работают.

Миркомил не согласился на требования рабочих и вызвал казаков. Потом началась схватка.

— Была стрельба?

— Нет, но рабочих били нагайками. Схватили и убили Ботыр-ака и одного таджика по имени Шокарим.

— Три дня назад были волнения и в депо. Там пять человек арестовали.

— Везде у людей душа подступила к горлу, доченька!— произнес Хасан суфи.

Ольга Петровна согласно кивнула.

— Верно, аксакал. Сейчас в России все бурлит. Рабочие, несмотря на преследования и террор, все смелее встают на защиту своих прав, все чаще бастуют. Вслед

за ними поднимают головы и крестьяне: Они бунтуют, восстают против помещиков, поджигают их имения. Все это неспроста.— Ольга Петровна внезапно спросила:— Вы слышали, что сделали джалалкудукские бедняки?

— Да, да, они захватили земли, присвоенные мечетями.

— Вот!— засияла Ольга Петровна. — На первый взгляд как будто пустяк, но дело это большое. Подумать только, неграмотные, забытые бедняки-дехкане отняли у мечети земли! Какая смелость! Переполняется чаша терпения и у дехкан! И они начинают понимать, кто их враг. Да это и неудивительно, если их безжалостно обманывают и обируют чиновники царя, баи, духовники. У корейцев есть поговорка: «И червячок зашевелится, если его прищемить». А ведь человек — не червяк. До каких же пор ему жить хуже червяка?

Лицо Ольги Петровны порозовело. Она подошла к графину, налила в стакан воды, выпила. Кудрат наблюдал за ее нервными движениями.

— Вот какое дело произошло в Джалалкудуке!— закончила Ольга Петровна и, снова увлекшись, продолжала.— А слышали вы о том, что сделал Намаз, сын Примкула, из Самаркандского уезда?

— Нет. А что?— спросил Хасан суфи.

— О, он молодец! Он настоящий молодец! Объединил всех бедных дехкан. Они отбирают у богатеев зерно, имущество...

— Отбирают?!— воскликнул изумленный дед Алим.

— Да. Они отбирают награбленное и возвращают все законному владельцу — народу.

— А земля как же?— спросил Хасан суфи.

— Это очень важный вопрос. Ведь дехканин без земли не дехканин. Но они, говорят, уже начали отбирать и землю у баев, кази, ишанов...

— Вот это джигиты!— вне себя от восторга воскликнул Кудрат.

— Они действуют решительно и смело: жгут дома всех, кто им сопротивляется, а некоторых, самых враждебных баев, убивают.

— Пошли им бог удачи!— молитвенно произнес Хасан суфи.

Ольга Петровна продолжала:

— Чаша терпения народа переполнилась. Товарищ Морозов известил нас о событиях в Самарканде и настаивает, чтобы мы и здесь кое-что сделали. Двадцать девятого октября мы провели стачку рабочих. Напуганные заводчики, баи и городские власти обещали удовлетворить требования рабочих, но не прошло и трех дней, как начались массовые репрессии. По поступившим сведениям и в некоторых сельских местностях начались аресты. Нужно думать, что эта волна не минует и ваш кишлак.

— У царя тюрем хватит, Сибирь широка,— заметил Кудрат.

— Так вы, значит, намерены идти с жалобой к хокиму?— обратилась Ольга Петровна к старикам.

— Да, мы пойдем к хокиму,— ответил Хасан суфи.— Ведь он, когда был у нас в кишлаке, ясно, при всем народе, сказал Тешабаю: «Пустующие земли раздать тем беднякам, которые будут проводить воду!» Тешабай не исполнил приказа хокима. Вот мы и идем к нему жаловаться.

— Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого,— неуверенно произнесла Ольга Петровна. Затем внезапно взглянула на Кудрата:— Вы тоже пойдете к Фишману?

— Думаю, что пускать одних стариков нельзя.

— Это, конечно, верно, но с другой стороны...— Ольга Петровна явно колебалась.— Рискованно вам идти. Кудрат ложал плечами.

— В нашем деле без риска нельзя.

В это время кто-то постучал в дверь.

— Мишенька, это ты?— спросила Ольга Петровна.

— Да.

— Ну заходи,— ласково проговорила мать. Миша зашел, вежливо поздоровался с гостями.

— Здравствуй, дорогой, здравствуй, Мишенька.— Кудрат поцеловал мальчика в лоб. Дверь снова открылась.

— А вот и Дилшод,— кивнул Миша на вошедшего мальчугана.

— Ассалям,— поздоровался тот.

Кудрат, кое-что слышавший о Дилшод, обрадовался:

— Ты не сынок ли уста Бахрама?

— Да, я сын уста Бахрама. Откуда вы меня знаете?

— Как же не знать такого героя. Ну как твои пятки? Зажили?

В этом удивительном доме, где русский и узбекский мальчики жили, как родные братья, равными правами пользовались и родная речь каждого из них. Ольга Петровна в совершенстве владела тем и другим языком. Миша, общаясь с узбекскими ребятами, довольно бойко изъяснялся по-узбекски, все больше и больше овладевал русским Дилшод.

— Так ты, сынок, пришел к Мише в гости?— спросил Кудрат, поглаживая Дилшода по голове.

Дилшод хотел было ответить, но его опередил Миша.

— Почему в гости? Он у нас живет!

— Живет?— удивился Кудрат. — Неужели? Значит, ты уже, наверно, и по-русски разговариваешь?

— И очень неплохо,— ответила за Дилшода Ольга Петровна.

Кудрат, увидев Дилшода, тотчас вспомнил Тутикиз, о которой много слышал от Гулямджана.

— А как поживает твоя сестра? Растет?

— Растет и учится!— не без гордости ответил Дилшод.— Правду я говорю, Миша?

— Правда!— подтвердил Миша.— Дилшод учит Таню. Она уже умеет читать, писать. Старается!

Кудрат обнял детей и, заглянув в их открытые ясные глаза, сказал:

— Растите, мужайте, ребятки!.. Да только поскорей!— с улыбкой добавил он и снова стал серьезным.— Ведь вы — наша надежда, наши будущие помощники. Народ нуждается в вас. Вы понесете ему свет и знание. Помните, что только беззаветная любовь к простым людям, к народу, может принести счастье и ему и вам. Любите друг друга, живите, как братья родные!

Дети слушали внимательно, хоть и не все поняли из того, что говорил им большой человек с черными от копоти руками. А Кудрат, как бы устыдившись, что так взволнованно излил перед детьми свои затаенные мысли, добавил шуточно:

— А драться не будете?

— Не будем!— одновременно ответили оба мальчика.

— Дружить будете?

— Будем!— последовал ответ.

— Пусть будут долгими ваши жизни, священной ваша дружба, аминь,— торжественно произнес дед Алим.

Когда мальчики, попросившись, вышли, начали собираться и гости. Перед тем как уйти, кузнец неожиданно замешкался. Он взглянул на портрет мужа Ольги Петровны и спросил:

— Есть ли какие-нибудь вести от Владимира Васильевича?— спросил он.

Ольга Петровна внезапно побледнела и тихо ответила:

— Есть, но больше не будет... По милости Рождественского он погиб в Цусимском бою.

Глава двадцать вторая

РАСПРАВА У ХОКИМА

Резиденция хокима находилась в одноэтажном кирпичном здании, в новой части города. Кудрату это здание было знакомо, поэтому он довольно скоро привел к нему деда Алима и Хасана суфи. Этим двум старикам, верившим в бога и справедливость, казалось, что высокое лицо, облеченное властью наказывать и миловать, должно внять их законному требованию. Ведь дело их ясное. Они напомним хокиму о его распоряжении, расскажут, сколько мучений стоило народу провести воду, доложат о поведении Тешабая, тем более наглom, что он клеветает на хокима. Справедливость восторжествует, а мошенник Тешабай будет наказан.

У входа стоял навтыжку казак с саблей, в высокой папахе. Кудрат подошел к нему и объяснил, по какому делу и к кому пришли ходоки. Казак равнодушно оглядел пришельцев и вызвал адъютанта хокима. Тот со скучающим видом выслушал бессвязный доклад казака и, не дав Кудрату раскрыть рот, скрылся в одной из комнат длинного коридора. Через пять минут адъютант вышел, почему-то весело ухмыляясь.

— Войдите!— обратился он к пришедшим.

Кудрат и почтительно склонившиеся старики вошли в коридор. Проведя ходоков мимо длинного ряда дверей, адъютант остановил их перед широкой, высоченной дверью, у порога которой стоял внушительного роста казак в барашковой белой папахе, с кривой саблей и лихо

закрученными пышными усами. Адъютант, оставив пришельцев в коридоре, скрылся за дверью, плотно закрыв ее за собой. В дальнем конце коридора со стороны улицы появились еще три казака. Старики невольно забеспокоились. Да и мог ли иначе чувствовать себя проситель у особы, хоромы которой окружены ореолом таинственности, а стража производит столь грозное впечатление.

Старики, едва сдерживая волнение, обдумывали слова, в которых они выразят свою жалобу, попросят защиты.

Адъютант все еще не показывался. Дед Алим, наклонившись к Кудрату, прошептал:

— Что случилось? Куда он пропал?

— Наверное, их сиятельство почивают,— усмехнулся кузнец.

Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем снова появился адъютант, на этот раз сухой и строгий.

— Входи!— небрежно кивнул он на открытую дверь.

Кудрат почтительно уступил дорогу старикам. Первым прошел дед Алим. Вошедший вторым Хасан суфи едва не наскочил на неожиданно замершего на месте деда Алима. Оглядевшись, он, а вслед за ним и Кудрат, застыли от изумления. В большом роскошно убранном кабинете их поразили не богатые ковры, не диковинные украшения, не мебель, сверкающая лаком и позолотой,— нет, как удар грома среди ясного неба, их поразило присутствие Тешабая, который, улыбаясь, сидел рядом с Хокимом. Вывел путников из оцепенения адъютант. Он довольно бесцеремонно подтолкнул их вперед. Не успели сбитые с толку ходоки сделать несколько робких шагов, как у двери встали два здоровенных казака.

Хоким восседал за огромным письменным столом. При появлении просителей он медленно поднял голову, сощурился, внимательно оглядел их. Затем нахмурился, задвигал белесыми бровями, изобразил на своем лице крайнее недоумение. Хасан суфи заметно оробел. Ноги деда Алима, словно их свело судорогой, подогнулись. Только Кудрат, оправившись от удивления, стоял спокойный. Хоким грузно поднялся с кресла и, заложив руки назад, почти вплотную подошел к жалобщикам.

Тешабай, сидя в глубоком кресле, разглядывал прибывших земляков с каким-то веселым любопытством.

Хоким, уже с минуту неподвижно смотревший на пугников своими рыбьими глазами, холодно и тихо процедил:

— Ну?

Голос и интонация не предвещали ничего хорошего. Напуганные старики растерянно молчали. Их сиятельство повысил голос:

— Ну-у! Я слушаю!

Наконец Хасан суфи дрожащим голосом вымолвил:

— Мы с жалобой, таксыр.

Хоким, словно услышав удивительную новость, переспросил:

— С жалобой?

— Да, с жалобой, таксыр,— согнувшись в поклоне, тихо произнес дед Алим.

Хоким обратил свой взор к Кудрату:

— А ты?

Кудрат без тени смущения ответил:

— Мы по одному делу, господин начальник.

Хоким вернулся к письменному столу, не торопясь взял из красивой коробки сигарету, сунул ее в угол сверкавшего золотыми зубами маленького рта, нажал курок пистолета-зажигалки, прикурил, глубоко затянулся и, запрокинув голову назад, пустил несколько колечек дыма. Затем, словно в кабинете никого не было, принялся непринужденно расхаживать. Через минуту он внезапно остановился перед Кудратом и снова процедил:

— Ну-у!?

Кудрат гневно сверкнул глазами. Дед Алим согнулся еще ниже и опять сказал:

— У нас жалоба, таксыр.

Хоким кивнул головой — дескать, говори. Дед чуть выпрямился, тяжело вздохнул и начал:

— Таксыр, в великих муках мы открыли путь воде, как вы приказали, через нутро высокой горы. Хотели мы оросить и засеять пустующие земли, а Тешабай хочет забрать у нас и воду и землю. Молим вас о справедливости,— и дед Алим низко поклонился.

— Вы сами велели дать землю беднякам, которые проведут воду,— сказал Хасан суфи и тоже поклонился.

— Ха!— внезапно произнес хоким, а затем, помолчав, засмеялся.— Ха-ха-ха!— Вслед за его сиятельством зэ-

смеялись сперва Тешабай, а затем стоявшие у двери казак. Хоким давился смехом. Он хватался за живот и взвизгивал так, будто его щекотали.

— Я! Ха-ха-ха! Велел дать землю? Ха-ха-ха! Ты слышишь, Тешабай? Ха-ха-ха! Хозяева нашлись. Ха-ха-ха! Прощайся с землицей, Тешабай! Ха-ха-ха!

— Довольно!— крикнул Кудрат.

Хоким смолк. В его обращенном к Кудрату застывшем взгляде можно было прочесть удивление и страх. В самом деле, в первый раз с тех пор как воздвигнуты эти хоромы, где каждый проситель каменеет от почти-тельного благоговения, раздался смелый голос. Хоким медленно приблизился к кузнецу, его губы нервно вздрагивали, но Кудрат не смутился. Со сдержанным гневом он произнес:

— К вам пришли обиженные, слабые, обездоленные. Народ в муках, истекая потом и кровью, провел воду ради своих голодных, оборванных, умирающих детей и жен. И эту воду — единственную надежду отчаявшихся — отнимает бай. А вы, наш правитель, блюститель закона и справедливости, смеетесь...

Кудрату не удалось договорить. По знаку хокима на него навалились казаки, стали крутить ему руки. Но жгучая ненависть как будто ослепила Кудрата, сделала его бесчувственным. Еще какое-то мгновение он не сводил с хокима своих налившихся кровью глаз, а затем так потрянул плечами, что казаки отпрянули. Старики невольно шагнули вперед. Перепуганный хоким отшатнулся, а потом ударил Хасана суффи ногой в живот. Тот как подкошенный, рухнул на пол. Вскочивший с кресла Тешабай, подбежал к деду Алиму и сильно толкнул его в грудь. Старик, падая, стукнулся головой о стену. Но одолеть Кудрата было нелегко! Его литой кулак расплющил адъютанту нос — у того посыпались искры из глаз. Двинув головой одного казака и ударом ноги опрокинув другого, он устремился на хокима, успешшего выбежать в коридор. Их сиятельство бежал, взывая о помощи.

Четыре подоспевших казака кинулись на Кудрата, но тот так ловко орудовал кулаками, что не давал им подойти к себе. В конце концов враги одолели кузнеца. Но и прижатый к земле, он все еще сопротивлялся. Его

снятельство суетился вокруг и истерически визжал: «Бей! В морду его!» «Сильнее!» Ему вторил Тешабай.

Вскоре отважный смельчак лежал на полу, с бессильно распростертыми руками, окровавленный, неподвижный...

— В карцер его!— приказал хоким.

Казачи уволокли Кудрата. Хоким приблизился к неподвижному Хасану суфи и пнул его ногой в голову.

— Подох, что ли?— обратился князь к бледному от испуга Тешабаю.

Тешабай, словно боясь неподвижного старика, медленно, с опаской приблизился к нему, так же, как и хоким, тронул ногой его голову, приподнял и опустил его руку. Она с безжизненным стуком, неловко упала на пол.

— Да, отошел! С одного пинка... А ведь еще вчера он мне грозил...

Лежавший на полу дед Алим застонал, поднял голову. Мутными глазами он посмотрел вокруг, лишившись сознания, снова уронил голову. Хоким кивнул на деда Алима:

— Вот этого, туда же!

Затем, снова взглянув на мертвого, поморщился, отвернулся и процедил сквозь зубы:

— Выбросить. Кому надо, тот и скоронит.

Глава двадцать третья

ПАЛ А Ч И

Тешабай в сопровождении Фосиха эфенди вернулся в кишлак после полудня. Не заезжая домой, он направился прямо к тестю. Мингбаши оживленно разговаривал возле калитки с Сали савуком. Сойдя с лошади, Тешабай тотчас же начал рассказывать о случившемся в городе. Мингбаши, и до этого оживленный, пришел в восторг.

— Здорово же их! Так им и надо!— то и дело приговаривал он. Выслушав зятя, он, в свою очередь, сообщил приятную весть — поведал о событиях минувшей ночи, завершившихся арестом беглецов.

Тешабай, как и следовало ожидать, весьма одобрил действия мингбаши. Он также был весел, возбужден, од-

ним словом, счастлив. В самом деле: часто ли встретишь человека, который на протяжении одних суток получил бы два столь приятных сюрприза?

— Слава богу! Еще один смутьян попался! Вы его обработайте как следует. Не стесняйтесь! Помните, пока мы не избавимся от таких, как он, нам по-настоящему не развернуться. Подумайте только. Назвать меня на людях мошенником! Придушить бы этого пса!

— Об этом уж вы не беспокойтесь! Все будет сделано наилучшим образом. Навеки заткнем ему глотку. Не будет больше позорить честных людей. Ведь он вас так честил, что слушать было страшно. А меня он как? А дочь, а вашего свояка? И потом еще эта школа, которую он затеял? А теперь не больше не меньше, хотел утащить чужое добро! Да ведь это же вор, клеветник, обманщик,— захлебывался мингбаши.

— Его десять раз казнить мало! Обрушьте на него забор!— вставил, наконец, свое слово Фосих эфенди.

Мингбаши, оставив без внимания мудрое предложение эфенди, продолжал рассуждать.

— Это дело нельзя отставить ни до вечера, ни до завтра и вот почему. Во-первых, потому что положение кари тяжелое. Если он умрет, то мы не сможем насладиться торжеством правосудия. А во-вторых, если дойдет до тех, кто в горах, может подняться скандал.

— А что они еще делают там?— спросил Тешабай.— Ведь вода уже проведена?

— Вода-то проведена, но они, говорят, укрепляют там какие-то сваи. Сейчас, когда ни друзья, ни родственники еще не знают, что мы беглецов поймали, самый подходящий момент избавиться от этой шелудивой собаки. Все будет сделано и тихо и законно. Попрошу эфенди присутствовать на разборе дела.

— С величайшим удовольствием! Ваше желание для меня закон!— поспешил ответить Фосих эфенди, склонив голову.

Все пошли во двор.

На айване уже сидел знаток шариата, кази волости Карабулака, Гиясиддин аглям ибн Мухаммед Расул ходжа Хунбори, муфти и мирза, вооруженные пером, чернильницей и кораном. Когда мингбаши сел на айван, кази, поднимаясь с места, произнес:

— Уважаемый таксыр, мы ждем вашего милостивого соизволения приступить к делу.

— Приступайте, и чем скорее, тем лучше. Дело ясно. Улики неопровержимы, свидетели налищо,— произнес мингбаша, взглянув на Сали савука, Джумана-тихоню и еще двух джигитов, которые стояли поодаль, почтительно сложив руки.

— Эй, миршаб, приведи преступника. Женщину пока не трогай. Если будет нужно, вызовем ее позже,— приказал кази Миркосиму уроду.

Миркосим побежал в тюрьму. Через несколько минут он появился, ведя какого-то человека под руку. Тот двигался, едва переставляя ноги. Казалось, что вот-вот он рухнет. Если руки, ноги, форма тела пришедшего напоминали человека, то лицо его скорее напоминало картинку, нарисованную малым ребенком, или размазанную тыкву: от ударов плетью оно почернело, вспухло и стало круглым. Глаз совсем не было видно и везде — кровь, кровь, запекшаяся и еще свежая: на голове, в уголках рта, на изодранном в клочья шелковым чапане и белом полотняном халате. За десяток шагов до айвана Миркосим сказал человеку: «Стои здесь». — и отошел.

Лишенный опоры, человек дрогнул, колени его погнулись, и он стал падать. Стоявший неподалеку молодой слуга подхватил приведенного, затем осторожно усадил его и прошептал:

— Садитесь, Гулямджан-ака! Будь они все прокляты во веки веков!

Кази переглянулся с мингбаша, огладил свою бороду и принялся вершить правосудие.

— Истец,— обратился он к Миркосиму, который стоял вытянувшись, словно проглотил аршин.— Истец, изложите вашу жалобу судье.

Истец, то есть, Миркосим урод из кожи лез, чтобы держаться непринужденно. Во-первых, потому что поверженного противника можно не бояться. Кроме того, он намеревался сразу же, как только будет оглашено решение суда, не дожидаясь тоя и прочих церемоний, смело зайти прямо к красавице и на деле показать свою освященную шариадом супружескую власть. Все это придало Миркосиму силу и уверенность.

— Вчера утром,— начал он бойко,— вы сами, высокопочтительный кази, просватали за меня дочь Мадамина-ходжи. Верно я говорю?— Терпеливо выждав подтверждения кази в виде кивка, Миркосим продолжал:— А раз верно, то является ли Хаёт моей законной женой или не является?

— Да, она твоя законная жена,— изрек кази.

— А раз моя законная жена, то не является ли похитивший ее вором, который покушается на честь чужой жены?— Кази снова кивнул.— Поэтому я вот этого,— Миркосим ткнул пальцем в сторону Гулямджана,— вот этого мошенника обвиняю: он украл мою жену, хотел бежать с ней в город, но я его поймал, как миленького. Если не верите мне, то вот вам целых четыре свидетеля.

Сали савук, Джуман-тихоня и еще двое, подтверждая слова Миркосима, поклонились кази.

Тот спросил Миркосима:

— Что ты требуешь?

— Я требую, чтобы вора наказали, а жену мою вернули по принадлежности, то есть мне.

Кази что-то сказал своему писарю, и тот застрочил пером. Кази перешел к допросу свидетелей.

— Свидетель Салихбай, сын Сабилбая, подтверждает ли вы слова истца?

Сали савук кашлянул, поправил платок, накрученный на голову, и, стараясь скрыть от устремленных на него взглядов свое ошарапанное лицо, начал с обычной для него развязностью:

— Конечно, таксыр, я участвовал в поимке вора. Вот,— произнес он и запнулся. Он хотел сказать: «Вот, посмотрите на мое лицо», но, вовремя спохватившись, закончил:— Если не верите мне, вот вам бог на небе, и эти вот рядом со мной.

Кази удовлетворенно мотнул головой и перешел к допросу второго свидетеля:

— Свидетель Джуман, сын Туманбая, вы подтверждаете слова истца?

— Конечно, таксыр, при поимке вора, а потом...— Он хотел сказать: «А потом при слежке», но вовремя одумался,— потом, когда догоняли, ловили. Если не верите, вот бог надо мной. Если хотите, чтобы я кораном поклялся, могу и кораном.

Сали савук даже позавидовал Джуману, так эффектно закончившему свои показания. Он хотел было исправить допущенный промах, но, увидев, что кази обратился к третьему свидетелю, вынужден был отказаться от своего намерения.

— Свидетель Гаффар, сын Саттара, вы подтверждаете слова истца?

— Подтвердить,— сердито начал высокого роста и, видать, не умеющий мудрствовать Гаффар,— подтвердить, что этот бедняк — вор, я не могу!

Надутый, как индюк, Фосих эфенди, словно наткнувшись на гвоздь, подскочил с места и, вытаращив глаза, провибрился:

— Это почему же?

— Потому, что он не стерпел издевательства и бежал. Кто без особой нужды покинет родное гнездо? И что остается делать, если ваше гнездо превращают в тюрьму? Бежать! Посмотрите, что сделали с беднягой?!

— Хватит, хватит! Заткни свою глотку!— воскликнул мингбаши.

Кази обратился к четвертому свидетелю. Но так как тот пробормотал что-то невнятное, то, во избежание нежелательных осложнений, его оставили в покое. Кази с деревянным выражением лица, что должно было означать беспристрастие, обратился к Гулямджану:

— Обвиняемый Гулям кари, сын Вали, вы подтверждаете слова истца?

Все молчали, ожидая ответа. И так как ответа не последовало, кази повторил свой вопрос:

— Обвиняемый Гулям кари, сын Вали, еще раз спрашиваю, вы подтверждаете слова истца?

Снова молчание. Гулямджан неподвижно сидел, свесив голову на грудь.

Мингбаши, видя бесчувственное состояние Гулямджана, рассердился.

— Не оглох ли он?

— Хитрит, подлюга, притворяется!— воскликнул Фосих эфенди. Проворно вскочив с места, он подбежал к Гулямджану и стал трясти его:

— Эй, ты, тюфяк! Говори! Язык, что ли, у тебя отнялся?— Эфенди ткнул Гулямджана в голову. Гулямджан стал валиться на бок, но был подхвачен молодым

слугой, который, устремив на эфенди ненавидящий взгляд, прошептал:

— Потише ты! Еле душа в теле держится, а ты еще тычешь!

Фосих эфенди, не обратив на слугу внимания, поднялся на айван. Прошло довольно много времени, прежде чем Гулямджан поднял голову и повернул свое лицо туда, откуда донесся голос эфенди.

— Жив, но хочет спасти себя, притворившись мертвым, собака!— обратился к кази эфенди. Затем, взглянув на Гулямджана, потряс кулаками, визгливо крикнул:

— Выродок! Позор!

Кази вопросительно взглянул на мингбаши, мингбаши, в свою очередь, посмотрел на Тешабая. Тот недолго думая, решительно произнес:

— Вопрос ясен. Надо вынести приговор, несмотря на все его уловки!

Фосих эфенди поспешил подтвердить слова хозяина:

— Да, да! Уважаемые господа! Ведь говорят же: «молчание — знак согласия». Ибо, господа, тот, кто не находит слов для своей защиты, признается в своих проступках и склоняет голову перед законом.— Эфенди почтительно взглянул на кази:— Объявите свое справедливое решение, уважаемый кази!

И хотя все уже заранее было предрешено, представление должно было быть доведено до конца.

— Обвиняемый Гулям кари, сын Вали, вы подтверждаете слова истца Миркосима-ходжи?— еще раз спросил кази.

Гулямджан поднял голову. Все уставились на него. Желая что-то сказать, он раскрыл лишенный зубов рот. Послышались какое-то шипение, вздохи, неясное бормотанье, из которого с трудом можно было только уловить:

— Хаёт... поз... овите...

Кази приказал Миркосиму:

— Позвать ее.

Миркосим распетушился:

— Почему это я для него должен звать мою жену?

— Жена твоя, но согласно шариату его требование законно.

Миркосим удалился. Вскоре он появился с Хаёт. На ней была только паранджа без чачвана. Чачван, должно

быть, затерялся в ночной свалке. По дороге к айвану Миркосим хотел было поддержать шедшую с трудом женщину, но та отпрянула от него, как от зачумленного. Паранджа соскользнула с ее головы. Волосы ее были растрепаны, в крови.

— О горе мне! Вай-дод! Что они сделали с вами! Проклятые!— воскликнула Хаёт, увидев Гулямджана. Она подбежала к любимому, судорожно прижала его голову к своей груди, стеноя и плача:— Гулям мой! Жизнь моя!

Стенания женщины над изуродованным телом любимого нисколько не тронули тех, кто вершил суд. Только один из свидетелей — Гаффар — громко зашмыгал носом, да еще молодой слуга, закрыв лицо руками, отвернувшись, тихо плакал от жгучей жалости и бессилия перед низкими, бесчестными тварями, прикрывающими свои подлые дела громкими словами о благородстве, законности...

Гулямджан, услышав стоны Хаёт, вздрогнул.

— Хаёт!— вырвалось из его груди.

Молодой слуга, не в силах сдержаться, громко зарыдал.

Кроме слуги, на которого можно было не обращать внимания, никто не хотел или не смел прекратить разыгрываемую комедию. Ее спокойно, без всякого риска, можно было довести до конца. Ведь калитка была закрыта, и к тому же она, на всякий случай, усиленно охранялась.

Кази продолжал допрос:

— Подсудимый Гулям кари, сын Вали, вы подтверждаете слова истца Миркосима-ходжи?

Гулямджан, словно присутствие Хаёт прибавило ему силы, повернул свое обезображенное лицо к суду. Медленно, с большим трудом, неясно, но все более крепнущим голосом он заговорил:

— Гиясиддин аглям, вы оказались лицемером, дьяволом в образе человека... Глубоко сожалею, что слишком поздно узнал об этом! Ваше поведение свидетельствует о низости, подлости, ничтожестве. Шариат в ваших ловких руках — ширма, игрушка, мячик. Зная, что мы семь лет любим друг друга, зная, как и весь кишлак, что Миркосим не ходжа, вы незаконно объявили его ходжой и без зазрения совести помогли совершить противное богу и людям! Проклятие вам, матерям, породившим вас! Ты-

сяча проклятий обычаем и порядкам, породившим вас и вам подобных! Я сказал все, можете делать со мной что хотите!

Кази вскочил с места, как бешеный. Этот полумертвый, оказывается, еще не сломлен. Кази вне себя от ярости стал осыпать Гулямджана ругательствами. Он назвал его кяфуrom, безбожником, вероотступником, обвинял его, цитируя коран, сказал, что таких надобно вешать, четвертовать, рубить на куски. После этого он объявил, что допрос закончен, и стал совещаться с муфтиями, знатоками шарията.

Хаёт плакала, умоляя:

— Дядя кази, мингбашп-ата, сжальтесь. Не мучьте нас, милый дядя кази! Не убивайте нас, молодых, не берите на себя такой грех! Не желаю я никого, кроме Гуляма. Дядя кази, сжальтесь... Ведь вы же человек. Не губите нас, дядя кази!..

Плач и стоны Хаёт разъярили Фосиха эфенди. Он закричал с айвана:

— Хватит, не визжи! Стыдиться тебе надо, бессовестная! Мужа своего бросила! Бежала с безбожником, лучше бы тебе подохнуть! Выродок! Позор!

— Хаёт моя,— произнес Гулямджан.— Не просите этих людей. Им недоступны жалость, сострадание. Они не знают, что такое совесть, честь. Если наша любовь не грешна, то чем же мы виноваты перед богом и людьми?! Нет! Мы виноваты, что живем во времена, когда любовь и верность преследуются. Мы виноваты в том, что хотим жить счастливо. Что поделаешь, каждое время рождает свои законы.

Фосих эфенди снова провизжал:

— Хватит, хватит, уйми свой поганый язык!

Кази прочитал приговор:

— ... За похищение чужой жены, за оскорбление священного корана, шарията и кази шарията,— тут кази несколько помедлил, пожевал губами и продолжал:— Гулямджан, сын Вали, присуждается к пятидесяти ударам плетью!..

— Вай-дод!

Из груди Хаёт вырвался вопль. Как курица-наседка, защищающая своих цыплят от коршуна, она бросилась к любимому, пытаясь загородить его.

Казн дочитал приговор:

—... Расходы по ведению суда возлагаются на осужденного. Девушку возвратить Миркосиму-ходже. Аминь!..

Немедленно вслед за оглашением приговора вступил в свои права Миркосим урод.

— А ну, отойди; перестань визжать!— грубо закричал он, отрывая Хаёт от Гулямджана.

Но Хаёт, крепко обняв любимого, продолжала то жалобно, то испуганно:

— И меня убей вместе с ним, проклятый кази! Вель в нем душа еле держится. Вы хотите его убить! Чтоб твою бороду спалили, вместе с ней всего тебя, проклятый кази! Бейте меня, бейте вместо Гулямджана меня! Злодеи! Убийцы!..

Миркосим едва оторвал Хаёт от Гулямджана, крепко обнял ее и понес. Хаёт, пытаясь вырваться, билась, кричала, пыталась исцарапать лицо насильнику, но все напрасно.

Сали савук и Джуман-тихоня стояли, опустив головы с прискорбным видом людей, вынужденных покориться.. Мингбаши, взглянув на эту парочку, закричал:

— Что вы торчите, разини, мямли, тряпки! Снимайте с него халат! Живо!

Сали савук и Джуман-тихоня подбежали к Гулямджану. Тот не оказал никакого сопротивления. Он сидел неподвижный, безучастный. Его быстро раздели, положили спиной вверх на предусмотрительно снятую с петель дверь, которой пользовались для обмывания покойников.

Распластанный на доске Гулямджан был неподвижен. И только по сжатым кулакам можно было догадаться, что в его измученном и раздавленном теле еще теплилась жизнь. Солнечные лучи падали на его голову, спину, ноги. На деревьях, крышах, заборах чирикали воробьи, ворковали горлинки, из конюшни доносилось ржание жеребенка. Кругом жизни! Только Гулямджан разлучался с нею..

Миркосим, заперев Хаёт, поспешно вернулся. Наконец наступила долгожданная решающая минута. Он снял с гвоздя приготовленную плеть, любовно помял ее, гибкую, тонкую, лихо взмахнул и направился к Гулямджану. Тешабай, мингбаши, а за ними и все остальные, дабы

насладиться созерцанием торжества правосудия, обступили место экзекуции. Мингбаши скомандовал:

— Начинай!

Молодой слуга вздрогнул. Гаффар, словно намереваясь вырвать плеть Миркосима, рванулся было вперед, но тут же замер. Плеть со свистом опустилась на обнаженную спину Гулямджана.

— Раз!— певуче произнес Миркосим.

— Да потише вы! Убьете ведь!— крикнул Гаффар.

— Два!

Миркосим опускал плеть кряхтя, напрягаясь, с придыханием.

— Три...

— Четыре...

Гулямджан вздрагивал все слабее и слабее, а к двадцатому удару и вовсе замер.

— Хватит! Устал! Да и он уж, наверное, окачурился!— прохрипел, задыхаясь, Миркосим, вытер со лба пот и, отшвырнув плеть, уселся на край айвана.

— Вы утомились?— спросил Фосих эфенди.

— Да! Если хотите, можете продолжать.

Фосих эфенди поднял с земли плеть и обратился к присутствующим:

— Господа, приговор есть приговор. Неукоснительно выполнить его — наша обязанность, наш священный долг! Ибо таково требование высшей справедливости! Если силы почтенного Миркосима эфенди иссякли, то довершить благое дело готов ваш покорный слуга.

Совершенно неожиданно для окружающих и, наверное, для себя, молодой слуга вдруг обрушил на палача такой удар, что тот распластался на земле, да так и остался лежать. Мингбаши взревел:

— Что ты сделал, поганый?

Но в это время рядом с молодым слугой стал Гаффар. Его грозно нахмуренные брови, сжатые кулаки ничего хорошего не предвещали. Удачно разыгранному представлению грозил провал в то самое время, когда близился желанный конец. Здесь надо было решать быстро. Мингбаши продолжал ругать слугу, но все менее уверенно. Стоит ли, в конце концов, подымать шум из-за того, что какой-то облезлый эфенди получил в морду. Разве эта назойливая шавка не получила лишь малую долю того,

что ей по справедливости причитается? В конце концов, от этого удара только польза, если не эфенди, то ему, мингбаши. Не будет свой шелудивый хвост задирать. Пусть полежит. Авось очухается. А не очухается, тоже не беда. Главное сделано...

Мингбаши приблизился к Гулямджану, потормошил его. Никаких признаков жизни. Лицо додхо изобразило озабоченность. Он обернулся к слуге:

— Отнесите его в дом.

Молодой слуга и Гаффар осторожно положили Гулямджана на носилки накрыли чапаном и понесли.

Миркосим не смыкал глаз с тех пор, как стал выслеживать Гулямджана, и сейчас его клонило ко сну. Но чувство благодарности к своим новым друзьям — Сали савуку и Джуману-тихоне, а также состояние телячьего восторга оттого, что Хаёт присуждена ему, заставили его пригласить своих приятелей на выпивку. Да и самому ему было не грех хлебнуть малость, тем более, что это придаст ему храбрость, столь необходимую, когда он сегодня покажет Хаёт свою безраздельную власть над ее душой и телом.

Несколько глотков спиртного укрепили мужество Миркосима, но ослабили его ноги. И теперь, в предвечерний час, он, пошатываясь и спотыкаясь, брел к Хаёт. Замок в темнице почему-то долго не хотел отпираться, но крепкие словечки по его адресу возымели свое действие. Открыв дверь, Миркосим передал ключ пришедшему с ним Джуману.

— Запри за мной и-и... если спросит мингбоши, скажи, что ушел по важному делу, понял? И-и... еще, ключ никому не показывай. Сиди себе в чайхане до утра. Понял, черт большеголовый. До приятного свидания, пташечка! — ласково сказал Миркосим, весело подмигнув приятелю и переступил порог. За ним загредел засов.

Глава двадцать четвертая

ИСКРЫ ДАЛЕКОГО ПЛАМЕНИ

Утомленный Тешабай в приятнейшем расположении духа беседовал с Фосихом эфенди и Мамараимом. Легкое головокружение, огромный синяк и повязка Фосиха эфенди не мешали ему слушать Тешабая со всей внима-

тельностью и почтением, какого заслуживал «столп нации». В самый разгар беседы, если беседой можно назвать непрерывное разглагольствование одного и почетельное молчание других, в комнату неожиданно ворвался Джуман-тихоня. Тешабай остолбенел от удивления. Оглядев задыхавшегося, запыленного, вспотевшего тихоню, хозяин перестал улыбаться. Его движения утратили плавность.

— В чем дело?— строго спросил он.

Джуман утер рукавом грязного халата обильный пот, слегка поперхнулся и сбивчиво выпалил:

— Беда, хозяин, беда!.. Все от горы сюда бегут... с дубинками, кетменями, кирками. Они злы, хозяин, очень злы!..

Фосих эфенди, словно его обдали ледяной водой, начал мелко дрожать. Мамараим эфенди вдруг забеспокоился, не пропала ли его обувь, которую он, как обычно, оставил у порога. Один только Тешабай, хоть и побледнел, но не вскочил с места. Словно ни о чем не догадываясь, он обратился к Джуману:

— Почему с дубинками и кетменями? Разве случилось что-нибудь?

— О таксыр! Чтобы поднять воду выше, люди работали всюю, преграждали камнями сай. Вдруг прискакал внук Хасана суфи и закричал: «Хоким отдал воду и землю Тешабая. Хоким убил моего деда, а дядю Кудрата и деда Алима засадил в тюрьму». Люди зашумели, загалдели. Потом все бросили работу и двинулись в кишлак. А тут им навстречу бежит бывшая служанка мингбаши и вопит: «Мингбаши сделал с Гулямджаном то да се». Тут поднялся такой крик, что прямо страшно... Таксыр, они бегут сюда!.. Я боюсь!..

— Все это пустяки,— ответил Тешабай, хотя у самого сердце екнуло. Но вслед за этим он поспешно вскочил и, надевая кавуши, приказал:— Беги, оповести мингбаши. Пусть они вместе с миршабами скорее пригонит скот в загоны!

Джуман побежал исполнять приказание. Не в первый раз Тешабай сталкивается с недовольством толпы. Не раз приходилось ему уговорами, посулами или угрозой смирять разбушевавшихся людей. По многолетнему опыту он знал, что рано или поздно толпа сама утихо-

мирится или, на худой конец, будет тем или иным способом обуздана. Вот почему сообщение Джумана не вызвало у него паники, хотя он принял меры предосторожности. Теперь он больше всего тревожился о маленьком рыжем наследнике и своих сундуках. Не прошло и десяти минут, как жена с ребенком и самыми ценными вещами с невозможной скоростью выехала по направлению к городу. Еще через несколько минут до Тешабая донесся отдаленный гул толпы, устремившейся лавиной с холма. И вот тут-то Тешабай пришел в полное замешательство.

— Эй, послушайте меня!— обратился он к Фосиху эфенди и Мамараиму, совершенно обалдевшим от страха и ужаса.— Заприте ворота изнутри и никуда не отлучайтесь. Никому не открывайте! Мне придется следовать за арбой, а то еще перепугают ребенка!..

Тешабай сел на коня и пустил его вскачь.

Издали, подобно раскатам грома, нарастая все явственнее, доносился гул приближающейся толпы. Это был грозный ропот разгневанного народа, жгучая боль и муки которого переполнили чашу терпения. Народ шел, чтобы мщением облегчить душу, чтобы взять за горло правителей, от жестокости которых белый свет становился немил. Фосих эфенди метался по двору, как затравленный волк. Хотя на воротах висел солидный замок, доносящийся гул ввергал его в трепет. Он хорошо знал, что, если попадется на глаза разъяренной толпы, то пощады ему не будет — растопчут, растерзают. Сурово покарает угнетенный, отчаявшийся народ своих мучителей, лютой будет его месть. Эта минута приближалась, и Фосих эфенди чувствовал ее.

Он подбежал к воротам, посмотрел в щель. Через гузар в сторону города промчался на коне мингбаши: «Пока не поздно, надо убираться восвояси, иначе будет плохо!»— подумал Фосих эфенди и побежал к конюшне. Мамараим эфенди уже отвязывал одного из коней. Увидев страшно бледного Фосиха эфенди, он также перепугался насмерть.

— Они пришли?— в ужасе спросил Мамараим эфенди.

— Нет еще, но могут нагрянуть каждую секунду. Нельзя медлить. Если хотите жить— бежим!

В конюшне стояло несколько коней, но все они были расседланы. Фосих и Мамараим эфенди не стали выбирать. Они вскочили на неоседланных коней и помчались в город.

...Дехкане, вооруженные кетменями, палками, молотами, топорами, кирками и камнями, шли, предводительствуемые Заманом, Барат-палваном и Матковулом. Пыль, вздымавшаяся из-под ног, густой тучей покрыла дворы, улицы, весь кишлак, заволокла небо. Крики толпы были грозны. Как неудержимая горная лавина, народ, заполнив улицы, устремился к гузару. Зверская расправа над Гулямджаном, которого все любили за ум, мужество, чудесный голос, убийство Хасана суфи, арест деда Алима, кузнеца Кудрата зажгли в людях гнев. Народ готов был сейчас убивать и умирать.

От гузара люди устремились тремя бурными потоками. К дому мингбаши людей повел Заман. Поток, устремившийся к дому кази, возглавил Барат-палван. Остальные с Матковулом обложили дом Тешабая. Над домами трех стервятников нависли смерть и разорение. Улицы превратились в ад, где смешались гневные возгласы, звон кетменей и кирок, визг детей, вопли женщин, призывавших смерть на головы угнетателей, и еще какие-то неразличимые среди гула и гомона звуки.

Группа Замана, достигнув дома мингбаши, застала там мать Хаёт. Ломясь в ворота, она отчаянно кричала:

— Отдайте мое дитя, проклятые! Помогите! Спасите!

Толкнули ворота — они были крепко заперты. Загрели, застучали удары. Никто не отзывался. Тогда Заман одним взмахом молота вышиб дверь. Народ, как прорвавшаяся через плотину вода, устремился во двор. Молодой стражник повел Замана в застенок, где была заперта Хаёт. Все повалили за ними. Дверь застенка была на замке. За дверью царила зловещая тишина.

Мать Хаёт в смертной тоске заголосила:

— Хаёт! Дитячко мое! Это я, твоя мать! Родненькая!

Безмолвие.

Заман, словно почуяв худое, приказал рядом стоящему юноше:

— Бей по замку!

Вмиг замок был сорван вместе с засовом. Двери распахнулись...

— О боже!

— О!

— Вай!

Хаёт висела под потолком. Густые волосы прикрывали обнаженную, окровавленную грудь, руки безжизненно опустились, длинные черные ресницы закрыли глаза. Некогда красивое лицо девушки было изуродовано.

Дико вскрикнув, мать Хаёт повалилась без чувств. Кто-то побежал за водой. Заман, взглянув на валявшийся иссиня-бледный труп Миркосима, одними губами тихо произнес:

— Это — месть Хаётхон.

Заман вынул труп Хаётхон из петли и бережно, на вытянутых руках, вынес наружу. Пышные волосы Хаёт свисали до самой земли. Заман понес тело в гущу толпы. Воцарилось скорбное молчание. Следы нестерпимых мук, следы побоев и насилия хранил потемневший угасший лик девушки. При виде ее стар и млад дали себе клятву—жестоко отомстить деспотам и убийцам. Гневом и болью закипело сердце каждого. Заман хотел что-то сказать, но комок, застрявший в горле, мешал ему. В его глазах не было слез, они светились только гневом. Хрипло кашлянув, не отрывая взгляда от лица Хаёт, произнес:

— Друзья! Не стало нашей Хаёт! Ее убили бесчеловечные законы, низкие и подлые люди! Ее убили мингбаши, фосихи, миркосимы и прочие эфенди, ее убили тирания и гнет. Друзья! Мы должны поклясться отомстить за нашу Хаёт. Это наш священный долг!

Толпа подхватила клятву.

— Смерть баям!

— Бей!

— Жги!

Вскоре весь дом мингбаши Мадумара со всеми его пристройками был охвачен пламенем.

В это время толпа, руководимая Барат-палваном, тоже дала волю накопившемуся гневу. Комнаты кази, забытые и переполненные разным добром, книги, написанные на потребу богатым, на горе бедным, разные строе-

ния, припасы на зиму, горы дров — все окуталось огнем и дымом. Какой-то отчаянный джигит приволок знатока шарната — Гиясиддина аглям ибн Мухаммад Расул ходжа Хунбори.

Джигит, смеясь, рассказал, как ему удалось изловить кази:

— Смотрю, кази выскочил из дому, оглянулся по сторонам и юркнул в сад. Ну, я, конечно, за ним. Смотрю, а его там нет. Что за черт! Бегу в одну сторону, в другую — тоже нет, и прямо — нет. Я, знаете, даже растерялся. Куда, думаю, скрылась эта собака? Подумал про собаку и невольно взглянул на конуру. Хочу подойти поближе к ней, а собака — рядом с конурой и не дает приблизиться. Я ей ласково почмокал, она и завилала хвостом. Живо отвязал ее и привязал подальше. Подошел к конуре, а там, кто бы вы думали — кази. Вот этот самый кази! Накрылся шкурой, посланной для собаки, и молчит. «Давай выходи, — кричу я ему, — тебя приложане дожидаются.» Он не хочет. Ну, я его, конечно, за ноги. Верно я говорю, домля?

Но кази уже был не в состоянии ответить на этот и на любой другой вопрос. Увидев петлю, болтавшуюся на толстом суку тутовника, он онемел от ужаса. Народ, всегда справедливый, чуткий к чужому страданию, сейчас ожесточился и жаждал мести:

— Смерть взяточнику, паразиту!

— На виселицу растлителя!

— Убийца Гулямджана!

— Смерть негодяю!

Кази, пытаясь разжалобить людей, то угодливо улыбался, то плакал, умолял, но все напрасно. Его хитрости ничего, кроме насмешек, не вызывали.

Кази, не найдя ни в ком сочувствия, повалился в ноги Барат-палвану:

— Каюсь, Палван, каюсь, умоляю, прости!

Барат-палван указал на народ:

— Вот судья!

Кази, воздев руки, обратился к народу:

— Мусульмане, сжальтесь! Побойтесь бога!

Здесь уж Барат-палван не выдержал. Заглядывая в его узкие, заплавшие глаза, он закричал:

— А ты побоялся бога, когда объявил Миркосима

ходжой? Побоялся ты бога, когда присудил полумертвого Гулямджана к плетям? Побоялся ты бога, когда восемь лет отказывал в благословении Гулямджану и Хаётхон? Что ты, подлец, пугаешь богом, которого не боишься сам?

Кази молчал.

И возмездие свершилось. Под торжествующие возгласы толпы кази был вздернут, а дом его подожжен.

В это же время в другом конце кишлака толпа, предводительствуемая Маткувулом, уже обращала в дым и пепел весь дом Тешабая.

Так, в ночь на второе ноября тысяча девятьсот седьмого года в кишлаке Карабулак одновременно в трех местах вспыхнули гигантские факелы. Зарево пожарищ, охватив селение, рассеяло ночную тьму не только в полях, степях, но и на склонах далекой Ледяной горы. Никогда не видел Карабулак такого пламени, такого мощного снопа рассыпавшихся над кишлаком искр. Это страшное невиданное пламя не только обратило в пепел дома всесильных и ненавистных, но и заронило в сердца угнетенного, униженного и отчаявшегося народа негаснущую искру. Эта искра была отблеском пламени, занявшегося далеко за горами, лесами, долами...

1950—1958 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

<i>Глава первая.</i> Первая встреча	7
<i>Глава вторая.</i> Вот он „Рай“!	11
<i>Глава третья.</i> Спрятанная книга	15
<i>Глава четвертая.</i> Возвращение	22
<i>Глава пятая.</i> У родника	31
<i>Глава шестая.</i> Первое испытание	38
<i>Глава седьмая.</i> В лунную ночь	41
<i>Глава восьмая.</i> Еще один удар	47

Часть вторая

ДЕНЬ, ПОТЯСШИЙ КАРАБУЛАК

<i>Глава первая.</i> „Кричи, мой петух“	57
<i>Глава вторая.</i> В ичкари	67
<i>Глава третья.</i> Утренний намаз	75
<i>Глава четвертая.</i> У Мадумара	85
<i>Глава пятая.</i> Фосих эфенди	93
<i>Глава шестая.</i> Испытание	97
<i>Глава седьмая.</i> Ловушка	105
<i>Глава восьмая.</i> „Правая рука“ мингбаши	110
<i>Глава девятая.</i> Нсоконченное представление	116
<i>Глава десятая.</i> Хоким	130
<i>Глава одиннадцатая.</i> Один из многих	142
<i>Глава двенадцатая.</i> Добрый бай	150
<i>Глава тринадцатая.</i> В семье Матковула	159
<i>Глава четырнадцатая.</i> Кураш	167
<i>Глава пятнадцатая.</i> Кукольный театр	179

Часть третья

ОБМАНУТЫЕ | АДЕЖДЫ

<i>Глава первая.</i> Начало битвы	193
<i>Глава вторая.</i> Вороной конь	202
<i>Глава третья.</i> Кудрат	205
<i>Глава четвертая.</i> „Хорошая барышня“	217

<i>Глава пятая. „Папа оставил нас“</i>	223
<i>Глава шестая. Тутикиз</i>	225
<i>Глава седьмая. „Будь проклята такая жизнь“</i>	230
<i>Глава восьмая. Свет и тьма</i>	241
<i>Глава девятая. В пути</i>	251
<i>Глава десятая. Школа Фуада эфенди</i>	257
<i>Глава одиннадцатая. Тоскующие</i>	269
<i>Глава двенадцатая. Ишан из Актупе</i>	281
<i>Глава тринадцатая. Верный пес</i>	288
<i>Глава четырнадцатая. Свидание</i>	294
<i>Глава пятнадцатая. Дилшод</i>	307
<i>Глава шестнадцатая. Ради воды</i>	326
<i>Глава семнадцатая. Помощь народа</i>	332
<i>Глава восемнадцатая. Обманутые надежды</i>	342
<i>Глава девятнадцатая. Бегство</i>	346
<i>Глава двадцатая. И в городе</i>	358
<i>Глава двадцать первая. Священная клятва</i>	360
<i>Глава двадцать вторая. Расправа у хокима</i>	365
<i>Глава двадцать третья. Палачи</i>	369
<i>Глава двадцать четвертая. Искры далекого пламени</i>	379

Мирзакалан Исмаили
ФЕРГАНА ДО РАССВЕТА

Редактор *Н. И. Голосовская*
Художник *Б. Кедрик*
Шмуцтитулы *Г. Бедарева*
Худож. редактор *Г. Бедарева*
Техн. редактор *Я. Б. Пинхасов*
Корректор *Агапова Д. Д.*

* * *

Сдано в набор 1/XII-1958 г. Подписано к печати 6/1-1959 г. 4-й формат 84 × 108^{1/2} — 12,125 печ. л., 14,89 усл. печ. л. Издат. л. 24,0. Индекс: худ. проза. Тираж 1500. Государственное издательство художественной литературы УзССР. Ташкент, ул. Навои, 30. Договор № 323—57.

* * *

Типография № 1 Узглавиздата Министерства культуры УзССР. Ташкент, ул. Хамзы 21, 1959. Заказ № 557. Цена 9 р. 20 к.